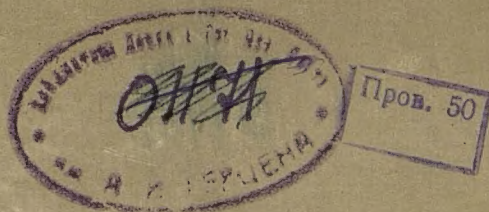


ЗНАМЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



2/28/ ✓



1936

2

ЗНАМЯ

СОДЕРЖАНИЕ № 2

Вл. МАЯКОВСКИЙ — Авио-стихи

Лев РУБИНШТЕЙН — Крушение Юга, роман.

Николай ТИХОНОВ — Сорок семь, стихотворение.

Ал. ИСБАХ — Победа, рассказ.

ХЕМФРИ КОВБ — Пути славы, повесть. Перевод с английского Н. Котова.

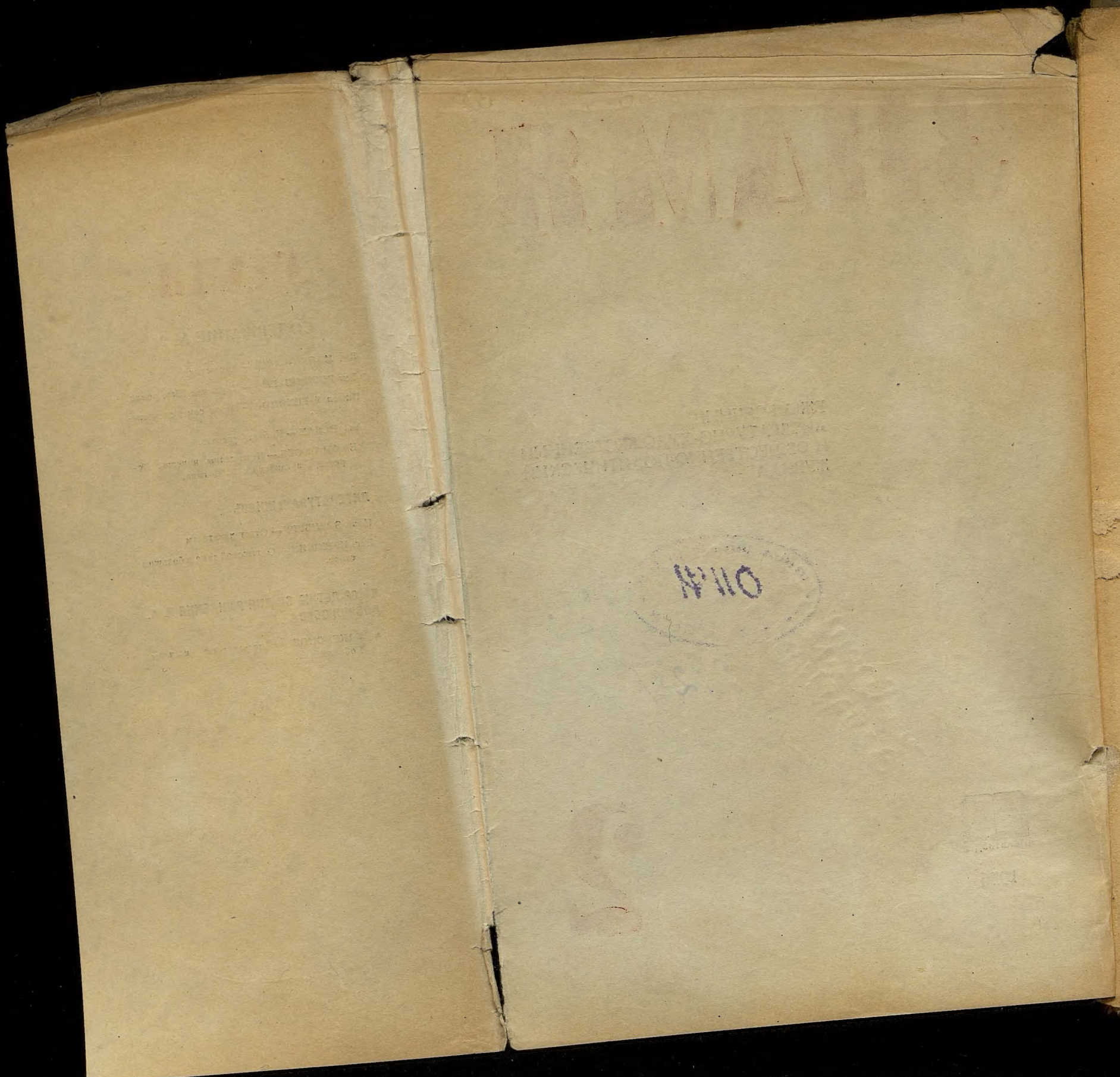
ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Илья ЭРЕНБУРГ — Ответ читателям

Евг. КРЕКШИН — О высокой теме и большом стиле.

К 100-ЛЕТИЮ 60 ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

А. МАКЕДОНОВ — Литературные взгляды Добролюбова.



ON A

ЗНАМЯ

2



ГОСАНТИЗДАТ

31

СО

Вл. МАЯК

Лев РУБИ

Николай
рение.

Ал. ИСВ

ХЕМФР
рево

ЛИТЕР

Илья Б

Евг. К
ст

К 10

ДОБ

А.

ЗНАМЯ

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Под редакцией

Вс. Вишневского, А. Исбаха, А. Косарева,
М. Ланда, В. Луговского, А. Новикова-При-
боя, С. Рейзина, М. Субботского

ФЕВРАЛЬ

КНИГА ВТОРАЯ



МОСКВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1936

31

СО

Вл. МАЯК

Лев РУБИ

Николай
ренне.

Ал. ИСБ

ХЕМОФР
рево

ЛИТЕР

Илья Э

Евг. К
ст

К 10

ДОБ

А.

7110

В. МАЯКОВСКИЙ
АВИО-СТИХИ

1. ЭТО
 ЗНАЧИТ
 ВОТ ЧТО
ЧТО значит,
 что г-н Керзон
 разразился
 грозою нот?
Это значит,—
 чтоб тише
 лез он —
крепи
 воздушный
 флот!
Что значит,
 что г-н Фош
Польшей
 парады
 корчит?
Это значит
 точится нож.
С неба
 смотри
 зорче!
Что значит
 что фашистское тупорылье
осмелилось
 нашего
 тронуть?
Это значит,
 готовь крылья!
Крепи
 СССР
 оборону!
Что значит,
 что пни
 да кочки
все еще
 по дороге к миру?
Это значит
 красный летчик

нашу
 силу
 в небе
 рекламируй.
 Что значит,
 что фашист
 Амадорн
 разразился
 о нашей
 гибели?
 Это значит
 воздух и море
 в пелену
 пропеллером
 выбели!
 Что значит,
 что стал
 груб
 нынче
 голос пана?
 Это значит —
 последний руб
 гони
 на аэропланы!
 Небо
 в грозовых
 пятнах —
 Это значит:—
 во первых
 и во вторых
 в третьих,
 в четвертых
 и в пятых
 небо
 пропеллерами
 рыхль!

II. ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО ЛЕТЧКА

ТЕСНО у вас,
 У вас грязно у вас.
 душно.
 Чего-ж
 в этом грязном
 в тесном увяз!
 В новый мир!
 Завоюй воздушный.

По норме
аршинной ютитесь норами
У мертвых —
и то помещение блестяче.
А воздуху
кто установит нормы?
Бери
хоть стоаршинную площадь.
Мажешься,
салишься
в земле пропыленной.
С глоткой
будто пылью пропилен.
А здесь
хоть все облетаешь лона,
Чист
лишь в солнце
лучи
окропили.
Вы рубите горы
и скат многолесый.
Мостом
нависаете
в мелочь ручьи.
А воздух,
воздух — сплошные рельсы.
Луны
и солнца —
рельсы-лучи.
Горд человек,
человечество пыжится:
я, дескать,
самая
главная ижица
Вокруг
меня
вселенная движется.
А в небе
одних
этих самых марсов
такая
сплошная
огромная масса,
что все
миллиарды
людыя человеческого

в сравнении с ней
и насчитывать нечего.

Чего
в ползках
в шажочках увяз,
чуть движешь
пятитуповики тушины?
Будь аэрокрылым,—

и станет
у вас
мир,
которому
короток глаз,
все стены
которого
в ветрах развоздушены.

III. АВИО-ЧАСТУШКИ

И ЛАСТОЧКА и курица
На полеты хмурятся.
Как людье поразлетится
Не догнать его и птице
Был

летун
один Илья —
Да и то
в ненастье-ж.
Всякий день летаю я.
Небо —

двери настезь!
Крылья сделаны гусю,
Гусь —

взлетит до крыши
Я не гусь,

а мчусь во всю
Всякой крыли выше.
Паровоз,

что тачьца:
Еле

в рельсах
тащится.

Мне ж
любые дали — чушь —
в две минуты долечу-ж!
Летчик!

Эй!
во всю гляди ты!

31

СО

Вл. МАЯК

Лев РУБИ

Николай Т

рение.

Ал. ИСБ

ХЕМФРИ

револ

ЛИТЕР

Илья 8

Евг. К

ст

К 10

ДОБ

А.

За тобой
 следят бандиты.
— Ну, их к
 к чорту лешему
Не догнать нас пешему!
Саранча
 посевы жрет
Полсела набила в рот.
Серой
 эту
 саранчу
с самолета
 окачу.
Нынче видели комету,
а хвоста у ней и нету.
Самолет задела малость,
вся хвостина оборвалась.
Прождала я
 цело лето
желдоржного билета:
кто же
 грош
 на Фоккер внес —
утирает
 птицам
 нос.
Плачут горько клоп да вошь,
Человека не найдешь.
На воздушном на пути
Их
 и тифу не найти.

IV. ИТОГ

Т ОЛЬКО что
 в окошечный
 в кусочек прокопченный
Вглядывались,
 жда рассветный час.
Жили
 черные
 к земле прижавшись черной
по фабричным
 по задворкам
 волочась.
Только что
 корявой сошкой
 землю рыли,

Только что
 проселками
 плелись возком,
 только что... Куда на крыльях!
 еле двигались шажочком
 да ползком.
 Только что Керзоновы угрозы пролетали,
 Только что приказ
 крылатый дан:
 — Пролетарий,
 на аэроплан.—
 А уже гроши за грошами
 слились
 в мощь боевых машин
 завинти винты и кроша ими
 Тучи в небе
 крылом маши.
 И уже в ответ
 на афиши
 летный день
 громоздится ко дню.
 Задирается выше и выше
 Голова небесам в стрекотню.
 Чаще глаз
 на солнце щерите,
 приложив козырек руки.—
 Это пролетарий
 в небе чертит
 первые корявые круги.
 Первый

31

СО

Вл. МАЯК

Лев РУБИ

Николай "

рение.

Ал. ИСБ

ХЕМФР

рево:

ЛИТЕР

Илья Е

Евг. К

ст

К И

ДОБ

А.

неуклюжий шаг пускай коряв —
не удержите поднявши якоря.
Черные! Смотрите
 своры сворищи и сворки.
Ежедневно: руки тверже,
 мозг светлей.
Вот уже летим
 восьмеркою к восьмерке
и нанизываем петлю к петле.
Мы привыкли
 слово утверждать на деле,
пусть десяток птиц кружился нынче.
На недели взгромоздя труда недели
миллионокрылые в грядущих битвах
 вымчим
Если вздумают
 паны и бары
наступлением сменить
 мазурки и кадрили
им любым на ихний вызов ярый
мы ответим
 тыщей эскадрилий.
И когда придет
 итогов год,
в памяти недели этой
 отрывая клад,
скажут: итого —
пролетарий стал крылат.

Тринадцать лет назад, в мае — июне 1923 года Маяковский написал цикл стихотворений, агитирующих за создание мощного воздушного флота СССР.

Возникновение этого цикла объясняется следующими событиями международной политики. В ответ на ультиматум Керзона (май 1923 г.), в СССР началась кампания пожертвований на строительство военно-воздушного флота. На страницах «Известий» изо дня на день печатались списки лиц, учреждений и организаций, внесших пожертвования.

Первое «авио-стихотворение» Маяковского «Это значит вот что» было напечатано в «Известиях», 1923, № 112 от 23 мая. В продолжение следующих двух месяцев Маяковский написал еще четыре стихотворения того же цикла «Разве у вас не чешутся обе лопатки» («Известия», 1923, № 128 — 12 июня), «Издавательство летчика» («Красная Нива», 1923, № 25 — 24 июня), «Авио-чашушки» («Известия», 1923, № 146 — 3 июля) и «Итог» (оставшееся ненапечатанным).

Из этих пяти авио-стихотворений в прижизненное собрание сочинений было включено только одно — «Разве у вас не чешутся обе лопатки» (см. том II). Остальные стихотворения не перепечатывались ни в одном из сборников Маяковского и остались неизвестными читателю.

В архиве Л. Ю. и О. М. Брик сохранились автографы четырех стихотворений авио-цикла: «Это значит вот что» (беловой автограф в записной книжке с незначительными разночтениями сравнительно с печатной редакцией), «Издавательство летчика» (текст, напечатанный на машинке с правкой Маяковского) «Авио-чашушки» (беловой автограф, очень тщательно переписанный чернилами на трех листах линованной бумаги большого формата) и «Итог» (два автографа: первоначальная редакция, записанная карандашом на отдельном листе, на обороте которого находится текст стихотворения «Протестую» и беловик, подготовленный для печати — текст написан чернилами на двух листах линованной бумаги).

Как можно судить по беловому автографу стихотворения «Итог» Маяковский предполагал напечатать это стихотворение в «Известиях», но по каким-то случайным причинам оно не было напечатано. Об этом свидетельствуют две пометки тогдашнего редактора газеты Ю. М. Стеклова на первом листе рукописи: «В Изв. Ст.» и «Оплатить. Ст.».

В беловом автографе «Авио-чашушек» есть одна строфа (после строки 42-й), не вошедшая в печатную редакцию стихотворения:

Над лесом
жар
и зной.
Жрет пожар их желтизной.
А пилот
над этим
адом
льет
водишу
водопадом.

Начальное стихотворение цикла «Это значит вот что» было перепечатано в измененной и окончательной редакции в сборнике «Лет», изданном под ред. Н. Н. Асеева издательством «Красная Новь», М., 1923 и вторично в сборнике «избранных авио-стихов» «Штурм неба», изд. Укрвоздухпуть, Харьков, 1924. В настоящей публикации мы печатаем стихотворение по тексту сборника «Лет».

Завершающее цикл стихотворение «Итог» перерастает свою первоначальную агитационную установку и в наши дни, когда мощь воздушного флота СССР признана всем миром, приобретает особенный интерес, как взгляд поэта в будущее.

В. Тренин.

31

СО

Вл. МАЯК

Лев РУБИ

Николай
ренне.

Ал. ИСБ

ХЕМФР
рево

ЛИТЕР

Илья

Евг. Г
ст

К И

ДОГ

А.

ЛЕВ РУБИНШТЕЙН

КРУШЕНИЕ ЮГА

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Монитор

1. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СЭМА ГЕГОРИ И ДРУГИХ

Тело Джона Брауна гниет в могиле,
Но душа его ведет нас в бой.

Солдатская песня северян.

ДЕВЯТОГО марта 1862 г., у берегов Виргинии, при спокойном море и ясном небе, была замечена на воде низкая черная площадка с башенкой, плывшая с большой скоростью по направлению форта Монро и, повидимому, пытавшаяся пройти блокаду.

У виргинского побережья в 1862 году крейсировала эскадра северных штатов, блокировавшая берега восставшего Юга. Редкое судно могло пройти незамеченным. Вахтенные северной эскадры научились распознавать суда по звуку, по цвету и даже, как они говорили, «по запаху дыма».

Но это судно не было похоже на другие суда. Оно сидело на воде так низко, что напоминало допотопное морское чудовище. На нем не было видно ни мачт, ни труб. В ответ на сигнальный выстрел оно подняло звездно-полосатый флаг и остановилось.

У вахтенного офицера на фрегате «Небраска» мелькнула мысль о больших полых цилиндрах, плавающих под водой. В эти годы все журналы были полны фантастических историй. Где-то в северных морях, по слухам, появился «подводный пират», нападавший на суда всех наций. Сообщалось об изобретении Фультона, сделанном еще при Наполеоне I — о «подводной лодке Наутилус», с винтом и парусом, которая может держаться под водой пять часов. Такие лодки, якобы, тайно сооружались во Франции для будущей войны против Пруссии.

Наконец, сообщалось о секретном подводном механизме пруссака Бауэра, похожем на глубоководную рыбу и созданном для войны против Франции.

На палубе таинственного судна появился человек в форме лейтенанта флота Соединенных Штатов. На вопрос вахтенного офицера он ответил: «Монитор».

— Из Нью-Йорка в Гэмптон-Родс по приказу морского министра, командир — лейтенант Уорден, — сказал он далее.

— Это панцырный фрегат? — любопытствовал вахтенный офицер.

— Это «Монитор», — коротко ответил лейтенант Уорден.

Капитан «Небраски» появился на мостике и навел на «Монитор» подзорную трубу.

— Молчите, — сказал он, — это, повидимому, пловучая батарея Эриксона. Скажите ему, чтоб он отправлялся дальше. Где бишь, у него труба — ах, она сзади...

За кормой «Монитора» появился мощный водяной ров, обрамленный пеной. Завыла сирена, за клубился легкий дымок.

«Монитор» врезался в волну, слегка накренился и исчез, угрожая берегам Виргинии и всей морской дали своей круглой башней, обшитой восьмидюймовым гладким панцырем. Из бойниц башни торчали короткие мрачные двухсотфунтовые орудия.

Фрегат «Небраска» слегка качнулся на волне, поднятой «Монитором». Он был похож на деревянного альбатроса, опутанного множеством туго натянутых снастей, которые стремились вперед и вверх — в воздух. Его труба курилась мирным кухонным дымком.

Капитан «Небраски» долго смотрел вслед низкому чугунному безобразному «Монитору». Потом капитан вздохнул и ушел в каюту.

«Монитор» шел в Гэмптон-Родс по особому приказу министра.

Дело заключалось в том, что восставшие южане в 1862 г., в строжайшем секрете, спустили на воду обшитый панцырной броней корабль «Мерримак».

Панцырные суда уже не были новостью в то время.

В 1855 г. во время Крымской войны, перед Очаковым появились три французские броненосные пловучие батареи. Русские ядра лишь слегка прогибали, но не пробивали их броню. Береговая артиллерия Очакова была смята в течение двух часов.

В 1858 г. в Тулоне был заложен первый французский броненосец «Глуар» со скоростью 13½ узлов.

В 1859 г. англичане спустили на воду еще более мощный броненосец «Уорриор».

«Мерримак» отличался от всех этих судов. Его броня доходила до десяти дюймов. Зато он развивал скорость только до четырех узлов и не мог ходить против ветра.

— Еще три-четыре таких чудовища и блокада сорвана, — сказал министр Стэнтон, когда ему доложили о «Мерримаке», — наш деревянный флот погиб. И...

Министр не закончил, потому что ему было страшно сказать, что если блокада будет сорвана и «Мерримак» выйдет в сво-

З

СС

Вл. МАЯК

Лев РУБ

Николай
РЕННЕ

Ал. ИСИ

ХЕМФР
РЕВИ

ЛИТЕИ

Илья

Евг. I
С

К I

ДО

А.

бодное море, то в течение суток он появится в Вашингтоне, на реке, против зданий правительства Соединенных Штатов. Остальное зависело от артиллерии.

И тогда министр Стэнтон вспомнил об «игрушке Эриксона». Джон Эриксон, изобретатель гребного винта, с самого начала войны предлагал морскому министерству построить башенное судно низкой осадки, в котором маневренные возможности сочетались бы с крупными калибрами артиллерии. Его предложение долго провалялось в вашингтонских канцеляриях.

Эриксону разрешили построить опытное судно только в 1862 году.

— Слишком маленький, — недоверчиво сказал Стэнтон, когда ему впервые показали это судно, — это ящик для сыра на плоту.

Журналы того времени полны были фантастических проектов. Рисовали четырехэтажных панцирных левиафанов, освещенных электричеством, с «механическими парусами», с пушками в амбразурах и с башнями, похожими на средневековые замки.

«Будущая морская война — это война железных пловучих крепостей», — писал какой-то Белликозус в швейцарском журнале.

— Почему такая тонкая броня? — спросил министр.

— Облегчает движение, сэр, — ответил Эриксон.

— Надо сделать сверхтолстую броню. Ведь это — панцирный корабль?

— Это «Монитор», — сказал Эриксон.

В марте того же года, ночью командир «Монитора», лейтенант Уорден, получил приказание спешно присоединиться к северной эскадре на рейде Гэмптон-Родс.

— Представьте себе, — продолжал Сэм Грегори, — что у кентавра Корни пятнадцать миллионов таких кружков с изображением полуголой лэди и с надписью: «Соединенные Штаты Америки. Один доллар». А?

— Не может быть пятнадцать миллионов у одного человека, — сказал Эл Кимбс, — насчет кентавра — это еще туда-сюда. Кентавр-Тенесси — небольшая лодочная пристань...

— Дурак, — ответил Сэм Грегори, сплевывая табак, — это не тот кентавр. Это древний бог из Европы. А пятнадцать миллионов — это у Корни на домашние расходы. Он голландец по происхождению и держит все в сундуках.

— Я верю тебе, Сэм, — сказал Эл, — но пятнадцать миллионов не бывает у одного человека.

— Олук, — продолжал Сэм, — разве ты когда-нибудь видел миллион? Этими кружками можно было бы вымостить дорогу отсюда до Бэттери и еще осталось бы мили на четыре.

— А он не врет?

— Кто? Корни? Зачем ему врать? За такие деньги можно говорить, что думаешь. Он разорил моего отца, который был ло-

дочником в Нью-Йорке на Ист-Ривере и разорил еще многих. Он раздобыл себе столько копий с этой полуголой лэди, что с ним нельзя было совладать. Мой отец всю жизнь отрабатывал ему свой долг штурвальным на «Чертополохе». Вот кто такой Корни. Корни — это зараза.

— Кто этот Корни? — спросил канонир Метцингер, доставая трубку.

— Корнелиус Вандербильт, должно быть слышали?

Этот разговор происходил 9 марта 1862 г. на баке «Монитора», подходившего к берегам Виргинии, где стояла северная эскадра, блокировавшая побережье. Ночная смена кончила работу и это был час, когда старший машинист Сэм Грегори впадал в ораторское настроение.

— Это еще не все про Корни. Старик давал деньги в счет жалованья и когда отец отдавал меня в школу, понадобилось восемьдесят долларов. «Я забочусь о своих служащих, — сказал Корни. — Эй, дайте штурвальному Грегори восемьдесят долларов и записать за ним». Отец хотел сделать из меня адвоката.

— Ну? — сказал Эл Кимбс.

— Прошло шесть месяцев. Отцу платили жалование аккуратно, но этого хватало в обрез на семью. Отец думал о подработках, но подработки были запрещены у Корни. Тогда отец явился к Корни и сказал, что денег нет.

— Вот видишь, — сказал Корни, — ты берешь в долг, не зная, когда и как отдашь. Так поступают христиане?

Отец молчал.

— Тебе угрожает долговая тюрьма, мой милый, — сказал Корни. — Но я не хочу лишиться штурвального. Ты хорошо работаешь. Я поступаю, как христианин. Ты хотел меня разорить. Но видишь, я кладу руку на сердце. Мальчик будет работать у меня мальчиком при машине.

Вот почему я не стал адвокатом. Но я не жалею об этом. Колесо фортуны повернулось в сторону машинного отделения.

— Фортуна, — вставил Эл, — знаю. Двухтрубный пароход на Огайо. Там служил Белчер-Ураган, у которого я...

— Это не пароход, а европейская богиня, олух, — сказал Сэм. — У нее особое колесо, без лопастей. Но слушайте, Метцингер, когда мне стало пятнадцать лет, я пришел к Корни и сказал, что мне надоело чистить топку. Корни посмотрел на меня из-за конторки и спросил меня, что мне нужно. Я сказал, что хочу делать жизнь. Тогда Корни задвигал бровями, достал старую рыжую книгу, открыл ее на шестьдесят третьей странице и вычитал оттуда, что за мной долг в размере девяноста долларов. Это были те восемьдесят долларов с процентами. «Я же работал на вас», — сказал я. «Работал и получал жалованье, которое ты проел», — ответил Корни, — а теперь ты будешь отрабатывать долг». — «Не буду», — сказал я ему и повернулся. «Ты пожалеешь», — сказал Корни, и я пожалел об этом, ей-богу, уже

Вл. МАЯ

Лев РУБ

Никола

рент

Ал. ИС

ХЕМФ

ре

ЛИТ

Илья

Евг.

К

ДО

А

на пристани возле самой конторы, потому что меня схватили двое полицейских и молчаливо вернули на «Чертополох». Тогда я выждал неделю и в субботу вечером, после получки удраю с борта в воду, потому что Корни приказал не пускать меня на берег. Когда я был в Иллинойсе, мне говорили, что Корни подал на меня в суд и чтоб я уходил на Запад, потому что это считалось «уголовным делом». Как вы думаете, Метцингер, может ли гражданин Соединенных Штатов работать там, где ему вздумается?

— Не знаю, — сказал Метцингер, — я не адвокат.

— И вот, джентльмены, — продолжал Сэм Грегори, — я скитался по штату Индиана целое лето. На одной пристани, где я заночевал на штабеле досок, рядом со мной устроился очень смуглый малый, лет девятнадцати. Я сказал ему, что меня зовут Сэм Грегори и что я иду на Запад, в поисках справедливости и свободных земель.

— Ах, — кричит он, — какое совпадение! Идем со мной! Меня зовут Беппо Феррари, я итальянец и направляюсь в Новую Гармонию.

И он торжественно протягивает мне какой-то пакет, завернутый в голубую бумагу с картинкой, похожей на доллар.

Он разворачивает пакет — выпадает книжечка в желтой обложке.

— Что хотите вы сказать, — говорю я ему, — этим жестом, достойным Гомера?

— Гомер был славный парень, — не удержался Эл, — хотя впоследствии оказался шулером.

— Гомер? Ты лично его знал?

— В Синсинати. Он был очень светлый негр и выдавал себя за мулата.

— Ох, это другой Гомер, тот из Греции. Так вот, Метцингер, я спрашиваю у этого парня: «что это за книжечка?», а он говорит мне: «прочитайте» и я читаю: «Гармоническая Ассоциация, Практическая Экспозиция Социальной Организации, сочинение Альберта Брисбэна».

Тут мой приятель кладет книжку на землю, снимает куртку и произносит целую речь, из которой я могу понять только одно, что сам он неграмотен, что эту книжку ему прочли другие, что Новая Гармония — нечто вроде республики, где люди равны и где задешево всем предлагается полная справедливость. Коротко говоря, он увлек меня за собой и мы приходим на большую ферму, всю утопающую в садах, и сразу спрашиваем главного директора. Никто не спускает на нас ни одной собаки и какой-то красноносый старичок, в чулках и туфлях с пряжками, сажающий в огороде капусту, спрашивает у нас, кто мы и какой капитал желаем поместить в акции. Мы называем свои имена, а насчет капитала даем ему понять, что этот вопрос мы согласны

обсудить после завтрака. Тогда старичок начинает хохотать и, топая своими ножками, визжит игриво:

— Не притворяйтесь, я вас узнал, вы плохо скрываете свое инкогнито! Вы оба — Грожаны.

Я толкаю Беппо под бок и спрашиваю сразу, чем мы можем быть полезны.

— Ничем, — говорит старичок, — я президент этого фаланстера и меня зовут Мондор, а как мое христианское имя знать вам нечего. Я уже вижу, что никакого капитала у вас нет, а у нас доход распределяется по капиталу, труду и таланту и вы можете рассчитывать только на $\frac{5}{12}$ дохода, как предлагающие только труд.

— Вот именно, мистер Мондор, — говорю я, — мы предлагаем только труд и нас интересует больше свинина с бобами, чем все акции в мире.

— Тогда, — говорит старичок, — вы можете поступить в Новую Гармонию в качестве Грожанов и будете косить и заниматься скотоводством. А интриговать вы умеете?

— За кого вы нас принимаете, — говорю я, — мы и не слышали ни о каких интригах. Мы хорошо умеем косить и с детства мы без ума от скотоводства.

— Это плохо, — отвечает старичок, — что вы не умеете интриговать, но вы научитесь. Идите за мной. — Тут я толкаю Беппо под бок, делаю разные знаки вокруг своей головы и тычу пальцем в старичка. Беппо кивает головой и мы поступаем в Новую Гармонию в качестве работников.

Сэм Грегори сплюнул.

— Ну, ребята, скажу я вам, что больших чудачков не видал свет. У них все работающие делились на Грожанов и Мондоров. Мондоры вносили капитал, получали треть доходов и имели особое расписание работ. Грожаны капиталов не вносили и получали $\frac{5}{12}$ доходов, а работали не меньше других. Но суть не в этом, а в том, что, по их мнению, через пятьдесят пять лет весь мир будет состоять из таких ферм, где не будет вражды классов и воцарится справедливость или, как они говорят, всеобщая гармония. Сочинил всю эту белиберду какой-то француз, по имени Чарльз Фурье, но сам он не работал, а его изобретение завезли в штат Индиана какие-то предприимчивые американцы. Мы с Беппо проработали там год. Вставали мы в три часа ночи, а в четыре у нас был «сеанс в группе конюшен». Почувившись с лошадьми, мы со всех ног бежали в «группу садовников». От завтрака до обеда мы танцевали между «группой огородников» и «группой скотников», а после обеда неслись из «мясной группы» в «фабричную группу». В восемь часов вечера мы шли на «биржу» и глядели, как Мондоры торговались из-за акций и интриговали, потому что у них обязательно полагалось для порядка дела, чтоб каждый заводил «ревнивые интриги». После ужина начинались «развлечения», причем Мондо-

Вл. МА

Лев РУ

Николай

Ал. И

ХЕМС

ЛИТ

Иль

Евг

К

Д

А

ры развлекались игрой в серсо, а Грожаны сидели на скамеечках и вздыхали по родине.

— Так вот, — говорю я однажды Беппо, — мне надоела эта пляска между «группой конюшен» и «группой скотников». Я ухожу на великий американский Запад, где каждый работает на себя, на свободных землях, будь это Канзас или Небраска. А ты можешь здесь бегать и обслуживать этих оранжерейных старичков с их изобретателем Чарльзом Фурье хоть до самой гробовой доски.

Беппо чешет затылок.

— Ушел бы и я, — говорит он, — да директор говорит, что никто не мешает мне поинтриговать на бирже и самому стать Мондором. У них ведь нет частной собственности, а есть только акции, как это написано в сочинении Альберта Брисбена, под названием...

— Брось в печь свое сочинение, — говорю я, — я не интриган и не биржевик, а механик и ноги моей больше не будет ни на каких биржах.

И я ушел из Новой Гармонии.

Впоследствии Беппо прислал мне письмо, в котором писал, что их затея обанкротилась и старички передрались, а сам он служит кондуктором на нью-йоркской конке.

— И вы попали на Запад? — спросил Метцингер.

— Не спешите, Метцингер. И я попал на Запад. Вы знаете, что тогда очень были в моде «свободные земли» Запада, о них говорили, печатали книжки, из-за них даже дрались и считалось, что безработному механику и, тем более, уголовному преступнику нет другой дороги, как на Запад. Я пристал к мормонскому пророку, доктору Хурлубауд, которого избили фермеры в Индиане, после чего он проклял все восточные штаты и снарядил фургоны на Запад. Попросту говоря, я поступил к нему работником. «Ищущие истинную веру идите за мной! — кричал доктор, нанимая людей на работу за гроши, — меня избили нечестивцы, но я найду вам справедливость!» И таким образом, я оказался в Канзасе.

— Ну? — сказал Эл Кимбс.

Искатель справедливости Сэм Грегори вздохнул:

— Вот говорят, ребята, что Канзас гнусный, кровавый штат, а я прожил там двенадцать лет и оставил там свое сердце. И я до сих пор жалею об этом. Надо вам сказать, что эти мормоны, — крепкие хозяева, у каждого из них по 6—7 откормленных коняг и по 8—10 толстых жен. Индейцы Сиуксы боятся их до сих пор больше, чем пушек Армстронга. Я жил на ферме у Хурлубауда и занимался там работой, потому что доктор мормонской теологии ни черта не понимал в капусте и огурцах и проводил свои дни в чтении старых книг. Я уже жалел о том, что не могу выписать туда своего старого приятеля Беппо из Нью-Йорка, как вдруг случилось такое дело: к одному работ-

нику мулату прибегает его дальняя родственница квартиронка¹ Тилли. Ее пустили с аукциона по случаю банкротства ее белого дяденьки, у которого она жила на правах камеристки — и продали в Луизиану. Там ее мучили так, что она не выдержала и сбежала, сбилась с дороги и попала в дикий Канзас. Что было делать? Мы стали ее прятать. Ей было семнадцать лет, она была смугла и свежа, как персик, и глаза у нее вертелись, как небольшие переносные зеркала. Я стал зевать на работе и однажды Хурлубауд поручил двум своим самым толстым женам всыпать мне лозами за свороченный в реку воз с огурцами. Постепенно мы с ней разговорились...

— Ну? — сказал Эл Кимбс.

— Не забегай вперед. В общем, мне уже было порядочно лет и я перестал ждать светловолосого ангела с корзиной роз в руках, с которым мы будет лежать на лилиях и питаться фиалками. Кстати, у них, в Канзасе не видали ни одной машины, кроме паршивого ручного «джина»², а я по профессии механик. Мы решили сбежать на север. Так вот, как-то однажды, вернувшись с работы, я застал в садике двух привязанных лошадей, а в кабинете у доктора сидели какие-то двое бородатых с мало приятными мордами, и один из них, украшенный шерифской бляхой, сказал совершенно явственно.

— Я не знаю, мистер Мельфорт, я ничего не видел и не слышал. Если вам угодно вступить в небольшую сделку с доктором Хурлубауд, — это ваше личное дело. Что касается до меня, то я по закону обязан задержать этого мулата, который прятал у себя чужую движимую собственность.

Тут все вскипело во мне, потому что Канзас в те времена был еще не штат, а территория и в нем рабство было воспрещено Миссурийским компромиссом. Я побежал за Тилли, но по дороге встретил мулата. Он посмотрел на меня собачьими глазами и сказал: «не трудитесь, Сэм, ее уже увезли». Ее комната была пуста и усыпана бабьими тряпками, от которых пахло девушкой и невестой. Тогда я вернулся назад, стал под окно и слышал, как этот Мельфорт отсчитывал Хурлубауду сотню долларов, потому что доктор был лиса и даром ничего не умел делать. Подумайте, ребята, он ее просто продал!

— Продать хозяину его собственную вещь... — начал Эл Кимбс.

— Олух! — вдруг гаркнул Сэм. — Если у тебя не варят мозги, старайся об этом никому не рассказывать!

— Продолжайте, Сэм, — сказал Метцингер.

— Что было делать? Я дождался, пока они ускакали, вошел к доктору и спросил у него, где Тилли. Он быстро потянулся за ружьем, но я хлопнул его по голове креслом и он упал. Это

¹ Квартироны — потомки белых и негров. Продавались часто наравне с неграми.

² Хлопкоочистительная машина.

Вл. М.

Лев Р.

Никола

ре

Ал. I

ХЕМ

I

ЛИТ

Илл

Евг

К
Д

было второе уголовное дело, в котором обвиняемым значился гражданин этих Соединенных Штатов Сэмюель Грегори, ваш покорный слуга.

— Ну? — сказал Эл Кимбс.

— Знаете, Метцингер, я уже тогда почувствовал, что дело дойдет до драки. Я готов был ворваться в их Новый Орлеан и бить этим креслом направо и налево по их людоедским черепам. Я механик, а не обложка к Новому Завету. Я побежал к своим друзьям на ферму Текучая Вода и они держали меня за руки сутки, чтоб я не убил еще кого-нибудь. Потом они сплывили меня в Бивер-Ферри, на переправу через Рипабликэн-Ривер, где была стоянка аболиционистов или, как они это называли, «подземная дорога», чтоб удрать в Небраску. Они переправляли на север беглых негров и знали все новости. Так вот, когда меня туда привезли и я заикнулся про Тилли, они велели мне молчать. «Она опять сбежала, друг, — сказал мне их главный, — только она»... — «Ну, что только!» — заорал я изо всех сил. Тут меня провели в заднюю комнату и я увидел бедную свою Тилли. Она лежала, устремив глаза в потолок и...

— Умерла, — сказал Эл Кимбс.

— Не забегай вперед, Эл. Она не умерла, но когда я перевернул ее носом вниз, я увидел, что у нее вся спина исполосована ножом и на руках вырваны все ногти. Она бежала шесть суток босиком через прерии и когда она пришла в себя, то уже не узнала меня. Она спятила и раз в сутки с ней случался припадок, от которого мне становилось не по себе. Нас сплывили в Небраску и мы двинулись дальше, на север, но тут на одной переправе моя Тилли пошла купаться и больше я ее не видел. Должно быть, у ней начался припадок, когда она была в воде.

— А ты? — спросил Эл Кимбс.

— А я? Я купил двух лошадей у фургонщика и бросился назад в Канзас. Я прискакал туда во-время. Как раз Джон Браун шел с аболиционистами рейдом на рабовладельцев, и мы ходили по кровавому Канзасу, с ружьями и пушками, поджигая плантации и вешая негроторговцев. Это была хорошая война. Я был молод и до сих пор не могу забыть запах лисичника в цвету, дымящиеся дороги, вывернутые плетни, горящие фермы, яблочное вино и ружейную трескотню над ручьями.

Сэм Грегори сунул в рот новую партию табака.

— Вы ходили с Джоном Брауном в Гарперс-Ферри? — спросил Метцингер, придвигаясь поближе.

Сэм Грегори стал серьезен.

— Нет, не ходил, я отстал от него. Жалею об этом до сих пор. Мне нелегко об этом вспоминать, но я был там в первых рядах, когда его вели вешать и он кивнул мне. У него были каменные глаза, подлинно каменные...

— Почему вы отстали от него?

— Потому, Метцингер, что мне нужно было больше, чем ему хотелось. Мне нужна была война и новая жизнь. Джон Браун был религиозным фанатиком. Вдобавок он был упрям и думал, что стоит ему захватить арсенал в Гарперс-Ферри, как все негры на юге восстанут и будет объявлена свободная негритянская республика, а рабовладельцев вырежут вместе с семьями. Он захватил пожарный сарай и отстреливался сутки. В заложниках у него в сарае сидел полковник Льюис Вашингтон, внук Джорджа Вашингтона, а сам старый Браун носил саблю Джорджа. Все это было очень похоже на Брауна.

— Вы знаете всю эту историю?

— Да, у него в первый день ранили сына, который умер ночью. Потом убили второго сына, а потом третьего. Браун прицелился и застрелил мэра Гарперс-Ферри. Там собралось несколько сот человек добровольцев и они прямо изрешетили этот сарай. Один из его сыновей пробовал убежать — за ним долго тнались по улице. Потом его схватили, повели на мост железной дороги, расстреляли и сбросили в воду. А потом толпа выловила его из воды и повесила перед сараем. Потом пришли военные моряки под командой полковника Ли, нынешнего генерала. В полчаса все было покончено. В сарае, кроме заложников, все были ранены. Старика Брауна вылечили и приговорили к повешению.

— И вы были там?

— Да, я узнал и приехал. Мне хотелось еще раз взглянуть на него. Я видел, как его везли, в телеге, на которой стоял его гроб, а кругом гарцовала виргинская милиция. С ним ехал шериф Сэдлер, и Браун сказал ему: «прекрасный вид отсюда». Сэдлер сказал: «Вы бесстрашный человек, капитан Браун». — «Да, — сказал Браун, — меня так воспитала мать; но трудно мне расставаться с друзьями». — «Вы держитесь бодрее меня, капитан Браун, — сказал Сэдлер. — «Я обязан быть бодрым». И после, когда он уже стоял под виселицей, с веревкой на шее и с белым колпаком на голове, шериф закричал издали: «Капитан Браун, вы стойте не на той доске, сделайте шаг вперед!». И мы слышали твердый голос из-под колпака: «Я ничего не вижу, джентльмены, поставьте меня на люк». И он умер. В Канзасе он хладнокровно убивал людей в постелях. Если б вы могли посмотреть на него, Метцингер! Он был высокий, тощий, с сухим подбородком, а глаза у него были каменные... говорят, он был добрый человек... — Сэм Грегори замолчал.

— Что же было дальше с вами? — спросил Метцингер.

— Как только Линкольн объявил мобилизацию, я записался. И я ходил, товарищи, с Фаррагутом на Новый Орлеан!

— Ну? — сказал Эл Кимбс.

— Кто из вас помнит, ребята, как первые полки уходили из Нью-Йорка год назад? Это были проводы! Когда пехота вышла на Бродвей, кругом стояла восьмидесятитысячная толпа народа и неба не было видно из-за флагов. Все орали, пели и голосили

Вл. М.

Лев Р.

Нико:

ре

Ал.

ХЕМ

ЛИ

Ил

Ев

К

Д

«Вперед на Ричмонд!» Ни о каком строе не могло быть и речи! Нас донесли до пристани на руках и совали нам табак, конфеты, сыр, ветчину и чорт его разберет, что еще! Синие кепи потонули в море шляп, взлетающих в воздух. Это были проводы!

— Как же с Новым Орлеаном?

— Ах, да! Мы не дошли до него. И, знаете, кто тут был виноват? Честное слово, старый кентавр Корни Вандербильт! Я еще раз вспомнил его, когда на нашей несчастной «Ниагаре» на широте мыса Гаттерас, при тихой погоде и спокойном море, начали выпадать бортовые доски. Оказалось, что суда скупал для вительства Вандербильт, при посредстве какого-то Саутгарда, который брал десять процентов за комиссию. И эту гнилую «Ниагару», в которой ни один гвоздь не мог удержаться, он купил за десять тысяч долларов, когда ей красная цена была полтысячи на слом! Они с Саутгардом все время зарабатывали на комиссии. «Ниагару» взяли на буксир и кое-как отвели в форт Монро. И в этом форте Монро, к которому мы скоро пойдем, когда я сидел у моей кривой машины, сложа руки и жуя табак, ко мне подошел среднего роста плешивый человечек с бакенбардами и спросил меня, не я ли Сэм Грегори, военный механик.

— Сэмюэль Грегори перед вами, сэр, — отвечал я.

— Я слышал, что вы хороший механик, — сказал он, — я собираю людей для одной новой машины, которую вы нигде не могли видеть. Но вы ее полюбите, как только увидите.

— Если я не ошибаюсь, сэр, речь идет о паровой машине для завертывания в пеленки грудных младенцев? — спросил я.

— Не совсем, — сказал он, — «Монитор», вот как она называется.

— Это был Джон Эриксон? — спросил Метцингер.

— Совершенно верно, Метцингер. Это был он, главный инженер нашего ящичка. Он оказался на месте, когда началась драка, этот честный швед, этот близорукий Ганнибал...

— Я знал Ганнибала, — задумчиво сказал Эл Кимбс, — он не был близорук, но у него была скверная манера припадать на левую заднюю ногу у самого финиша и его выгнали с бегов...

— Метцингер, не пересядете ли вы сюда? Этот веселый американец из воскресного приложения к «Трибуне» прогулел мне левое ухо.

— Сэм, — сказал Метцингер, — почему вы рассказываете про свою жизнь в таком веселом тоне?

— Потому что я еще не так стар, Метцингер, чтоб жалеть о том, что не вышло. Вернее, я даже молод! Впереди освободительная война. Сами понимаете — это справедливая война. Я хочу зажить по-другому, среди добрых, честных людей. Мне еще осталось лет тридцать.

— Сомневаюсь, — сказал Метцингер, — сомневаюсь.

— Что вы говорите, Метцингер! — закричал Сэм.

— Я уже раз воевал. Это было в Европе, в Бадене, в 1848 году. «Свобода, свобода» — черно-красно-золотой сон — казалось, что она стоит у под'езда ратуши. Потом нас разбили и я бежал.

— Почему?

— Что мы могли поделать с нашими охотничьими «пистонками» против прусских игольчатых ружей!

— Почему же вы записались к нам волонтером?

— Потому что это в самом деле справедливая война. Но за нас между прочим будет раскланиваться... Корни Вандербильт!

— Как, сэр! — завопил Сэм, — я, Сэм Грегори, доброволец и знаток древностей, буду рисковать головой за сундуки этой черствой голландской селедки!

— Да, да, сэр, — угрюмо сказал Метцингер, — вы это сделаете. Карусель опишет круг, и вы, Сэм, человек бездомный и одинокий, будете снова бродить и толкать карусель. И вам будет казаться, что все в порядке, потому что карусель так и сделана, чтоб вращаться по кругу.

— Никогда! Лучше я умру, как древний римлянин!

— Лучше, Сэм, — сказал Метцингер, — не выпускать из рук оружия.

Он встал.

— А, впрочем... — сказал он задумчиво, — кто знает? Хотел бы я знать, Сэм, кто же будет платить по счету за войну?...

Тут весь наглухо закрытый корпус «Монитора» задрожал от боцманских свистков.

— Бросай табак, — крикнул старший механик, свешиваясь в люк, — ночная смена к машине! Тревога!

— Ну, — сказал Эл Кимбс, почесывая переносицу, — теперь, кажется, началось. Посмотрим, что это за ящик...

2. СХВАТКА ИХТИОЗАВРОВ

Сэр Гью погиб бы, если б не подоспели крестьянские стрелки.

Вальтер Скотт.

8 марта 1862 г. союзная эскадра, блокировавшая виргинский берег на рейде Гэмптон-Родс, была пробуждена тревогой с вахты. На борту фрегата «Кемберлэнд» били барабаны морской пехоты. С борта «Конгресса» ударила пушка и на всех судах флотилии заиграли рожки.

С палубы «Кемберлэнда» в вечерней полумгле заметили «чудовище, напоминавшее огромного, наполовину погруженного в воду крокодила с крутой кровлей и длинным стальным тараном». Чудовище тяжело ползло со стороны Норфолька, выбрасывая длинную струю дыма.

«Кемберлэнд» дал залп, но «оно» даже не вздрогнуло. Оно остановилось перед фрегатом, как бы собирая силы. Затем раздался удар, от которого вздрогнула вся эскадра. «Кемберлэнд»

Вл. М.

Лев Р

Нико:

р

Ал.

ХЕМ

ЛИ

Ил

Ев

К

Д

покачнулся и накренился на бок. Темная железная масса медленно отступила и снова кинулась на фрегат. Раздался второй удар, потом третий и четвертый. Все это шло под грохот каких-то металлических листов, треск ломающегося дерева, крики утопающих и грозное рокотанье огня. «Кемберлэнд» горел.

— Знаете, Стивенсон, я думаю, что «оно» сверхестественное, — сказал бледный капитан «Конгресса», опуская подозрную трубу, — я двадцать лет в море. «Кемберлэнд» пошел ко дну.

— На нем флаг южан, — ответил старший офицер, — и, кажется, «оно» идет на нас.

Чудовище даже не стреляло. Оно направило свой таран на «Конгресс». Тогда только опомнились остальные суда эскадры и открыли бешеную пальбу. Рейд застался густым дымом. В дыму видно было, как «Конгресс» опустил звездно-полосатое знамя и поднял белый флаг. Тогда «оно» бросилось на «Миннесоту».

На следующее утро двое людей тоскливо глядело на широкое течение Потомака из окна Белого Дома в Вашингтоне.

На диване полулежал истомленный, растрепанный пожилой мужчина. Еще один сидел в кресле, развязав гастух и скрестив руки.

— Что-нибудь новое, Сьюард? — спросил Линкольн, стоявший у окна.

— Это «Мерримак» — ответил Сьюард. — Он обшит броней. «Миннесота» вышла из строя.

— Почему об этом у нас никто не знал?

— Они в прошлом месяце спустили его на воду. В большом секрете.

Линкольн обернулся к окну.

— Если они разгромят нашу эскадру, — сказал он, — и возьмут форт Монро, то к вечеру они будут в Вашингтоне.

— На реке ничего нет? — спросил человек на диване.

— Пока нет, — пробурчал Линкольн, — но мы, кажется, дождемся их, стоя у окна.

Тут зашевелился его сосед — Стэнтон, военный министр.

— Президент, — сказал он, — у нас есть «Монитор» и он сейчас должен уже быть в Гэмптон-Родсе.

— Ах, эта штучка, — сказал президент, — и судьба правительства Союза зависит от игрушки инженера Эриксона. Плохо. Плохо, друзья. Стэнтон, что мы можем сделать до вечера?

— Только направиться отсюда на станцию и нестись прямо на север по враждебному Мэриленду без всякой охраны.

— Если я оставлю здесь миссис Линкольн, — заметил президент, — она разобьет об мою голову весь кофейный сервис. Что-нибудь новое, Сьюард?

— «Монитор» прибыл в Гэмптон-Родс.

Игрушка Эриксона отличалась от других судов тем, что на ней матросов было не больше трети команды. Все остальные были механики и инженеры. Когда старший инженер Стэймз прошел по машинному отделению, собственноручно пробуя медные краны и не замечая, что его белые перчатки вымазаны машинным маслом, Сэм Грегори выглянул из-за трапа и произнес понимающим голосом:

— Она готова к опыту, начальник. Все идет хорошо.

— Спасибо, Грегори, — сказал инженер и голос его дрогнул. — Вы, конечно, понимаете, что весь вопрос в машинном отделении. Нет никакого фокуса в том, чтоб обшить корпус дважды листовым железом, как они это сделали. Весь вопрос в маневренных возможностях машины. Понимаете?

— Я понимаю, начальник, — сказал Сэм, — мы будем вертеться, как собака со сковородой на хвосте. Вы увидите работу.

На рассвете 9 марта южане на борту «Мерримак» заметили голую железную черепаху, плывущую по воде. На низком помосте торчал большой ящик для сыра, обитый чугунными плитами.

На черепахе не было ни парусов, ни колес, ни пушек.

— Наша очередь удивляться, — сказал кто-то на наблюдательной вышке «Мерримак». — Что это за ящик у нас в тылу?

— Что бы это ни было, — ответил капитан «Мерримак» Эгльстон, — я не думаю, чтоб нашей броне угрожала опасность. Лейтенант, полный ход вперед. Надо прикончить «Миннесоту».

Из ящика сверкнул огонь, и ядро весом в два центнера поколебало «Мерримак» до самого киля. Тем не менее он нанес еще один удар «Миннесоте».

— Задний ход, — скомандовал капитан, — теперь на очереди «Конгресс». Боже мой, что это такое, лейтенант?

— Капитан, — сказал лейтенант в полном ужасе, — он вращается!

— Кто?

— Ящик для сыра.

«Мерримак» получил еще два ядра одно за другим. После небольшого промежутка последовали еще четыре ядра. «Мерримак» оставил «Конгресс» и описал большую дугу по заливу. «Монитор» следовал за ним с вертящейся башней, стреляя с неслыханной быстротой. «Мерримак» ударил его тараном. Таран скользнул по гладким железным болтам черепахи. Раздался пронзительный визг металла о металл. «Монитор» буквально плевался тяжелыми ядрами. Облако дыма потянулось к серому тусклому утреннему небу, и в зареве горящего «Конгресса» стал виден «Монитор», два раза обошедший вокруг противника, пока «Мерримак» успел повернуться один раз.

Чудовище южан явно чувствовало себя не в своей тарелке. «Монитор» был, по крайней мере, в шесть раз меньше его.

Вл. М

Лев Р

Нико
ре

Ал.

ХЕМ

1

ЛИ

Ил

Ев

К

Д

— На abordаж эту проклятую юлу! — заорал капитан, — что это ливень из ядер, чорт поberi!

Это было глубочайшей ошибкой. «Монитор» нельзя было взять на abordаж. Он снова ускользнул из-под носа «Мерримак», обернулся вокруг самого себя и ударил противника залпом почти в упор.

Вспышка осветила стальные стены, плавающие во взбаламученной воде. «Мерримак» тяжело крикнул.

— Почему вы не стреляете, Эгльстон? — кричал в рупор с «Монитора» лейтенант Уорден.

— Порох дорог, — рявкнул Эгльстон, — я сейчас вас придавлю большим пальцем!

— Напрасно, Эгльстон, у вас прогнулся таран. Надо было обшивать гораздо выше.

— Мы рассчитывали, — орал Эгльстон в рупор, — попробуйте-ка сами справиться с этим чортовым тараном. Полный ход вперед!

Таран снова скользнул по борту «Монитора». Новый залп и снова голос с «Монитора».

— Поймите, Эгльстон, — надрывался лейтенант Уорден, — что вы разбиваете о нас ваш собственный киль.

— Так убирайтесь к дьяволу, — отвечал Эгльстон, — если вы ничего не смыслите в водоизмещении!

— Уходите в Норфольк, — выл Уорден, — и сделайте перерасчет. Эта штука провалилась. Она не может поворачиваться.

«Мерримак» дал задний ход, повернулся боком и выпалил разом из всех пушек. «Монитор», весь в огненном столбе, был похож на допотопное чудовище. Он рванулся в обход противника, оставляя на воде широкий багряный след. «Мерримак», тяжело дыша, уходил в Норфольк. На горящем «Конгрессе» кричали и махали шапками.

— Ура, Эриксон, — донесло оттуда, — ура, пловучая батарея!

На корвете «Миссури» играли «Янки-дудль». «Монитор» проходил мимо эскадры.

— Битва ихтиазавров, — сказал капитан «Конгресса», — эй, салют из всех орудий и займитесь пожаром. Мы горим.

Тени в Белом Доме стояли у окна до вечера.

— Что-нибудь на реке? — спрашивал человек на диване.

— Ничего, — отвечал президент.

— Господи боже, твоя воля, — вздохнул Сьюард.

Дверь распахнулась и вошел Стэнтон.

— Что-нибудь новое, Стэнтон? — спросил президент.

— «Мерримак» отбит и ушел в Норфольк. Пробоина где-то под водой.

— Хвала нашему великому народу, — сказал Линкольн, — и его истинной любви к свободе. Джентльмены, можно расходиться.

Старший инженер ворвался в палубу механиков и схватил Сэма за руку. Воротничок упирался ему в виски и лицо было все в саже.

— Прекрасно, старик, прекрасно, — закричал он, — работа высшего качества. Будущее за броненосцами, ребята!

— Нет, — сказал канонир Метцингер, вытирая со лба пот и пороховую копоть. Воротник канонира был расстегнут и его коренастая фигура с растрепанными волосами напоминала сказочного кузнеца, только что оставившего молот.

— Как нет? А за чем?

— За сельскохозяйственными машинами, — спокойно отвечал Метцингер.

— Вы неисправимый чудака, Метцингер, — сказал инженер — ребята, ночная смена может спать весь день.

3. БАРРИКАДЫ НА БРОДВЕЕ

«Мы считаем самоочевидным следующие истины: что все люди созданы равными; что создатель даровал им всем неизменные и вечные права; что среди этих прав жизнь, свобода и право добиваться счастья; что с целью добиться осуществления этих прав люди учреждают правительства, которые используют власть, исходя из желания управляемых.

Когда же после длинного ряда злоупотреблений и узурпаций народ убеждается в том, что правительство действует путем деспотизма, — его право, его долг низложить такое правительство и основать новое для будущего счастья».

Американская декларация независимости 1777 года.

В девятом выборном участке с утра висел список предназначенных к жеребьевке, во исполнение закона о всеобщей воинской повинности от 10 июня 1863 г. Перед списком стояла толпа хмурых людей в аккуратно вычищенных, но заплатанных куртках. Табачная жвачка летела во все стороны.

— Не здесь, Беппо, — говорила какая-то черноволосая женщина, — это должно быть буква «С».

— Буква? Может быть, — угрюмо отвечал Беппо, — да если бы нашелся добрый человек, который сказал бы мне, какая это буква.

— Племянница Нелл О'Брайен умеет читать, — сказала женщина, — но она с утра побежала продавать газеты.

— Слушайте, — пробурчал седой человек с черными выпуклыми глазами, — дешево стоит солдат!

— Почему вы это говорите, Сантос? — спросил его сосед.

— Здесь написано, что за триста долларов можно откупиться от военной службы, — ответил Сантос, — сумма неведика, но где ее возьмешь? Кто это кричит?

Вл. М.

Лев Р.

Нико

ре

Ал.

ХЕМ

ЛИ

Ил

Ев

К

Д

Черноволосая женщина рыдала, обхватив шею Беппо. Сам Беппо отчаянно вращал белками и старался оторвать ее от себя.

— Посмотри хорошенько, — говорил он какой-то девочке, проталкивая ее вперед, — может быть это не та буква.

— Это та буква, — отвечала девочка, — здесь написано «Феррари».

— Подожди, Беата, — растерянно говорил Беппо, — может быть я не вынул номера на жеребьевке.

— Кто это, Сантос?

— Это мои соседи с 36-й улицы, — ответил Сантос, — куча детей, жена, мандолина и меню из морковки. Слушайте. Кто же будет работать?

— Вы говорите, дети?

— Дети? Если бы хоть одному из них было двенадцать лет. Нет, это не Европа. У нас посылают на сигарные фабрики с девяти лет, а здесь хоть лопни, олух шатается с газетами до двенадцати лет и на фабрику его не берут.

— Это все негры, — буркнул какой-то толстяк в засаленном цилиндре, — надо повесить этих проклятых негров. Из-за них мы должны платить головами.

— Ведь негры сражаются у Бэтлера, — сказал Сантос, — слушайте, цветные полки.

— Сражаются? Вы когда-нибудь видели, как негры сражаются? И вы верите газетам? Нет, пора кончить проклятую войну. Все равно Союз проиграет это дело. Победить Юг! Это невозможно!

— Слушайте, а вы кто будете? — вдруг спросил Сантос.

Толстяк запыхтел, вежливо приподнял цилиндр и, что-то прошептав, вдруг исчез, как тень.

Солнце шло к западу, зажигая слуховые окна на вершинах домов. Сумрачные проходы фабрик выпускали на улицы массы людей, безостановочно жующих табак. Закрутились карусели, запели шарманки, взлетели раскрашенные шары. Дымился, торговал, толокся, звенел и грохотал красный, кирпичный Нью-Йорк. Уныло гудели пароходы на Ист-Ривере. Мелко дребезжали барабаны у дверей призывных комиссий и выборных участков. «Ваша страна зовет вас! Ваше место в рядах армии!» Около семи часов открылось бюро девятого округа, на углу 3-й авеню и 46-й улицы. Колесо со свернутыми в трубочку билетиками закрутилось. Человек с завязанными глазами запустил руку под стекло и вытянул из колеса билетик. Уполномоченный со значком развернул билетик и передал его соседу. Тот взял, просмотрел и отдал билет писцу. Писец записал и отдал билет глашатаю. Глашатай встал и прочел «Томас Делани». Толпа загудела. Серенький, невзрачный ирландец с завязанным ухом махнул рукой и стал пробираться к выходу.

На улице кучка людей собралась вокруг Сантоса.

— Скажите мне, что хочет старый Эби¹, — говорил Сантос, размахивая руками, — нам и так нечего есть, что будет, когда мы оставим наших детей? Неужели Белый Дом возьмет их на свое попечение? Разве мы и так не отдаем все для войны? Слушайте! Хотел бы я знать, у кого есть триста долларов к северу от Хаустон-авеню. Разве что у молочных торговцев. Проклятый город! Где это бывает, чтобы целая улица обжиралась курицей с зеленью в то время, как другая улица целиком лежит под ядрами. Слушайте, это война!

— Кому нужна эта война, — поддержал толстяк в грязном цилиндре, — и кто выдумал, что нельзя обойтись без войны? Все равно южане вас побьют, ей-богу, побьют!

Сантос обернулся в ту сторону, но толстяк уже исчез. Надвигались тучи. С запада приближалась гроза. Темные скопления облаков повисли над Мэдисон-сквером и над куполом Оперного театра. Вдали ломалась латунная молния. Должно быть за рекой, в Ньюарке уже шел дождь. Дробно звенела конка.

Колесо вертелось, глашатай выкрикивал новые имена. Уже Беппо Феррари вышел из бюро, недоуменно держа в руках листочек. Жена с воплями бежала за ним.

Толстяк в цилиндре вынырнул из-за угла и описал две восьмерки, лавируя от одной кучки к другой. Голоса повышались. Жестикуляция становилась ожесточеннее.

— Это все негры, — сказал он на ухо какому-то механику в сдвинутой на затылок шляпе, — это проклятые негры, — шепнул он другому. — Это все негры. Гораций Грили агитирует за войну. Раньше было лучше. Плантаторы вовсе не людоеды.

— Это все негры!

— И биржевики! Людоеды!

— Почему я знаю! Ничего себе! Почему я знаю, кто в этом виноват? Это город такой проклятый.

— К чорту войну, — сказал толстяк в четвертой кучке, — Гораций Грили агитирует за войну. Он пьет нашу кровь. Мы уже всего достигли. Голосуйте за демократов. Долой войну!

— Это все негры!

Полог туч приближался. Он прошел над Центральным вокзалом и распространился к Юнион-скверу, отсвечивая оранжевым. Поднялся ветер. Захлопали ставни.

— Эта война никому не нужна. Это Гораций Грили с республиканцами! Южане, может быть, вам друзья.

— Слушайте! Я не знаю, друзья они или нет, но те, кто живет к югу от Хаустон-стрит, наши враги.

Толстячок в цилиндре сделал святое лицо и, сняв цилиндр, перекрестился по-католически. За ним закрестились многие итальянцы.

— Санта Мария, — сказал нараспев толстяк, — зачем же мы здесь стоим? Почему нам не повесить 2—3 проклятых негров?

¹ Авраам Линкольн.

— И биржевиков, — поддержали в толпе, — и людоедов.

— Ведь это не Европа, это свободная страна, — сказал Сантос, — нас обязаны выслушать!

Толстячок исчез, как тень. Он подплыл к углу, оглянулся и воровато достал из рукава револьвер.

Глашатай продолжал выкрикивать имена. С улицы раздался выстрел и град камней посыпался в окна.

Рабочие конной железной дороги на 2-й и 6-й авеню и другие работавшие на фабриках в верхней части города бросили работу и двинулись на соседние фабрики.

Северная часть города набухла толпами. По 3-й авеню шла целая процессия. Над густым морем голов плыли плакаты с надписями «Как живешь, старый Эби?», «К чорту богачей!» и «Повесим Горация Грили на яблоне». На углу 36-й улицы и 3-й авеню клубы дыма вырывались из помещения призывной комиссии.

В синем квадрате полицейских, вооруженных дубинками и револьверами, прибыл суперинтендент. Он встал в пролетке и протянул руку к толпе, намереваясь что-то сказать. Суматошный свист повис в воздухе. Толпа покачнулась и надвинулась на полицию. Суперинтендент закрыл руками лицо и бросился на дно коляски, спасаясь от града камней.

— Слушайте, вот это каша, — кричал Сантос, — нас подстерегают в этой свободной стране. Старый Эби!

— Триста долларов!

— Мало голодовки! Сожгите Ист-Сайд, кто на вас будет работать!

— Пойдемте, Сантос, — сказал вдруг Беппо Феррари, выросший как из-под земли, — здесь плохо пахнет.

— Что это у вас в руках?

— Рельс. Для защиты.

— И жена здесь?

— Она не хочет сидеть дома. Слушайте, уходите, тут плохо. Мэр вызвал гражданскую гвардию из инвалидного корпуса. Идем на 29-ю. Там митинг.

Гражданская гвардия рассыпалась цепью поперек улицы. Джордж Вашингтон был прав, когда обучал свою милицию стрелковым цепям. Суперинтендент махнул перчаткой, он что-то говорил, но его не было слышно из-за криков толпы. Кумачевый, взлохмаченный, он наспех замахал гвардейцам. Те присели на колено и разрядили ружья. Залп вышел неловкий. Сначала взметнулся белый дым и достиг балконов третьих этажей, усеянных народом. А затем послышался звук — и из-за хлопающих ставень нельзя было разобрать, стрельба это или приближающаяся гроза.

— Пойдемте, Сантос, — сказал Беппо, — пойдемте на митинг. Вы видите, четверо упало. Их разоружают! Их разоружают!

— Да, это не Европа, — бормотал Сантос, — слушайте, они разоружают гвардейцев. Вот драка!

На 9-й авеню шел митинг. Толстячок вращал цилиндром с ловкостью фокусника. Казалось, он сейчас начнет вытягивать из него разноцветные ленты.

— Лэди и джентльмены, — раздавался его хриплый тенор, — мы уже всего достигли. Зачем нам освобождение негров? Оно нужно адвокатам и газетчикам вроде Горация Грили. Может быть немногие из вас знают, что в эту минуту войска генерала Ли взяли Геттисбург и разливаются по Пенсильвании, как приливная волна. Через несколько дней они вступят в Нью-Йорк при трубных звуках. Между тем, мы могли бы договориться с южанами. Демократическая партия — партия мира...

Первые капли дождя рассыпались по спинам и взлохмаченным головам.

Здесь было не меньше пяти тысяч.

— Наши страдания неопишутся... Мы пожертвовали всем для войны... Кто же выиграет войну?

— Бей негров, — заорал толстячок, извиваясь всем телом и ловя цилиндром воздух.

— Бей богачей, — ответили в толпе, и этот крик поднялся по 36-й улице и 38-й, прокатился по 29-й, вышел на 3-ю авеню и пополз к югу, минуя Хаустон-авеню и Канал-стрит, мимо здания муниципалитета, к тем улицам в районе Фультон, которые нарушают квадраты планировки.

Нью-Йорк был основан в 1626 г. при голландском губернаторе Питере Минуите, который купил остров Манхаттан у индейцев за ящик лент и бус, стоимостью в двадцать четыре доллара. Город назывался Новым Амстердамом и насчитывал 1500 жителей, говоривших на восемнадцати языках. По Уолл-стрит в это время тянулись частоколы и ходил наемный часовой с мушкетером. На реке Гудзон предприимчивые голландцы завели имения «по шестнадцати миль по фронту реки Гудзона и неопределенной глубины по острову». Блестела медная посуда. Звонили часы с кукушкой и копейщиком. Крутились прятки. «Патроны» жили зажиточно и сердито, сторонясь гостей, а по воскресеньям отправлялись на лодочные пикники, поближе к индейским стойбищам, где можно было по дешевке купить меха. Они устанавливали блестящие кофейники на траве, поили обращенных вождей турецким кофе и смущали их европейскими ржавыми ружьями. Отсюда, от сердитой, расчетливой провинциальной жизни, родились Асторы, Ван-Кортланды, Вандербильты, Ван-Бюрены, Вандегауде, нью-йоркские помещики и скупщики мехов. И когда небольшой флот, имевший тысячу ветеранов и девяносто пушек, явился, чтобы вывесить на Манхаттане английский флаг, они сонно повернули к нему толстые зады, заботясь только о праве собственности на раскаленную гранитную площадь «в глубину по острову», на которой уже к этому времени вырос город моряков и ремесленников, этих самых «новоселов, принадлежащих к индепендентской церкви». Помещики требовали.

Вл.
Лев
Нин

Ал.
ХЕ.

Л
и
е

чтобы новоселы строились по границам их имений. Отсюда и пошло нарушение планировки.

Новый Амстердам выбрасывал новоселов за черту голландских поместий, за частокол, за Уолл-стрит. Новоселы утвердились севернее, между Товарной Биржей и Сити-Холлом. Здесь дома были ниже, а прямоугольники ровнее.

Новый город выбросил следующих пришельцев еще севернее, между Хаустон-авеню и Центральным Парком. Здесь дома были приземисты, а стриты и авеню шли ровными квадратами, монотонными как казармы. И Нью-Йорк рос, и север никогда не мог обогнать юг. Юг пучился кирпично-серыми громадами, север обрастал двухэтажными бутылочными домиками, где в нижнем этаже тускло сияли зеленые шары аптек и где висели правила для посетителей баров. Здесь проигравшиеся биржевые маклеры ломали воротнички в сутулом одиночестве (в Нью-Йорке не жалуют) и мрачные механики тратили ночью узаконенную часть получки, чтобы согреться апельсиновой водкой. Этот город был так построен, что в нем не было места для баррикадных боев. Не было Бастилий, не было бульваров на валах и живописных переулков, которые можно было бы загородить афишной будкой и десятком мешков. Не было ни Тюильри, ни герцогского замка, ни политической тюрьмы. Были монотонные квадраты и жизнь протекала с правом для каждого жалеть самого себя и отдавать все остальное в руки адвокатов из Нижнего Города. И поэтому обитатели старого англо-голландского квартала были сильно удивлены, увидев на этих прорезанных по линейке авеню лежащие поперек улицы мертвые вагоны конки и торчащие над ними плакаты, Америка сошла с ума.

Толпа стояла всю ночь под проливным дождем. В Париже может быть было бы покончено с революцией. Но здесь стояли массажи и от толпы, вооруженной рельсами и ломami, шел пар. На фонарях болтались с два десятка негров, а военный министр Стэнтон в девять часов вечера получил телеграмму: «Нью-Йорк во власти толпы».

Ливень утих. Облака уходили к Бруклину.

На ступенях Сити-Холла губернатор Сеймур умолял и давал обещания. Он стал даже на колени. Его уныло освистали. И только когда с юга загремели барабаны 7-го Массачусетского полка и гаубицы были установлены на 28-й и 29-й улицах, биржевой город задрожал и бросился задерживать шторы.

Америка была неопытна и наивна. Она думала, что убийство массажи некрасиво и трудно.

На 29-й ораторствовал Сантос.

— Слушайте, мы выбирали старого Эби! Мы! Наши братья жертвуют своими головами. Свобода должна быть для всех. Уолл-стрит хочет воевать нашими руками.

— К чорту проклятых негров, — сказал в толпе густой бас, — из-за них умирают наши братья.

— Это война не за негров, а за свободу, — продолжал Сантос, — джентльмены, нас хотят обмануть. Уже составлен заговор против нью-йоркских механиков. Уолл-стрит желает договориться с южными людоедами. Слушайте!

— А старый Эби? — спросил тот же бас.

— Старому Эби голову долой! — заревел Сантос, — вот что нужно Уолл-стриту! Джентльмены, выступим за американскую свободу! Спасем наши души! Слушайте! Мы так долго ждали, неужели сейчас мы упустим время!

— Долой войну! — заорал бас.

— Да, долой войну, — закричал Сантос, — и долой голодовку, если кто-нибудь хочет выразить мне презрение — пускай выходит. Поговорим с глазу на глаз. Может быть завтра я сам, Санчо Сантос, запишусь добровольцем! Слушайте, я не хочу, чтоб за моей спиной шептались и устраивали заговоры. Завтра мы будем на фронте, а наших баб загонят в щели пятихвосткой. Мы голодаем с начала войны. Пусть они идут с нами в рядах.

На перекрестке двух улиц вдали сияли серебряные пуговицы. Артиллерия выезжала деловито и внушительно, кони храпели, ездовые покрикивали. Звякали металлом лафеты, опущенные на землю. Зарядные ящики мелко тарахтели, отъезжая в глубь 29-й.

Раздалась команда.

Офицер в долгополом сюртуке, в широкой шляпе, поднял свою черную бороду и протянул руку. Он держал в руке небольшую библию. Ею он указал на знаменосца.

Знаменосец тронул лошадь. Звездно-полосатый флаг, быстро и весело подсакивая, исчез за углом.

— Господь рек в святилище своем, — прошептал офицер, — я возвеселюсь, я разделю Сихем, измерю долину Суккот. Готовься!

Артиллеристы бросились к пушкам.

Беппо Феррари тронул Сантоса за рукав. Вдали красиво повисли поперек 29-й четыре коротких, самодовольных гаубичных жерла. Над ними торчали синие форменные кепи с большими козырьками.

Между толпой и пушками освободилось пустое место, уложенное булыжником, не больше пятнадцати метров в длину. На булыжниках лежала опрокинутая афишная будка. На деревьях готали мальчишки. Вдали догорал дом.

Сантос обратился к пушкам и протянул вперед обе руки. Шляпу он потерял и его редкие курчавые волосы были всклокочены. На лбу у него выступили крупные капли пота.

Беппо посмотрел вверх, на расчистившееся, повисшее над булыжного цвета домами бирюзовое американское небо. Ему не хотелось умирать. Небо продолжало двигаться над багряно-серым башенным Нью-Йорком. Пестрели рекламные надписи. Торчали черные фонари, усеянные детворой.

— Сантос, они будут стрелять, Сантос, — крикнул Беппо.

— Не будут! Не будут! — завопил Сантос, — пусть будет справедливость! Они не так бесчестны!

Он замер с расставленными руками. Откуда-то позади, в толпе, раздался свист — все громче, громче. Вылетел камень, ударил в мостовую, толпа двинулась.

— Слушайте! — кричал Сантос, размахивая руками, — о, слушайте, слушайте!

Впереди четырех жерл полоснула ослепительная молния. Тяжелый грохот потряс городскую мостовую и во всем квартале откликнулись длинными стенами падающие сверху стекла. Потом возник дым, в виде густой, черной массы, разорванной на широкие полосы.

Пушки откатились и вернулись обратно. Артиллеристы бросились к ним. Потом стала видна улица, усеянная телами, и искривленные фонарные столбы.

Неопытные артиллеристы Массачузетского полка были честными волонтерами и выполнили свое дело добросовестно. Ни одна улица в Европе не видела такого шторма картечи. Не было эффектного офицера, который бы выехал под градом камней с предложением сдать оружие. Не было и красивых лозунгов, кроме одного «Бей богатых», который звучал провинциально и жестоко. Не было флагов, священников, подбочившихся женщин и красных колпаков. Уныло, хмуро и наспех, без предупреждения, заработали картечные машины Армстронга и рельсы, молотки, и ломы зазвенели по хорошо вымощенной улице, валясь рядом с телами их хозяев. Пластинки фотографа гражданской войны Брэди запечатлели конных офицеров в долгополых сюртуках, командовавших артиллерией. Дым на этих негативах вышел смазанным пятном.

Впервые в истории Америки биржа вздрогнула от уличной пальбы. И тупые квадратные дома застлались густым дымом. Если бы кто-нибудь отважился пройти через час по 29-й, он нашел бы там Бетто и его жену, Беату, лежащими рядом с удивленными лицами. Неподалеку валялся Сантос, ухмыляясь и как бы говоря: «Слушайте, тыкнуло». И негр, повешенный на фонаре, проплывал над ними своими лиловыми пятками мерно, как маятник.

В этот час на Ист-Ривере, на небольшом железном суденышке, похожем на ящик для сыра, трубили отбой. «Монитор» был вызван сюда с утра и стоял, дожидаясь сигнала и наведя орудия на Пайн-стрит и Седар-стрит. Но сигнала не последовало. И только когда лейтенант Уорден вернулся с берега и велел трубить отбой, стало ясно, что «Монитор» не будет стрелять по Нью-Йорку. В каюту лейтенанта вошел хмурый, белобрысый швед — старшина палубы механиков Дальсе — и доложил, даже не становясь во фронт:

— Трое отказались работать, сэр.

— Кто? — в ужасе сказал лейтенант, ероша виски.

Дальсе махнул рукой.

— Кто? Кто?

— Старший механик Грегори, кочегар Кимбс и канонир Метцингер.

Уорден помолчал.

— Привести сюда.

Грегори, Кимбс и Метцингер вошли и, по привычке, сдернули шапки.

— Знаете, что будет дальше? — сказал Уорден, — военно-полевой суд. Потом — туда... на рею!

— Мы это знаем, сэр, — проговорил Сэм Грегори.

Уорден прошелся по комнате.

— Метцингер!

— Есть, сэр.

— Ваша профессия?

— Сапожник из города Лерраха, в Бадене, сэр.

— Грегори?

— Механик из Вильямсбурга, сэр.

— Кимбс?

— Из Афин, Пенсильвания, сэр.

— Профессия?

— Что придется, сэр.

— Молодцы, — сказал Уорден и зашагал по каюте.

— Кто вам мешал дезертировать, чорт вас возьми! — закричал он, потрясая кулаками.

— Прошу прощения, сэр, мы волонтеры, — сказал Метцингер, — мы не можем ни дезертировать, ни скрывать свои мнения, сэр.

— Вы не хотите стрелять по бунтовщикам!

— По американскому народу, сэр, — спокойно сказал Метцингер.

— Ладно, — рявкнул Уорден, — идите к старшине и скажите ему, чтоб он вас арестовал.

Через полчаса в карцер вошел Дальсе.

— Собирайте вещи, — об'явил он с неподвижным лицом. Арестованные встали.

— В тюрьму? — спросил Кимбс.

— Хуже, — сказал Дальсе, — в пехоту. Лейтенант Уорден переводит вас в сухопутную армию рядовыми. Может быть, вы сами понимаете, что вам следует всю жизнь молчать про сегодняшний день? В пехоту, рядовыми. Если вас убьют, пеняйте на себя. Собирать вещи и следовать за мной.

Тучи были уже где-то за Килль-ван-Куллем. Они уходили в море и там дождь хлестал гребни валов. Здесь было тихо, и только длинные медные перистые облачка деловито таяли на зеленовато-серебряной зыби Атлантики.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Война

4. РАПИДАН РИВЕР

...С шумом рек и водопадов
С шумом диким и стозвучным
Как в горах раскаты грома...

Лонгфелло.

Какой-то человек спал на берегу реки.

Медлительные водные скатерти тихо обгоняли друг друга. Вдали тянулись голубые холмы, покрытые сосновым лесом. Небо было синее, а вода холодная.

На ферме монотонно хлопала калитка. Звук этот повторялся через равномерные промежутки уже несколько часов. Окно в нижнем этаже было раскрыто. Повидимому где-то было раскрыто другое окно или дверь, потому что занавески все время яростно вдувало внутрь. На садовой дорожке лежали в беспорядке разбросанные кирпичи.

На меридиане Гринвича перекликались часы, вызывая полдень. На меридиане реки Рапидан было 7 часов утра и леса уже порыжели от утреннего солнца. Крякнул дрозд-пересмешник и разом осекся.

Человек спал. Откуда-то исходил тонкий переливчатый звук, ни веселый, ни грустный, похожий на звук индейской любовной флейты; флейты, на которой племена играют, вибрируя и почти не меняя тона, как птица, которая утром кувырывается в небе и никуда не летит.

Человек спал. Его убаюкивал этот непрерывный лесной звук и монотонное хлопанье калитки на ферме.

Этот человек был одет в синий мундир и высокие запыленные сапоги. На плечах блестели небольшие поперечные погоны. Он заснул сразу — он не успел отстегнуть саблю и даже снять кепи — оно было лихо сдвинуто набок. Он выбрал для отдыха небезопасное место для 2 июня 1864 г., в штате Виргиния, потому что он принадлежал к враждебной армии, и потому, что с лубого холма было ясно видно его неподвижное, затянутое в синий мундир тело, лежавшее на песке под кустом. Впрочем, можно было принять его и за труп.

Потом возник новый звук: чуть слышное вдали ритмическое побулькивание, короткое и энергичное. Человек открыл глаза.

— Какое мне дело до гражданской войны в Америке, — пробормотал он.

Побулькивание стало резче. Оно перешло в отрывистый, глухой стук. Наконец, оно выдало себя: это была барабанная дробь.

Человек приподнялся на руки и пополз в заросли. Там, скрытая за деревьями, паслась его лошадь.

Барабан стал явственно слышен со стороны моста. В это время по дороге, с другой стороны, мягко протопали копыта. Раз'езд в синих мундирах проскакал к ферме, оставив за собой низкую струю светлой пыли. У самой фермы всадники спешились и повели за собой лошадей к ограде.

— Разведка, — прошептал человек в кустах.

Солдаты шли прямо через палисадник, топча клумбы. Они остановились перед кирпичами, разбросанными на дорожке.

— Кирпичи, — сказал рослый сержант, и десять загорелых, бородатых лиц повернулись к крыше.

Труба была снесена и на крыше лежал целый ворох черепицы, прикрывавшей большую дыру.

— Попало, — сказал сержант, — Невис!

— Есть, сэр.

— Возьми пять человек и оцепите усадьбу. Остальные за мной.

Сержант поднялся по ступенькам. Это был обыкновенный виргинский дом, кирпичный, с верандой, колоннами и балконом во весь верхний этаж. Сержант ударил кулаком в дверь.

Никто не отзывался.

Сержант ударил еще раз. Он забарабанил обоими кулаками. Никто не отворял. Сержант поглядел в щель. Дверь была заложена досками и заставлена мебелью.

Сержант подобрал с земли кирпич и бросил в верхнее окно. Окно со звоном разлетелось. Никто не выглянул.

— Ребята, — сказал сержант, — в доме кто-то есть.

Он обошел дом, заметил открытое окно и сунул в него ружье. В комнате никого не было. Сержант легко приподнялся на руках и пролез в окно. За ним последовали солдаты.

— Какое мне дело до гражданской войны в Америке, — пробормотал человек в кустах.

Прошло минут десять безмятежной тишины. Затем окно нижнего этажа тихо отворилось и в него вылетело не меньше дюжины тарелок. С музыкальным звоном они рассыпались мелкими кусочками по садовой дорожке.

Почти вслед за ними вылетели подушка и трость. Затем послышалась громкая ругань, что-то загрохотало внутри; у входной двери и она распахнулась настежь. На пороге стоял сержант с обнаженной саблей в руке.

— Сюда, ребята, — заорал он, — обыскать плодовый сад и погреб! Здесь оружие!

В доме произошло следующее: сержант осмотрел комнату, в которую он проник через окно. Она вся была уставлена мелкими диванчиками и пуфами. У стены стоял трельяж со столиком, а на нем множество маленьких флакончиков и целое собрание дагерротипов в рамках. На дагерротипах были изображены сидящие в напряженных позах пожилые лэди, убранные по моде пятидесятых годов с бантами на юбках и кружевными чепчиками на гладких прическах, плотностью и жесткой суровостью

напоминающих парики. Это были почтенные матери и сестры виргинских рабовладельцев.

Сержант пошарил ногами под диваном. Он вытащил только кружевной платок, распространявший сильный запах гелиотропа. Сержант выругался. Никто ему не ответил.

Тогда сержант попробовал надавить плечом на дверь. Она приоткрылась.

Вдруг в тишине кто-то явственно произнес в доме:

...Кончай же, лэди Анна,
Бери мой меч—или бери меня!

Сержант быстро закрыл дверь. Он предпочел бы обыкновенный выстрел. Он никогда не читал Шекспира, но слышал множество историй о домах с привидениями.

Впрочем, он решил действовать напролом. Он обнажил саблю, решительно распахнул дверь и очутился в просторном холле, сопровождаемый четырьмя людьми с ружьями наперевес. В холле, на корточках сидел сероватый от волнения негр.

— Эй, черная морда, — крикнул взбешенный отсутствием сопротивления сержант, — ты один обороняешь это гнездо?

Негр не отвечал. Он только пучил глаза, — олицетворенный ужас.

Сержант увидел входную дверь — на этот раз изнутри — она была завалена громоздкой мебелью. Ему почудилась какая-то тень за окном и он растворил его. В ту же минуту дверь наверху, на галлее открылась и две руки, повидимому, женские, метнули в сержанта целую стопку тарелок. Тарелки счастливо миновали плечо сержанта и вылетели в сад. Вслед за ними пролетели подушка и трость.

— А, наконец-то вооруженное сопротивление! — крикнул сержант и бросился по лестнице наверх. Четыре приклада высадили дверь. За дверью стоял молодой человек с томным лицом в широком черном шарфе вместо галстука. Он наводил на сержанта большой пистолет какой-то старинной системы.

Он не успел выстрелить. Солдаты повалили его на землю и выхватили пистолет.

— Бус, он погиб, — крикнул низкий женский голос, и сержант увидел за дверью молодую полную даму в узком черном платье.

— Это вы оказали вооруженное сопротивление? — спросил сержант.

— Да, — ответила она, тяжело дыша, — я бросила тарелки. Я сдаюсь.

В доказательство она подняла обе руки. Сержант, однако, остался сух.

— Здесь было оказано сопротивление, — сказал он, — и было поднято оружие против Соединенных Штатов. Я так и знал, что это — гнездо, а, может быть, и наблюдательный пункт. Я обыщу весь дом.

Сержант вытащил из кармана печатный листок.

— Предписывается, — сказал он, — извещать владельцев, что ничего не будет сожжено или уничтожено. Но если будет найдено оружие или сигнальный аппарат... Свяжите его шнуром от кресла (он кивнул на молодого человека) и присмотрите за лэди. Убрать заграждение у двери!

— Вы не имеете права... — начала женщина, но сержант перебил ее.

— Предписано соблюдать только вежливость, мэм. Остальное вас не касается.

Солдаты группами рассеялись по всему дому. Кто-то кричал снизу: «в саду нет ни оружия, ни серебра, сержант, мы все обшарили штыками», потом заржала лошадь, выведенная из стойла, потом рухнула дверь в погреб, зазвенели бутылки и раздался хохот. «Виски первый сорт, Джим!» гаркнул кто-то. Двое с красными лицами вошли снизу в холл. Один из них пнул негра носком в зад, другой остановился перед портретом и сказал: «что за харя у этого торговца людьми», а второй ответил ему: «это их собачий президент Джефф Дэвис, бей его!» и два штыка с треском разорвали картину. За картиной последовала другая, а затем разлетелось в куски зеркало.

«Тебе бы такой легкий товар в Чикаго!» — закричал третий солдат сверху. «Посуду с собой не возьмешь», — ответили снизу и посуда зазвенела под ударами прикладов.

С громом вылетели стекла нижнего этажа. Упал шкаф и тяжело застонали басовые струны пианино. Кто-то проиграл яростную песню Рута «Союз навеки, ура, ребята, ура, долой изменников, гори звезда» и с размаху ударил кулаком по басам. «Ты когда-то хорошо играл на пианино, Невис», — заметил его спутник. «Да, ребята, война, война, — молодцевато сказал музыкант, — да приберите эти бабьи чулки». — «Ник собирает их для одной девки из обоза», — крикнули сверху и раздался хохот.

Капрал с двумя рядовыми копался в библиотеке. Это был маленький, круглый человечек с аккуратно расчесанными бачками. Он заставил одного из рядовых влезть на стул и подавать ему книги с полки, одну за другой. Он говорил о себе в третьем лице: «Капрал Каллаген желает ознакомиться с произведением Джэмса Митчелла «Ньютонова система философии». Грош ей цена! Вали в кучу! «Сочинения г. Эдгара Аллана По из Америки, с замечаниями об его гении, изложенными Дж. Хэннеем, эсквайром». Капрал Каллаген очень рад познакомиться с мистером По! Вали его в кучу! Впрочем, нет — оторви переплет. Что такое? Здесь есть автограф! Ты испортил книгу. Ладно, вали ее в кучу. Не задерживайся, времени мало. Достань вон ту, с кожаным корешком. «Хижина дяди Тома», сочинение миссис Гарриет Бичер-Стоу... Вали в кучу! Капрал Каллаген семь лет торговал книгами и должен тебе сказать, что это расширяет кругозор. Все, что написано у старухи Бичер, — вранье. Негр стоит тысячу долла-

ров. Хотел бы я быть негром! А на болотах у них работают ирландцы, потому что ирландец дешевле негра. Тьфу! Стой! «Полное собрание приключений Буффало Билля»! Это пойдет. Пересчитай выпуски, должно быть не меньше пятидесяти. Это клад! Публике надоело слезливое вранье. Здесь очень хороший подбор пьес для театра, но нельзя все забрать... Подцепи вон еще ту, с золотым тиснением...»

— На вашем месте я подумал бы лучше о браслете этой толстухи в соседней комнате, — хмуро пробурчал солдат, — Билли Смайзерс сказал, что он золотой.

— Браслет? — задумчиво проговорил капрал, — браслет... Гм... да... не по моей это части. Смайзерсу лучше знать — он бывший карманник. Ну, шевелись!

Человек в кустах видел все. Но он не сошел с места. Его не тронул ни звук бьющейся посуды, ни стоны пианино, ни дым, за клубившийся со стороны конюшни.

— Эти идиоты зажгут ферму, — сказал он меланхолически и зевнул.

И только, когда в окне второго этажа раздался дикий визг и показалась женщина, у которой рослый солдат пытался сорвать браслет с руки, человек в кустах сердито сплюнул, вскочил на лошадь и во весь опор в'ехал на двор фермы.

Его появление было подобно удару молнии. Двое рядовых с бутылками в руках, сидевшие на клумбе, вскочили и вытянулись. Сержант замер у входа в конюшню. В доме стало тихо.

— Что здесь за безобразие? — крикнул человек на лошади, — что за грабеж? Сержант!

— Разведка, сэр, сержант Юнг, сэр, в этом гнезде найдено оружие...

— Где оружие?

— Наверху и двое мятежников, сэр.

Офицер прошел наверх. В комнате второго этажа лежал на полу молодой человек с широким темным шарфом. При виде офицера он свирепо замотал головой и повел томными восточными глазами. Рядом с ним стояла молодая широколицая женщина, несколько грузная для своих лет, с пухлым подбородком и круглой шеей. На ней было узкое черное платье, с воротничком или платком каких-то пестрых креольских цветов.

— Ваше имя? — спросил офицер.

— Вы — негодяй, — ответила женщина.

— Вот оружие, сэр, — сержант подал пистолет.

Офицер взял пистолет, осмотрел его, поглядел на женщину, еще раз осмотрел пистолет и пожал плечами.

— Бутафорский, — сказал он невозмутимо.

Женщина вздрогнула и замерла.

— Развяжите джентльмена, — продолжал офицер, — исполняйте задание, оставьте эту ферму. Какой части?

— Шестой иллинойский, сэр, дивизия Джиббона.

— Исполняйте мое приказание. Ваше имя, мадам?

— Эвелин Джой, я актриса, — сказала она одним дыханием.

— Почему оказали сопротивление?

— Да, я оказала вооруженное сопротивление, я бросила тарелки, и потом я бросила еще подушку и трость!

— Почему?

— Потому что это война и каждый должен сражаться за свои идеалы.

— У вас есть идеалы?

— Да. У меня масса идеалов.

— Каких?

— У меня есть идеалы, но я не могу сказать — какие. Но я ненавижу янки.

— Сколько вам лет?

— Это не имеет значения.

— Вы обязаны мне отвечать, не то я вас арестую.

Повидимому, Эвелин была польщена возможностью стать военно-пленной. Она нахмурилась и сказала грубо:

— Двадцать.

— А этого джентльмена как зовут?

— Ну, это Бус.

— А дальше как?

— Джон Уилькс Бус.

— Как, Джон Уилькс Бус? — удивленно переспросил офицер, — актер или однофамилец.

— Это тот самый Бус, актер.

— Я вас видел в «Макбете», мистер Бус, — сказал офицер, кланяясь, — вы прыгали с высоты шести футов в шпорах.

— Он еще и не то умеет, — гордо сказала Эвелин, — это и есть Джон Уилькс Бус. Мы здесь гостили у его тетки. Мы репетировали сцену из «Ричарда». Сегодня ночью все сбежали — негры, управляющий, тетка, все. Кто-то прискакал и закричал, что на Рэпидане весь горизонт сине-серебряный от мундиров и штыков. Но мы остались.

— Почему?

— Этого нельзя сказать. Мы продолжаем репетировать.

— Вы жена мистера Буса?

— Жена? Нет. Я думаю, что я его партнерша.

— А как думает мистер Бус?

— Не обращайтесь к нему, он не разговаривает с янки.

Офицер пожал плечами. Впрочем, он не вел себя как завоеватель. Он с трудом сдерживал улыбку.

— Прощу прощения за то, что прервал ваши репетиции.

— Янки редко извиняются в таких случаях.

Офицер расхохотался.

— Я вовсе не янки, мадам. Я уроженец южных штатов.

Женщина округлила глаза.

— Оставьте этот дом, предатель, — сказала она, торжественно поднимая руку.

Офицер посмотрел на нее. Ее брови были нахмурены, они сошлись на переносице, глаза сияли и рот был полуоткрыт. Она радовалась случаю принять позу, достаточно красивую для ее полного тела. Офицер посмотрел еще на ее пухлые маленькие ладони.

— Oh le traître! — закричала она, как только он закрыл дверь.

Когда он спускался по лестнице, кто-то отдельно произнес в доме:

О, как Эдвард с отцом моим рыдали,
Услышавши, как Рэтленд застонал
Под взмахом сабли смуглого Клиффорда...

Офицер не удивился. Он уже знал, что это из «Ричарда».

Его лошадь паслась на солнце, перед фермой. Кругом стояли тихие, голубые леса. Офицер вскочил в седло и поехал к воротам. За его спиной послышался женский толос.

— Послушайте!

Эвелин Джой стояла в окне, опершись руками о подоконник. Волосы ее блестели на солнце.

Офицер повернул лошадь и вернулся к окну, стараясь не задевать клумбы. Черепки затрепали под копытами на садовой дорожке.

— Надеюсь, что мы с вами больше никогда не увидимся, — сказала Эвелин после минутного молчания.

— Если вам будет угодно... — пробормотал офицер.

— Как вас зовут?

— Главным образом — Дюваль.

— Как это «главным образом»?

— О, это нельзя сказать, — объяснил Дюваль, хитро глядя на нее. Она поняла, что над ней смеются.

— Вы вежливы, как... как лисицы в курятнике, как говорят французы..

— Вы француженка, мадам?

— Нет, я креолка из Луизианы.

Дюваль посмотрел на нее, свежую, с раскосыми глазами, в белом прямоугольнике окна, в стеклах которого смутно отражалась зеленая кромка лесов. Она улыбнулась невольно и хитро и показала ровные, острые белые зубы.

— У нас скоро будут гастроли в Ричмонде, — сказала она, — но с вами мы больше не увидимся.

— Как знать, — весело ответил Дюваль и привстал на стреленах.

— Нет. Никогда. Убирайтесь отсюда!

Дюваль повернул лошадь. «Jamais»¹ — напевал он, под'езжая к воротам.

¹ «Никогда».

Она стояла в окне.

— Jamais,— закричал он оттуда, взгляделся в лес и вдруг резко повернул лошадь обратно. Он прогалопировал по саду, прямо через клумбы и осадил лошадь у окна.

— К сожалению, я не могу уехать, мадам,— сказал он быстро,— сюда идет пехота противника.

Наступило минутное молчание. Эвелин пристально глядела на него, а он на нее.

— В конюшню,— прошептала она,— скорей, лошадь на конюшню, там сено... Но, кажется, я вас выдам...

Еще через минуту Дювалья не было. В тишине хлопала калитка.

На двор вошел взвод южных солдат в широкополых шляпах, со светлыми кокардами Конфедерации.

В доме было тихо. Занавеска вздувалась на окне.

— Кирпичи,— сказал офицер и десяток лиц повернулся к крыше.

— Попало,— заметил кто-то в задней шеренге.

Дювалья заполз глубоко в сено. Над ним двигалась и с глухим хрустом жевала сено длинная морда лошади. В щель крыши падал прямой и острый, как бритва, солнечный луч. Он играл на металлическом ободке фонаря, лежавшего на сыром и пахнущем конским пометом настиле. По двору медленно передвигались люди.

Раздался приглушенный смех и чей-то голос закричал: «Здесь целое море водки!», потом кто-то сказал: «подай-ка мне бутылку, нечего терять время» и прибавил: «знаешь, Роб, это не виски, а добрый коньяк,— квакеры любят выпить, когда никто не видит».

Потом третий голос тихо запел:

Покорно псам несешь ты дань
Мэрилэнд!
Восстань, великий штат, восстань,
Мэрилэнд!
Лучше огня крошечный ад,
Лучше клинок, петля или яд.
Чем видеть янки наглый парад.
Мэрилэнд! Мой Мэрилэнд!

— Пощупать бы этих квакеров!

Разлетелась на куски бутылка, с размаху пущенная в стену дома.

Вдруг стало тихо и послышался голос офицера.

— Как зовут этого джентльмена?

— Джон Уилькс Бус,— со смехом отвечала Эвелин, и Дювалью, лежавшему под сеном, захотелось выскочить из сарая и ударить саблей офицера. У этого офицера был противный, слащавый, самоуверенный басок. Дювалья ясно представлял себе этого офи-

цера, с его нахмуренными бровями, выпяченной колесом грудью и лихими короткими бачками. Он представил себе, как офицер придерживает рукой длинную саблю и как под черными усиками у него пробегает величественная улыбка.

— На войне достаточно быть лихим драчуном,— пробормотал Дюваль с досадой. Ему было неприятно, что эта женщина говорит с офицером тем же голосом, каким она говорила с ним. Он забыл, что вопрос о том, будет ли он жить, еще не решен.

— Какой Бус, актер? — удивленно спрашивал офицер.

— Ну, да, актер,— смеялась Эвелин,— тот самый Бус, всем приходится это объяснять!

Последние слова были как будто обращены к человеку, спрятанному на конюшне.

Это несколько успокоило Дюваля.

— А янки ушли в тот лес?

— Они ускакали по той же дороге, откуда приехали,— объяснила Эвелин,— они тут все хотели уничтожить...

— Есть у вас оружие на ферме?

— Ничего, кроме того, что вы видели.

— Я очень советую вам и мистеру Бусу уехать отсюда,— сказал офицер,— если на вас нападут, вы не сумеете даже оказать вооруженное сопротивление.

Эвелин захохотала. Ее низкий грудной смех окончательно успокоил Дюваля.

— Уверю вас, господин офицер, если они придут сюда вторично, мы спрячемся на конюшне, на сеновале...

Дюваль приподнялся на локтях.

— ...и сделаем вид, что нас нет, не правда ли?

— Ну, конюшня — плохое место для защиты,— благодушно заметил офицер,— эй, за мной! Извините, мадам.

Черепки затрещали на садовой дорожке под тяжелыми сапогами. Кто-то из солдат продолжал напевать и Дюваль слышал затихающие слова: «война, война, на тех вина, кто продает свободного, чтоб выкупить раба».

Когда Дюваль вышел из конюшни, на дворе никого не было. Он вывел лошадь. Дальние холмы двоились в его глазах, отвыкших от яркого света. Он вынул из внутреннего кармана погнутую металлическую бляху от кокарды, нацарапал на ней несколько слов острием сабли и положил эту бляху у входной двери. Потом он оглядел окрестности, вскочил на лошадь и сразу поднял ее в галоп.

На меридиане Гринвича часы вызванивали два часа пополудни. На меридиане реки Рапидан было девять часов утра, в лесах проснулась жизнь, пронзительно свистели зяблики, длинными трелями заливалась иволга, на реке, под корягой, плеснула какая-то большая рыба.

Дюваль доехал до шалаша на лесной тропинке. Около шалаша стоял человек в короткой куртке, высоких сапогах и широкополой шляпе, с охотничьей двустволкой в руке — лесник или охотник за беглыми неграми. Он радостно приветствовал Дюваля, как будто Дювалю случалось уже бывать в этих местах, по которым северная армия шла впервые.

— Хэлло, капитан!

— Доброе утро, Дик. Все в порядке?

— Я дежурю здесь с рассвета. Вы здорово опоздали.

— Со мной бывают странные случаи — я заснул на берегу реки. Писать я ничего не могу. Передай старику, что северяне ночью перешли Рапидан через броды Джерманна и Илай...

— Мы это уже знаем. Генерал Лонгстрит выступил утром.

— Они идут на Спотсильванию и — запомни — они не рассчитывают встретить сопротивление в этих лесах. Впереди двинутся колоннами второй и пятый корпус, конная дивизия Торберта прикрывает обоз. Они не будут окапываться здесь, чтобы прикрыть движение обозов.

— А лошадиный барышник?

— Он кричит «вперед», как всегда. Он уже пятые сутки не брал в рот спиртного.

— А как вы сами?

— Плохо. Лошадиный барышник, кажется, начал меня подозревать и никуда не пускает. Скажи старику, что, кажется, время прошло. Пусть он сам соображает.

— Может быть, вам что-нибудь нужно?

— Ничего. Я попал в идиотскую историю. Меня чуть не сцапала разведка Лонгстрита.

Человек в охотничьей куртке расхохотался.

— Нелегкая ваша профессия!

— А все потому, что я проспал. И потом эта ферма...

— Какая ферма?

— Ничего особенного... Ферма Лэси на холме, знаешь, за Дикой Таверной? Я видел там раз'езд янки. Прощай.

Дюваль погнал лошадь. На опушке он остановился. Перед ним расстилался безмятежный майский пейзаж. На холме колыхались зеленые шапки дубов и кедров.

Это были сырые, дикие леса, изобилующие, бесчисленным количеством ручьев и речек, пахнущих смолой и гнилью, пересеченные древними индейскими тропами. Глубокая, темная зелень покрывала крутые склоны, отовсюду неся смутный шум, и над дальними холмами стояли высокие театральные, вагнеровские облака.

Дюваль пробормотал про себя.

— Jamais... Эвелин Джой... Джой... странное имя...¹

¹ «Joy» — по-английски «радость».

5. БИТВА У ДИКОЙ ТАВЕРНЫ

Пушки справа от них,
Пушки слева от них,
Пушки спереди них
Подняли рев с высот.
Их осыпает картечь
Что для них значит лечь?
Что для них значит — Ад?
Полководец движением плеч
На пушки — бросил шестьсот...

Альфред Теннисон. Атака Легкой Бригады.

Война продолжалась три года. Те полки, которые начали ее, уже давно растаяли, и с севера шли новые люди.

От длительного марша кожа на ступнях сварилась и под пальцами образовались от пота болезненные валики. Под мизинцами почти у всех выросли белые пузыри. Офицеры были чрезмерно требовательны.

В 1861 году, как всегда в начале войны, предполагалось все закончить в три месяца. Южане в этот срок предполагали занять Нью-Йорк и Вашингтон, а северяне — дойти до сердца южных штатов.

Но война, как всегда, затянулась. Все изменилось, даже песни. Северяне в начале войны воодушевленно пели песню о Джоне Брауне, труп которого призывает к мщению¹. К концу они привычно и отрывисто выкрикивали: «объединимся еще раз вокруг флага, парни». К песне о Джоне Брауне прибавился еще один припев: «Повесим Джеффа Дэвиса на прогнившей яблоне и пойдем вперед».

Южане начали с «Дикси», похожей на марсельезу, а кончили «синим флагом Бонни», в котором они оправдывались и доказывали, что приобрели собственность на негров «честным трудом».

В первые месяцы войны офицеры маршировали обязательно в белых перчатках, а «нью-йоркские кадеты» всюду рассказывали о своих полковых привилегиях. Перед выступлением на фронт они снимались в киверах с султанчиками и густых эполетах старого доброго времени. Они скрещивали руки на груди и хмурили брови.

Вышли из моды щегольски подстриженные бакены предыдущего десятилетия — теперь признаком мужчины считались дикая борода и роскошные усы (обилие волос свидетельствовало об идейности и готовности умереть). Модным стало жениться за день до ухода на войну.

Через три года эти люди сбились в плотную военную массу, одичавшую от пота, волдырей и ночевок на сырых полях.

¹ Эта песня, по странному стечению обстоятельств, широко распространилась у нас в годы гражданской войны, причем исковерканный английский текст был передан по-русски буквально и превратился в бессмысленный набор слов.

У них исчезли даже привычки: трудно было изобрести такую привычку, которая подходила бы к меняющимся условиям фронта. Обнаженность отношений дошла до того, что люди в строю вынимали вставные зубы и сравнивали их между собой. Они даже не интересовались женщинами, — их занимала еда.

В сущности, они уже выиграли войну.

Колонны безостановочно шли на юг. Пот — ужасный враг вооруженной части человечества — скатывался струйками по спине. Синие куртки промокли насквозь и покрылись солью.

В одной из таких колонн шла рота Ахилла Портера. Солдаты не знали, куда они идут и где они находятся.

По отсутствию людей на станциях и на фермах, по разломанным вагонам на путях, по брошенным вдали двуколкам, засохшим деревьям и гниющим на полях кепи и сапогам они догадывались, что до них здесь прошли другие колонны.

Иногда какой-нибудь 'отставший бородатый человек бродил по краю дороги и с отчаянной тоской выспрашивал, где находится никому неведомый четвертый массачусетский полк, или дивизионный госпиталь Риккетса. Ему отвечали: «у тети в Иллинойсе» или: «в аду на четвертой полке» или «будь ты проклят». Самое странное было то, что он не обижался и не переспрашивал, — он задавал этот вопрос по привычке.

Солдаты шли от Гаррисбурга к Манассас, от Манассас к Уоррентону, от Уоррентона к Фредериксбургу, они переходили какую-то реку Шенандоа и какую-то реку Рапаганнок. Они впервые узнавали о существовании этих рек и были убеждены в том, что Соединенным Штатам нет конца и что южане, которых надо перерезать и перевязать, живут где-то еще дальше.

Рота Ахилла Портера уже бывала в бою. Это было при Чаттануге, где солдаты карабкались по крутой горе, задевая штыками сухой дубняк, под бешеным артиллерийским огнем. Никто не стрелял, не кричал даже, они шли молча, согнувшись, стремясь к вершине, как туристы, ищущие хорошего вида. Они видели только гору, высохшие русла потоков, прошлогоднюю листву и землю, оседающую от ударов ядер. Первый ряд конфедеративных траншей у подножия горы был занят одним молчаливым натиском. Южане испугались и бросились бежать прежде, чем первая цепь подошла к траншеям. Люди кинулись дальше и остановиться уже нельзя было. Дым оседал по склонам и в дыму не падали, но исчезали солдаты, а впереди почти сверхестественно продолжал полоскаться по ветру звездно-полосатый флаг. Остановиться было нельзя, потому что гора продолжала тянуться вверх, а кончилась она только на вершине, где среди пушек отчаянно защищалась банниками застигнутая врасплох оружейная прислуга.

Спускаться вниз по крутой горе было страшнее, чем подниматься, и движение остановилось. Люди, потные и взлохмаченные, стали валиться на землю. Некоторые смотрели назад, на

пройденный путь, и видели кучи тел в синих куртках, которые лежали так плотно, как будто их нагребла огромная лопата. Тогда только люди стали кричать от ярости и восторга и они готовы были повторить войну сначала. Некоторые механически оглядывались на соседнюю гору Орчард, где кому-то примерещилась неподвижная фигурка малорослого, коренастого, угловатого человека.

Это был генерал Улисс Симпсон Грант, он действительно стоял на горе Орчард, с которой все это выглядело гораздо эффектнее. Это была огромная сцена на открытом воздухе и синие фигурки с флагом ползли вверх по горе, как марионетки, между ними выскакивали белые дымки, похожие на снежки, окрашенные желтыми вспышками. После того, как взята была первая линия конфедеративных траншей, бежавшие конфедераты устремились вверх по горе и издали казались серой массой, катившейся вверх перед цепями северян. Их настигли почти у самой вершины, и серые, и синие цепи смешались. И эта масса снова синела, потому что конфедератов кололи штыками и, падая, они переставали быть видны с холма, на котором стоял Грант. Он сердито спросил у генерала Томаса: «Кто приказал брать вершину?» «Не знаю,—спокойно ответил Томас,—я не приказывал». Тогда генерал Грант обратился к Гордону Грэнджеру: «Вы приказали им подниматься, Грэнджер?» — «Нет,—сказал Грэнджер,—они пошли сами, когда эти ребята двинутся, сам черт их не остановит». — «Я разделаюсь с тем, кто их послал», — пробормотал Грант.

Их действительно никто не слал. Это была победа при Чаттануге, а гора, на которую первой взобралась рота Ахилла Портера, называлась «Миссионерским Хребтом» и она вошла в историю Америки. Генерал Грант никогда не разделался с тем, кто послал этих солдат, потому что его имя стало легендарным на следующий день после этой битвы. Рота Ахилла Портера не вошла в историю, так как история не может обременять себя именами ротных командиров, но генерал Грант не забыл про эту роту и она была переброшена в Виргинию вместе с лучшими частями, чтобы продолжать войну.

(Нельзя забывать, что специальностью этой роты была война в непосредственном смысле, в то время как специальностью генерала Гранта была война в целом.)

Пыль поднималась столбом на марше. Шагать приходилось по глубоким колеям и крепко вбитым в землю следам подков конницы. На третьем году войны офицеры снова стали требовать, чтоб рядовые на ходу держались плотнее к идущей впереди шеренге и при ходьбе подпускали ноги «под соседа». Нет ничего скучнее, чем видеть впереди один и тот же затылок, нет ничего скучнее, чем идти на левом фланге и принимать на себя тяжелую струю воздуха, идущего от передних шеренг — запаха пропо-

тевших курток, ремней и белья. Бороды седали от пыли, а внутренняя сторона козырьков кепи начинала гнить от пота. Преющие ноги покрылись красными пятнами и белыми наростами. Ложка винтовок натерли на левом плече постоянную ссадину, но офицеры запрещали переключать винтовку на правое плечо. У всех были плохо налажены патронные сумки и гребень застежки врезывался в тело под правым нижним ребром. Ремни ранцев оставляли синеватые полосы на плечах, а расположенный слишком низко котелок перевешивал и заставлял ежеминутно подбрасывать ранец, чтоб он не давил на поясницу. Так они шли сутки за сутками, не обращая никакого внимания на зной и радуясь лишь изредка, по особому разрешению. Ночью они перешли через какую-то реку Рапидан, через брод Джерманна и сейчас шагали по дикой, лесистой местности, где на единственной дороге уже несколько часов не рассеивался плотный столб пыли от марширующих колонн. Они шли из пыли в пыль, также как при Чаттануге они шли из дыма в дым.

На правом фланге шагал Сидней Флойд, громадного роста фермер из Пикскилла, носивший странное прозвище «Мерзавец». Собственную свою фамилию он успел уже порядком забыть.

— Премия графства наличными триста долларов, — бурчал он, — да премия штата семьдесят пять долларов, да премия Соединенных Штатов для новых рекрутов триста два доллара, итого... итого шестьсот семьдесят семь долларов, да если меня ранят, я получу еще сто долларов государственной премии, итого семьсот семьдесят семь долларов наличными, это капитал. Мы еще будем есть курицу в супе и томаты с красным перцем, как едят на юге.

— Хорошо также гуся, — раздался голос из второй шеренги, — только начиненного каштанами, или орехами или тестом жареным с жиром гусиным.

— Римляне не ели гусей, — заметил рядовой Сэм Грегори, — потому что гуси рисковали жизнью, чтоб спасти Капитолий от пожара. А насчет курицы я могу сказать, что один французский герцог как-то заметил, что «Курица в супе стоит обедни».

— На месте гусей я не стал бы рисковать жизнью ради Капитолия, — хмуро сказал рядовой Эл Кимбс, — насчет курицы в супе — это другое дело. Действительно, стоит обедни. Но Капитолий — нет! Не стал бы!

— Олух, — сказал Сэм Грегори, — это другой Капитолий, это римский Капитолий, ради него стоило рисковать жизнью. Это не то, что наш Капитолий.

— Всех разнести к чорту, — мрачно сказал Льюис Роджевский на левом фланге.

Рядовой Роджевский был мал ростом и нищ. Его военная служба началась с вербовочного бюро в Сити — Холл Парке, где под голыми сухими ветвями зимних деревьев бежали взад и вперед джентльмены в помятых цилиндрах и клетчатых штанах;

выкрикивая цифры: «Государственная премия триста два доллара! Сто долларов за ранение! Небывалая цифра! Редкий случай! Запомните, джентльмены, что война кончается! Всего семьсот семьдесят семь долларов! Записывайтесь сами, приводите друзей и членов семьи! Пятнадцать долларов каждому, кто приведет рекрута! Спешите! Война кончается!».

У входа в деревянный барак, где помещалось вербовочное бюро, стояла взятая у конфедератов пушка. На ней сидел толстый мужчина в сюртуке с бархатными отворотами и в высоком щегольском картузе. Он подкручивал длинные усы и дымил огромной баварской трубкой. Рядом с ним стояли двое вербовщиков, в военных куртках и, ухватив его за полы сюртука, уговаривали вступить в ряды армии.

— Прекрасный цвет лица! — воскликнул один из них, — повидимому, громадная сила! О, какие бицепсы! С такими мускулами я бы не сидел уж дома. Ему будет к лицу военная форма! Он красивый мужчина! (человек с трубкой улыбался так, как будто его щекотали под мышками), а усы! Его усы бесподобны!

— Превосходные шелковистые усы, — деловито говорил второй, — и, заметьте, около восьмисот долларов премии. Позвольте ощупать мускулы живота. Повернитесь в профиль. Прелестно! Очаровательно! Давненько уж не видал таких красавцев...

— Фу, ты, боже, какие вы говоруны, — сопел толстый мужчина, — вы способны заговорить человека на смерть... Нет, это не по мне, хотя я люблю военное дело, я расскажу вам случай из моего детства...

— Он прекрасный человек! — закричал первый вербовщик, — хороший семьянин, честный гражданин! Обрати внимание, как он одет! О! Как английский сэр! Бесподобно! Вот контракт!

— Нет, — вежливо отвечал человек с трубкой, — я не могу подписать это... Лучше я расскажу вам...

— Согните руку, сэр! — кричал второй вербовщик, — какие бицепсы! Пойдемте. Вам будет к лицу военная форма. Честное слово. Вперед. Клянусь вам. Красавец! Заклинаю вас.

— Разве это мускулы, — мрачно вмешался Льюис Роджевский, — смотрите, вот мускулы!

Он отвернул рукав, на котором уже давно не было ни одной пуговицы. Вербовщики тотчас повернулись к нему.

— Джейк, — сказал один из них, глядя на другого, — я думаю, не выпить ли нам?... И не съесть ли парочку горячих сосисок с белым хлебом?

Второй внимательно оглядел ноги Роджевского. Правая штанина была выше левой и ботинки были из разных пар.

— Я тоже думаю, не съесть ли нам ростбиф с зеленью и жареным картофелем, и вкусным белым хлебом, — сказал он мечтательно, — этот парень, пожалуй, пойдет с нами?

Льюис Роджевский потянул в себя воздух и страшно засопел. Через две минуты они сидели в походном ресторанчике в том

же парке. Хозяин переглянулся с вербовщиками и подал на стол две порции сосисок для них, блюдо жареного мяса для Льюиса и большой графин виски. Льюис быстро пил и ел, а потом начал разговаривать. Он рассказал им о восстании в Нью-Йорке, о баррикадах, о том, как он сражался, как его прогнали с работы через сутки, о гробах, костях, факельщиках, о ночевках в пустых ящиках из-под бананов, завываниях кладбищенских духов, о нищете, о разлучительнице-смерти, о мести, о разбойниках, о всемирном союзе рабочих, о бомбах и чердаках и еще о многом. Под конец, он уже не помнил, о чем говорил, а вербовщики дремали над сосисками. Потом они потащили его куда-то, а Льюис, который не ел горячей пищи уже два месяца и не брал в рот спиртного шесть лет, забыл все и очнулся только на улице, с контрактом в руках, перед вывеской, на которой было написано, что фирма Рикардс и Ко, Нассау Стрит, Нью-Йорк, предлагает великолепные часы бесплатно. Он долго и бессмысленно смотрел на эту вывеску.

Авраам Линкольн, наконец, получил те тридцать тысяч волонтеров, которые ему были нужны. Правда, эти волонтеры отличались большой пестротой во взглядах.

Льюис Роджевский был поляк по происхождению, а теперь он был анархист по убеждениям.

— Семьсот семьдесят семь долларов плохая цифра, — снова загудел Сидней Флойд, прозванный «Мерзавцем», — надо бы округлить — восемьсот долларов и крышка!

— Другим везет больше, Мерзавец, — сказал Эл Кимбс, — Джош Мерфи составил капитал на часах, которые он снимал с убитых офицеров-мятежников. Бывают также очень ценные запонки.

— Господи помилуй, не говори мне об этих хриstopродавцах, — разъярился Мерзавец, — об этих дьявольских сковородках, об этих карманных ворах! У нас нет в семье грабителей, мы делаем деньги честным трудом. Честь, верность начальству, добрые намерения — вот наши правила.

— Всех разнести к чорту, — прибавил Льюис Роджевский с левого фланга.

— Полячишка, бандит, потрошитель! — воскликнул Мерзавец, — подожди до привала, я спасу твою душу!

— Попробуй, — подойди, — отозвался Роджевский, — толстая свинья из Пикскилла, коровий кавалер, навозный староста! Я тебе покажу, как дерутся у нас в Бруклине.

— Иммигранты, — сказал Мерзавец, — эти иммигранты забили все щелки, куда ни пойдешь — воняет чесноком, они привозят с собой бомбы в чемоданах, милосердие господне! Скоро они укокошат президента, сожгут конгресс и заставят всех есть чеснок, господа прокляни их!

— Ребята, держите меня, — сказал Роджевский свистящим шопотом, — я сорву с него скальп, я ненавижу буржуазию.

— Рядовой Роджевский Льюис, прошу тебя, сдерживайся, — вмешался Сэм Грегори, — у него свои цели, а у тебя свои.

Вдали пронесся отдаленный гром. Несколько конных офицеров проскакали вдоль дороги.

— Молчать! — крикнул сзади капитан Портер, — глядеть в затылок! Раз, два, три, четыре. Стой!

Взвилась пыль, брякнули ружья. Раскат грома повторился. Промчался еще один верховой.

Четвертый нью-йоркский стоял на узкой дороге между двумя стенами бора и прислушивался к отдаленной грозе. Где-то в трех-четыре километрах рывкали пушки.

Войска Гранта перешли Рапидан 4 мая 1864 года после долгого топтания на месте. Приближались перевыборы президента. Необходимо была победа.

Предшественниками Гранта в Виргинии были пять генералов: Мак Клеллан, Поп, Гукер, Бернсайд и Мид.

Мак-Клеллан, блестящий воспитанник военной академии в Вест-Пойнте и любимец салонов нью-йоркской финансовой аристократии, командовал армией, не снимая крахмального воротничка. Он завел армию в болото и был смещен.

Поп был горд и любил красоту слога в приказах по армии. Он подписывался не иначе, как «генерал Поп, дано в штаб-квартире на седле». Газетчики любили его. Он был жестоко разбит при Манассасе и смещен.

Бернсайд стал командующим с твердым убеждением, что он не годен для этого поста. Он это доказал, при Фредериксбурге, где потерял тринадцать тысяч людей за один день, и был смещен. Газетчики его не любили.

Гукер был хвастлив, распушен и ленив. Газетчики писали про него, что он ведет себя «как хозяин публичного дома». Может быть, поэтому они относились к нему хорошо. Он потерял шестнадцать тысяч при Чанселлорсвилле и был смещен.

Джордж Гордон Мид был один из самых талантливых генералов в американской истории. Он был культурен, опытен, тверд; решителен, изворотлив и обладал громадной работоспособностью. Он выиграл битву при Геттисбурге и спас столицу от южан. Однажды он позволил себе прогнать по фронту корреспондента «Спрингфильдской трибуны» с надписью «Лжец» на груди. Газетчики его возненавидели и он был смещен.

Все эти генералы принадлежали к «сливкам общества». На их место был назначен Грант, легендарный победитель при Виксбурге, Доннелсоне и Чаттануге, коренастый, коротконогий человек, со спутанной бородкой, с короткими ногами, сын полуграмотного лошадиного барышника, в свое время уволенный с военной службы за беспорядочное пьянство.

В начале войны генерал Грант был приказчиком в кожевенной лавке в городишке Галена. Родственники держали его в лавке из милости, — он считался падшим человеком. Его заработков не

хватало на прокормление семьи, и жена его с детьми жила у родителей. «Быть офицером ему так же мало подходит, как быть президентом Соединенных Штатов», — писал его бывший полковой командир.

В генеральство, а затем в президентство Улисса Симпсона Гранта об этом было запрещено вспоминать.

Грант приехал в знаменитую Потомакскую армию, которой когда-то командовал Мак-Клеллан, в белых перчатках и высоком воротнике. Он потел и с трудом мог повернуть голову. На следующий день он сбросил порыжевшие перчатки. Через двое суток он снял воротник и расстегнул верхнюю пуговицу мундира. Затем он расстегнул еще две пуговицы и, наконец, расстегнул весь мундир целиком. Через неделю он носился по полкам, заросший колючей бородой, запыленный, в нечищенных сапогах, с сигарой в зубах, сдвинув шляпу на затылок. У этого генерала была бездна здравого смысла, он просматривал на свет дула винтовок и заглядывал в полковые бани. Он рационализировал питание, он нашел, что в солдатском супе слишком много жира, зато он воспретил офицерам есть куриный бульон и писать сентиментальные письма.

Он был уверен, что ничего не понимает в стратегии и не считал ее особенно необходимой в таком несложном предприятии, как война. Газетчики ожили при штабе. Генерал Грант уважал прессу. Генерал Грант двинул вперед Потомакскую армию: такое-то количество штыков было брошено в лоб на искушенного, старого Роберта Ли, который защищал Ричмонд. Теряя по столько-то тысяч людей на столько-то миль, генерал Грант рассчитывал через столько-то времени быть в Ричмонде.

Расчет был верен. Отрезанная отовсюду Конфедерация задыхалась в узком треугольнике Виргинии и обеих Каролин. С Грантом шли фермеры из Иллинойса, рабочие из Чикаго и ремесленники из Бостона. Может быть, поражая конфедератов, они мечтали о лучших временах. Америка бурлила под высоким давлением. Шел четвертый год войны.

Группа солдат сидела в зарослях, в густой, сырой зелени. Было уже около пяти часов вечера, в чаще непрестанно били пушки. По дороге изредка проносился кавалерийский разъезд или тянулись одиночки-раненые. Кругом стояли дремучие леса, не было известно, где происходит сражение, только раненые откликались с дороги: «Дивизия Гетти, меня ранили в лесу, милях в трех, они лезут из-под каждого пня... Ничего, поцарапало руку. Не знаю... Никто ничего не знает... Где перевязочный пункт? Ничего, дойду...» Потом проехала фура, набитая тяжело-ранеными, как дровами.

Рота Ахилла Портера была отведена в резерв. Кругом чуть колыхалась темная зелень. Пахло сыростью, каким-то болоти-

стым илом. По корням деревьев ползали сороконожки. Рядовой Роджевский разул правую ногу и задумчиво шевелил распухшим большим пальцем. Палец был квадратный и красный, со сломанным, грязным ногтем. «Мерзавец», поспешно чавкая, поглощал хлеб с салом. Эл Кимбс рассеянно глядел на небо, а рядовой Метцингер, приземистый, мускулистый немец с каштановой бородкой, внимательно рассматривал людей. В руках у него чуть дымилась длинная тирольская трубка, с эмалью и медной крышечкой. На эмали были нарисованы толстый мужчина в шляпе с петушиным перышком, и толстогрудая женщина в голубой юбке, а снизу было выведено готическими буквами: «Пиво, девка, табачок — что за счастье, мой дружок». Раненые брели по дороге, один упал и полз некоторое время на четвереньках, потом, однако, встал и заковылял дальше.

— Поднялся, — заметил Эл Кимбс, — а я думал тут ему и конел, бедняге...

— Насекомым хорошо, — философски сказал Метцингер, — в сущности, вся их жизнь — сплошная драка.

— Ну и что же? — промычал Мерзавец с полным ртом.

— По крайней мере, никто их не обманывает на этот счет, — объяснил Метцингер, — а нам с детства внушают какие-то «идеалы» — доверие, скромность, доброта, вежливость, честность, уважение к уму и сердцу...

— Все это чепуха, — сказал Мерзавец, вытирая рот, — конечно, бог существует, но он не вмешивается. Трудись, дерись, пропадай — ему все равно. Он собирает улики к страшному суду, вот и все его дело, помилуй, господи. Будь ты даже мошенник, но будь честный, деловой мошенник. И не все ли равно, откуда взялись твои чортовы деньги, господи помилуй! Не люблю дураков и философов.

— Никакого бога нет, — грубо сказал Роджевский, шевеля пальцем, — никакого страшного суда не будет. Тот, кто подлец — проживет, как праведник, а кому не повезло в жизни, тот и помрет нищим. И на том свете ничего не будет, один скелет, саван, черви, дермо, ерунда, бабушкины сказки. Просто всех разнести и все начать сначала!

Мерзавец поднялся. Лицо его побатровело.

— Ты опять, безбожная канарейка, бездельник, прыщ, — заорал он, — полячишка, иммигрантский бандит, я тебя обработаю по-американски! — Рядовой Роджевский гордо встал.

— Пусть я сегодня умру — сказал он, размахивая сапогом, — товарищи, я умираю за справедливость. Выходи, я покажу тебе бруклинский бой!

— Опять Давид и Голиаф, — сердито крикнул кто-то из-за куста, — разнимите этих петухов. Двое суток каждому!

Это был голос капитана Портера. Мерзавец вытянулся и грузно сел на землю. Роджевский вздрогнул, почесал затылок и уселся, дико оглядываясь на куст.

— Держи себя в руках, Льюис, — сказал Сэм Грегори, после минуты молчания, — общество основано на определенной системе...

— На несправедливости, — пробурчал Роджевский, натягивая носок.

— Все равно. Во-первых, ты солдат...

— Плохой солдат, — вставил Метцингер.

— Все равно. Справедливый суд будет. Для этого мы здесь с генералом Грантом.

— Справедливых судов не бывает, — сказал Роджевский, — каждый сам себе судья.

— Врешь, — гаркнул Сэм, — это бывает у сороконожек, а не у людей!

— У счастливых сороконожек, — хмыкнул Метцингер.

— Нет! У нас есть Грант и Линкольн.

— В таком случае, я продаю свои акции, — хмуро сказал Роджевский, — за половину цены.

— Дурак! Мы сами будем судить. Это честная гражданская война.

— Рабочие будут судить, — расхохотался Роджевский, — ты меня уморил... Рабочий не может ни управлять государством, ни судить. Это не его дело. Он слишком добрый.

— Перекатная голь, — буркнул Мерзавец, — правильно!

— Ты молчи, деляк, — свирепо сказал Сэм, — будешь молчать? Ты здесь один.

— Нет, не буду, — тяжеловесно сказал Мерзавец и привстал на руки, — чего вы лезете в наши американские дела! Они, южные сквайры, хотят владеть нами, а мы, вольные американские скваттеры, хотим владеть ими. Господи боже мой! Какое дело вам до американской войны? Моего прадеда зарезали чероки, а деда застрелили англичане. А вы, господа помилуй, наворотили чорт знает чего: «парлеву», власть механиков, гутен-морген», честные люди, страшный суд... Мистер Грегори, чуть ли не собирается в Конгресс! Кто вы такие? Голь перекатная! Что у вас есть? Саквожж, набитый вшами! Тьфу! Есть у вас свое государство? Нет! Так чего вы, прокляни вас господь, лезете в чужое!

Наступила минута молчания. Сэм Грегори стоял с дрогнувшими губами. Эл Кимбс невнятно пробормотал какие-то проклятия и схватился за ружье. Один Метцингер остался на месте и продолжал сосать трубку.

— Да, мистер Флойд, — сказал он, — у нас есть государство.

— Ха! Вот это здорово! Как же оно называется?

— Международное товарищество рабочих.

Рядовой Флойд залился хохотом. Его могучее тело корчилось на земле и котелок побрякивал. Он хватался руками за живот и за грудь. «Сумасшедший дом, — хрипел он, — господа помилуй...

Товарищество рабочих... дюжина чудаков... вокруг меня сидят будущие министры... Милосердие господне»...

— Перестань кривляться, — угрюмо сказал Эл Кимбс, — ты действительно подавишься на смерть.

— Господи, где вы слышали про всемирное товарищество рабочих? Что это, тайное общество?

— Явное. Оно существует, — невозмутимо сказал Метцингер.

— Боже мой, как я буду рад; когда после войны вы все получите по заду дубинкой. Заговорщики! Заговор механиков! Дураки! Философы!

— Прекратить болтовню! — крикнул новый голос и рядовые разом обернулись: перед ними стоял капитан Портер.

— Хорошая у меня рота, — сказал Портер, — можно подумать, что вы не в резерве, а на митинге.

Рядовые поднялись.

— Флloyd! Кимбс! Грегори! Роджевский! Метцингер! Двое суток каждому.

Солдаты молчали.

— Вы здесь все сражаетесь за демократию. Вы забыли об этом?

— Мы не забыли, капитан, — сказал Метцингер.

— Молчать! Вы волонтеры! Позор для солдат гражданской войны!

— Мы не торгуемся из-за жизни, капитан, — сказал Метцингер.

Портер посмотрел на него, повернулся на каблуках и отошел. По дороге во весь опор скакал запыленный ординарец. Пушечный гром стал сильнее. К нему прибавилась беспорядочная ружейная трескотня. Дорога вся покрылась ранеными и солдатами, бегущими в беспорядке.

— Эй, откуда? — крикнул Эл Кимбс.

— Дивизия Гетти, — донеслось с дороги, — сворачивайтесь, лес горит...

«Как воевать с армией, которой надоело драться?» — думал капитан Портер.

Гражданская война продолжалась три года. Капитан Портер был школьный учитель из Освего, сумевший за эти три года дослужиться до чина капитана.

Он записался волонтером в первый день войны. Его жесткий голос всегда будил в рядовых уверенность в победе, которая должна была быть тем более полной, чем более она была справедливой.

Эту армию нельзя было ни купить, ни разбить.

Три года армия шла, ругалась, плевалась, пела, стреляла, чавкала, голодала, искала насекомых, храпела, писала письма, сбрасывала и надевала ранцы. Кровоточила, вздыхала по невестам, колола штыками, играла в карты, умирала и чесалась. Три года дни начинались раскатом хриплой ротной трубы, с погнутым

тусклым, латунным горлом. Три года дни кончались перекличкой «Эмсворс, Барнс, Картер, Догерти...» и разные люди молодцевато откликались «здесь». Имена менялись, но алфавит оставался, и рота янки шагала дальше. И южане, отупевшие и павшие духом, бежали и дезертировали перед этой проклятой синей стеной, которая катилась вперед по горам тел в синих куртках, с бешеным ревом: «вперед, за свободу, парни».

Ординарец привез приказание. Капитан Портер повторил его, держа руку у козырька. Когда все формальности были выполнены, Портер посмотрел на ординарца, прищурил глаз и спросил:

— Ну, как там, Мак-Скют?

Ординарец махнул рукой.

— Полный развал, — сказал он с отчаянием и погнал лошадь обратно.

Перебрасывая армию через Рапидан, генерал Грант надеялся встретить сопротивление на самой переправе. Но никакого сопротивления не было. Дорога на Ричмонд была открыта.

За рекой Рапидан армия вступила в густые сырые леса. Собственно говоря, это был заросший лесом заброшенный рудничный район, в котором жили совы, летучие мыши и страшно плачущие по ночам козодои. Между бесчисленными речками лежали холмы, поросшие дубом. Верхушки камедных деревьев, кедров и низкорослых сосен раскачивались над густыми зарослями орешника, в глубине которых скрывались глубокие ямы с гнилыми балками подъемных машин XVIII века. Иногда в самой глубине леса попадалась покрытая мхом и грибами сторожка надсмотрщика с полуотвалившейся крышей. Путь армии был прегражден оврагами и чащами, через которые можно было пройти только по извилистым коровьим тропинкам.

Этот район назывался у местных жителей «Глушью». На картах Гранта он никак не назывался и был закрасен красивой темнозеленой краской. Только на дороге, идущей от переправы к церкви Шэди Гров, было помечено — «Дикая Таверна». Спотсильвания была показана на две с половиной мили западнее, а «Таверна Тодда» на милю севернее, чем в действительности. «Дом Гэйля» был назван на карте «Фермой Майера», а дом доктора Дэррета был превращен в «Грязный дом».

Не встретив сопротивления на переправе, Грант рассчитывал встретить его на равнине за лесом. Но противник исчез, двое суток его не было видно. А пятого числа части Гранта, согласно приказу марширующие «вперед на Ричмонд», наткнулись на невидимого неприятеля в самом лесу.

Первой была обстреляна дивизия Уоррена. Она принуждена была развернуться в густых зарослях. Генерал Райт был послан на помощь правому флангу Уоррена, а дивизия Гетти на помощь его левому флангу. В девять часов утра Хэнкок получил прика-

зание поддержать Гетти, но не зная, где находится дивизия Гетти, двинулся в обратную сторону. Гетти ждал Хэнкока до полудня и, не дождавшись, бросил дивизию вперед. Полки кинулись в зеленые чащи в надежде найти под каждым кустом дюжину южных волонтеров. Но южане, которые знали в этой местности каждую тропинку, исчезли бесследно. После часа бестолковой стрельбы Гетти приостановил наступление. Ему пришлось в голову, что он перестреливается с солдатами Хэнкока.

В это время Хэнкок находился в шести милях к востоку и, слыша ружейную трескотню за лесом, решал вопрос о том, куда двинуть войска. Через час ему стало известно местонахождение Гетти, который с трудом противостоял натиску южан Андерсона. Он выступил и спас Гетти в последний момент. Южане снова исчезли.

На холме, у фермы Лэси была разбита палатка с флагом. По всем тропам от этой палатки и к ней неслись верховые. Кругом, на севере, западе и юге все трепетало от пушечного рева. За густой стеной бора были видны только белые полосы дыма, не было видно даже вспышек. Близорукый генерал Хэмфрис, начальник штаба, водил бородой по карте, разыскивая какую-то «Рошу диких акаций», которая на карте не была обозначена, но про которую стало известно, что в ней обнаружена конфедеративная пехота. Генерал Улисс Грант стоял спиной к нему, соединив за спиной руки, в которых подрагивал толстый хлыст. Только что мимо холма пронеслась бешеным карьером батарея артиллерии, с которой Гранта приветствовали криками. Грант не ответил.

— Хэмфрис, — сказал Грант, не оборачиваясь, — что Бернсайд?

— Задерживается на переправе.

Корпус Бернсайда шел с обозами через Рапидан. К середине дня его ждали в Дикой Таверне, но он не пришел. Потомакская армия не успела даже занять сколько-нибудь надежные позиции. Теперь все зависело от Бернсайда, которому Грант не доверял, как он не доверял ни одному из своих подчиненных генералов. Грант верил только лошадям.

— Роши нет на карте, — доложил Хэмфрис, с трудом разгибая спину.

— Все равно, Уоррен должен двигаться вперед, даже если там болото, — ответил Грант, не оборачиваясь.

Среди группы генералов послышался шопот. Грант сделал несколько шагов вперед и назад, не обращая никакого внимания на эту группу. Приказание было передано дежурному офицеру. Тот передал его ординарцу, который поскакал на правый фланг разыскивать штаб Уоррена.

Битвы не было видно, но все кругом кипело, как в котле. Иногда пушечный гром перекрывал ружейную трескотню, но с каждой минутой она становилась все яростней. Изредка среди бес-

порядочной пальбы слышался ровный, страшный по своему механическому ритму звук, похожий на стрекотанье огромной пивейной машины. Это работали митральезы Гатлинга, десятиствольные колесные орудия, выбрасывавшие сто пятьдесят пуль в минуту и наводившие ужас на южан... Теперь они били по темным таинственным зарослям, в которых только изредка раздавался стон или шорох. Белый дым тянулся длинными, параллельными полосами. Он застревал в кустах и стлался по земле.

Через несколько дней в этих лесах находили трупы, лежащие чисто построеными цепями с командиром позади.

В двух десятках шагов от Гранта сидел корреспондент нью-йоркских газет, посланный всемогущим Чарльзом Дана. Он сидел на земле, опираясь локтем о колено и вперив внимательный взор в Гранта. В этом взоре не было ничего молитвенного. Грант не смотрел в его сторону. Но корреспондент тщательно изучал низкорослую плотную фигуру командующего. Ноздри его раздувались от отдаленного грома, от пыльной скачки артиллерийских упряжек, от галопирующих ординарцев, от передвигающихся вдали синих корпусов. Он видел эту картину как бы с птичьего полета и с глубокого дна до него доносился запах боя, физические столкновения человеческих масс, которые ползли в дыму и густой зелени, не видели друг друга и не знали, кто ими распоряжается.

Корреспондент и стоящий рядом с ним Дюваль следили по карте за медленно ползущими синими квадратами. Они знали за час о грозящей корпусам опасности, в то время, когда в натуре синие люди шагали из солнца в тень и обратно, разговаривая о пустяках. Они уже знали, откуда приближаются южане и где южане заходят во фланг, в то время, когда синие люди в натуре еще курили свои трубки.

Дюваль смотрел на корреспондента, корреспондент смотрел на Гранта, а Грант ни на кого не смотрел.

— Повара, — сказал Дюваль, кивая в сторону генералов, — повара разбирают кашу, которую им варят в соседней комнате.

— Это и есть военное искусство, мой друг, — наставительно ответил корреспондент, помахивая карандашом, — теперь мы увидим, что такое Грант...

— Уверю вас, — мягко сказал Дюваль, — что подлинная история этого сражения будет выдумана через пятьдесят лет в тихих университетских кабинетах. И так как историки делятся на партии, то Грантов будет несколько.

— Да вы философ, — пробормотал корреспондент и посмотрел пристально на этого штабного офицера.

— Уоррен впереди, — уверенно сказал Грант, глядя на часы, — что Бернсайд?

— Задерживается на переправе.

Корреспондент снова вперился в Гранта. Приближались пере- выборы президента и победа была необходима. Грант это знал

и может быть поэтому не смотрел на газетчика. Вашингтонские демократы писали в своих газетах, что генералу Гранту, идущему «вперед на Ричмонд», следовало бы сначала позаботиться о безопасности собственной столицы.

Прискакал ординарец от Хэнкока, с левого фланга. Хэнкок, докладывая об обстановке, просил подтвердить приказ продвигаться вперед. Грант приказал приостановить наступление. Группа генералов снова зашевелилась. Это целиком меняло план.

— Теперь мне важен именно левый фланг, — сухо ответил Грант на вопрос Хэмфриса и зашагал по площадке.

— Рискует многим, — прошептал корреспондент, — но победить должен.

— Можете не сомневаться, — пожал плечами Дюваль, — старик большой мастер в области ходьбы и драки.

— Но это очень важное сражение....

— Серьезно, вы думаете, что оно очень важное? — спросил Дюваль.

Корреспондент посмотрел на него.

— Это школа героев, сэр, — сказал он веско.

— Или школа посредственностей.

— Хотел бы я посмотреть на кого-нибудь другого на месте Гранта, — сказал корреспондент.

— Думаю, что многие могли бы проделать то же самое, — спокойно ответил Дюваль.

Корреспондент еще раз взглянул на него и отвернулся.

— Пускай он поднесет нам победу, — сказал он, спустя минуту, — мы сделаем его героем, если даже он посредственность. Лишь бы он победил.

Котел продолжал бурлить, Гетти снова попытался атаковать Андерсона. Седжвику было приказано послать дивизию Райта на помощь правому крылу Уоррена. Все это служило мгновенному решению Гранта — охватить правый фланг южан и уничтожить его, удерживая их левое крыло, против которого и находился Уоррен. Бернсайд все еще отсутствовал, обозы подтягивались к переправе, резерва не было и бой затягивался.

Корреспондент бесился от восторга. Хотя газетная щепетильность предписывала ему быть на передовых линиях, но по инструкции мистера Дана он обязан был находиться вблизи Гранта (впоследствии всегда можно было сослаться на эту инструкцию.) Больше всего в жизни ему нравилось наблюдать за людьми, будучи самому невидимым, и теперь он следил за передвижениями, доблестью, смертью и отвагой десятков тысяч, не видя самой битвы. Это была почти игра.

— Дюваль, — сказал Грант, не поворачивая головы. Дюваль подошел.

— Вы никогда не бывали в «Роще диких акаций»?

— Нет, сэр.

— А в шалаше на тропинке у роши?

Дюваль едва заметно вздрогнул. Грант не смотрел на него.

— Нет, сэр.

— Все равно. Вы отвезете туда пакет и вручите его лично Уоррену. Генерал Хэмфрис, где этот пакет?

— Он у меня, — отозвался Хэмфрис.

Поручение было жестокое, — неизвестно было в Роше ли Уоррен и существует ли Роша. Дорога шла по открытой местности вплотную к конфедеративным цепям.

Дюваль молчал.

— Я думал, что вы местный уроженец, — сказал Грант.

— Нет, сэр, — ответил Дюваль, — я говорил вам, что я из Миссури.

— Должно быть, я забыл, — ворчливо сказал Грант, — не задерживайтесь.

Дюваль получил пакет. Уже садясь на лошадь, он посмотрел на Гранта, на человека, с которым он не разлучался в течение года. Его взгляд встретился наконец с маленькими глазами почти металлического оттенка, блестящими из-под густых бровей.

Он ждал, что Грант скажет еще что-нибудь.

— Берегите лошадь, — крикнул ему вдогонку скрипучий голос, и Дюваль понял все.

Он пустил свою лошадь по дороге в Орэндж Пайк и, не доезжая миль шести до предполагаемой Роши, свернул направо, к Рапидану.

Слева от него все глуше слышна была ружейная трескотня. Лес становился гуще, тропинка стала узкой и извилистой. Вдали Дюваль уловил едва слышный звук подков лошади, идущей рысью.

Он знал, что Грант подозревает его, но не знал, что генерал способен принимать мгновенные решения. На повороте Дюваль мельком взглянул в сторону Дикой Таверны.

На тропе никого не было, но заглушенный топот становился все отчетливее.

— Он думает, что я не услышу звука из-за пушечной стрельбы, — пробормотал Дюваль, — но лошадь слышна лучше, чем пушка, особенно в лесу.

Земля была суха, с месяц не было дождей. Дюваль спешил. Звук шел от земли, от корней, короткая, напряженная рысь с перебоями. Видимо, всадник был нерешителен и сдерживал лошадь.

Дюваль оглянулся и пополз в кусты, таща за собой коня. Он выбрал место и достал револьвер. «Старик послал за мной, чтобы удостовериться в том, что южане меня пристрелили, — подумал он, — а, впрочем, может быть и для того, чтобы помочь им, если они промахнутся. Не ожидал от него такой добросовестности... Кто бы это мог быть? Капитан Шэнкс? Нет, это какой-то незнакомый офицер с штабной манерой держаться в седле...

Повидимому, дело было задумано уже на переправе... Бедняга боится, как бы его самого не ухлопали, он оторвался от меня и теперь не понимает, куда я пропал... Надо стрелять мимо — я уверен, что он удерет от одного звука... Ах, генерал Грант, он нашел время... Это еще что такое?

Это был выстрел. Стрелял кто-то из кустов по другую сторону тропинки. Офицер резко повернул коня и понесся обратно.

Дюваль пожал плечами. Дело осложнилось.

Прошло минуты две. Топот затих в отдалении. На тропинку осторожно вышел человек без шляпы, с широким черным бантом вместо галстука. Его пышные волосы были разметаны. В руках он держал охотничье ружье.

— Боже мой, — прошептал Дюваль, — это Бус! Должно быть он репетирует сцену из шиллеровских «Разбойников». Мистер Бус!

Бус вздрогнул, обернулся и, видя синий мундир, приложился и выстрелил.

— Насколько я понимаю, у вас больше нет зарядов, мистер Бус, — сказал Дюваль, выходя на тропинку, — прекратим спектакль.

Бус схватил ружье за дуло, повидимому, намереваясь защищаться до последних сил. Дюваль легко вырвал у него ружье и бросил его в кусты. Бус сжал кулаки и топнул ногой. Глаза его сверкали.

— Я оставил дома нож, — сказал он наигранным шопотом.

— Поздравляю вас, — заметил Дюваль, — но времени у нас мало. Мне придется просить вас идти впереди моей лошади и поскорей. Я спешу. Если вы сделаете попытку сбежать, я вас уложу на месте. Марш!

Бус повиновался. С полчаса он шагал впереди Дюваля, что-то бормоча и размахивая руками. Вдруг он обернулся.

— Как жаль, что я промахнулся, — сказал он глухо.

— Вы такой прекрасный стрелок, — спокойно заметил Дюваль, — что я вам советую в следующий раз избрать своей мишенью кого-нибудь не ниже президента Линкольна.

Бус снова обернулся. Глаза его горели.

— Откуда вы это взяли? Вы шпион? — спросил он.

— Да. Именно шпион. Не задерживайтесь!

В полном молчании они дошли до шалаша на лесной тропинке. Около него стояло двое людей — охотник в высоких сапогах и конфедеративный офицер в широкополой шляпе. К величайшему удивлению Буса офицер приветливо замахал шляпой при виде Дюваля. Дюваль соскочил с седла. Синий и серый офицеры пожали друг другу руки.

— Спектакль окончен, Синклер, — сказал Дюваль, — Грант молодец. Он хотел меня укокошить. Мы проиграли войну. Займитесь этим юнцом. Я хочу посмотреть, что написано в приказе, который я должен был передать Уоррену.

Дюваль вскрыл конверт. В нем лежал чистый лист бумаги. Дюваль расхохотался, глядя на оцепенелого Буса:

— Вы хотите мне отвечать, мистер Бус? Я действительно шпион, я служу Конфедерации.

Бус не отвечал.

— Зачем вы остались на ферме Лэси, когда южане очистили эту местность?

— Я хотел перейти на север, — отвечал Бус.

— Вы бежали от войны?

— Нет, — сказал Бус, — я остался, чтоб убить тирана.

— Генерала Гранта?

— Нет, — гордо сказал Бус, — Авраама Линкольна.

Первым был убит лейтенант Джеффрис. Под деревьями осталось еще два десятка человек, в том числе сержант Лоуренс. Франк Кенни, ирландец из Бауэри, был убит, потому что потерял кепи и его рыжая голова стала хорошей мишенью. На лужайке упали капрал Брукс и еще кто-то из Гринпортских волонтеров. Наконец, на бревнах остался игрок на гитаре Карпентер и с ним сержант Мур, Лейц, Рэнси, прозванный «Отче наш», и Локвуд Соьер.

Непонятно было, откуда стреляют южане. Казалось, что они стреляют сзади и даже сверху. Дым шел отовсюду и рота Ахилла Портера кидалась от одного заграждения к другому — от ям к бревнам, от бревен к деревьям, потом через лужайку к холму и снова к ямам.

Бой начался для них внезапно. Когда они сидели в резерве, им казалось, что они находятся в глубоком тылу и они с наслаждением отдыхали от долгого марша. Кое кто пробовал даже продолжать письмо домашним, начатое неделю назад. Затем раздалась команда, звякнули приклады, посыпался пепел из трубок, выколачиваемых о каблуки, сержант Лоуренс выругался и упомянул о расправе по возвращении, кто-то долго возился с ремнями, подбрасывая на спине ранец и скатку, и рота двинулась. «Шагом» — «прибавить шаг» — «быстрее» — «бегом», — последовали одно за другим без перерывов.

Оказалось, что бой происходит близко, собственно говоря, у подножия того холма, за которым находился «резерв». Поперек тропинки в густых зарослях лежал лицом в землю человек в штиблетах, крепко прижимавший к себе ружье, на спине у него возвышался котелок. Оказалось, что это Генри Зауэр из соседней роты. Потом через кусты стал тихо тянуться нежный слоистый дым. Потом сверкнула желтая молния, ударил залп и молча присело на землю несколько человек. Они разлеглись в идиотских позах, с выпученными глазами. Тогда Мерзавец закричал что-то вроде «гей-га-га» и рота бросилась к ямам. Солдаты ползли через ямы, подсаживая друг друга и подталкивая в середину груп-

пы наиболее слабых, чтоб им было легче ползти. Изредка «Мерзавец» пригибал голову то Кимбсу, то Роджевскому, крича «куда загляделись!» Потом они собрались во рву, на дне которого застоялась зеленая вода, и снова увидели перед собой капитана Портера, обвислые усы которого были запачканы землей, а левая штанина разорвана сверху донизу. Но он был сух и энергичен по-старому. Он велел двоим подтянуть ремни, осмотрел всех и довольным тоном что-то пробурчал себе под нос.

Надо рвом неслись пули. Стреляли из небольшого, полуразвалившегося домика с узкими старинными окнами. Это была маркшейдерская сторожка заброшенных копей. Должно быть в ямах когда-то копали уголь или искали болотную руду. Лужайка была завалена телами. Среди них было много конфедератов. Здесь дрались в рукопашную не больше часа назад. Кое-где среди тел в разные стороны торчали штыки, похожие на восклицательные знаки.

«Вперед, парни!» — крикнул капитан Портер, размахивая саблей. Знаменосец бросился вперед, сырая земля оседала у него под сапогами. Несколько человек выскочило на край рва. Они взмахнули руками, как по команде, кувыркнулись и рухнули обратно в ров. Замешательство длилось не больше секунды. «Мерзавец» подхватил флаг, что-то дико закричал и бросился вперед. За ним, толкаясь и глотая землю, полезла рота. Котелки бряцали, звенели сталкивающиеся штыки. Наконец эта масса людей и ранцев выползла на лужайку и бросилась к дому. Дом сразу оделся дымом. В окнах, в белом дыму, засверкали огоньки. Упало около дюжины солдат, в том числе Стивен Лэтимор. Остальным удалось добежать до домика. «Мерзавец» передал флаг капрану Пикенсу и ударил штыком в окно. За ним бросились другие. Капитан Портер был впереди и рубил своей довольно тупой саблей направо и налево. У дверей и окон дрались преимущественно прикладами, а когда ворвались в дом пустили в ход штыки. Стрельба смолкла и сменилась яростными криками и визгом. Эл Кимбс ударил какого-то рослого конфедерата в живот и согнувшись потащил бьющегося человека по лестнице. У Метцингера вырвали ружье и он дрался доской, пока не подхватил саблю у убитого офицера-южанина.

Какой-то рослый солдат замахнулся прикладом на Роджевского, который с белыми от отчаяния глазами беспомощно размахивал винтовкой. «Мерзавец» выскочил из-за угла с руганью, ударил конфедерата головой в пах и заорал Роджевскому «Держись за мой пояс!» Борода у него была в крови, а кепи в лохмотьях. Роджевский вцепился ему в ранец. Конфедераты бежали. С грохотом рухнул потолок в угловой комнате.

Когда конфедераты бросились в лес, обнаружилось, что капрал Пикенс убит балкой, что у капитана Портера повреждена рука, «Мерзавец» получил шрам через все лицо, а от роты осталось двенадцать человек. Конфедераты потеряли всего шестерых и

спова начали стрельбу из-за зарослей. Связь роты Портера с другими ротами была потеряна и хотя трескотня ружей слышалась отовсюду, но опять неизвестно было, кто и в кого стреляет.

В доме висела густая известковая пыль. Лестница была сломана; стена забрызгана кровью, в пустых комнатах, с поросшими мхом гнилыми полами валялось человек десять. Люди не могли успокоиться, потому что война оказалась всего-навсего дракой, а многим из них уже случилось драться на смерть в прериях и в кабаках и, кроме того, налицо был успех.

Они устроились в оконных нишах и наполнили магазины. Капитан Портер приказал открыть огонь. Итти в атаку было безумием, надо было усиленным огнем создать впечатление, что в доме не меньше полусотни людей. Синий дым смешался с белой пылью. Сэм Грегори механически взводил курок и стрелял в кусты не целясь. Ему почему-то пришло в голову, что слеза должна быть река и он долго думал об ее тихой воде, пока не обжег палец о раскалившийся ствол ружья.

Пули южан пригоршнями били в стены. Теперь дом обстреливали со всех сторон, даже почему-то сзади. Можно было надеяться только на резерв, но связь была потеряна.

Сэм Грегори начал понимать, что эта речка и была целью атаки. Он не знал ни названия полка конфедератов, ни цели, с которой они так упорно обороняли речку. Этого не знал и генерал Улисс Грант, потому что передвижения рот его не касались. Он знал только, что корпус Бернсайда прибыл к Дикой Таверне, что шестой и пятый корпуса развернулись вдоль дороги в Орэндж Плэнк, а второй корпус по другую сторону дороги (против первых двух корпусов действует со стороны южан генерал Юэл, а против третьего Хилл) и что между обеими группами образовалась «щель» шириной в две мили. Уже смеркалось и он потерял надежду на то, что ему удастся достигнуть решающих результатов до вечера. Он достал из кармана искусственную челюсть, которую имел обыкновение вынимать в напряженные моменты, вставил ее и сел с Хэмфрисом и Мидом обедать. Уже во время обеда ему пришло в голову, что Бернсайда надо бросить в «щель», чтоб он вышел во фланг Хиллу, в то время, как Хэнкок будет удерживать Хилла по фронту, а Седжвик и Уоррен пригвоздят к месту Юэла.

Он не мог знать, что в эту минуту остатки роты Ахилла Портера отстреливаются в лесном домике, окруженные во всех сторон, что капитан Портер лежит в углу, раненый в живот, и продолжает командовать прерывающимся голосом, что усы капитана, мокрые от собственной его слюны, обвисли еще больше и что Сэм Грегори почерневшей рукой продолжает взводить курок, не чувствуя своего левого локтя и колена, на которое он опирается уже больше часа.

Сэм Грегори не думает ни о чем. Еще недавно он думал с катаньи на лодках, потом он пытался мысленно петь. Потом у

него мелькнула странная мысль о том, что он солдат, что на нем мундир, что он стреляет в незнакомых людей, что уже вечер, а еще неизвестно, доживет ли он до спокойного сна. Тогда он стал думать о вечере, о том, что солнце заходит как обычно в этих краях и если б он путешествовал здесь в мирное время, он бы постарался найти какой-нибудь постоянный двор в этот час. Солнце действительно заходило, так как ему было все равно. Великая, мудрая природа со зверским безразличием поворачивалась спиной к остаткам роты Ахилла Портера.

Тогда «Мерзавец» запел. «Не ты ли, господи, — пел он, — оставил нас, не ты ли бросил воинов своих? Ныне, кто поведет нас в Эдом, город крепкий?...»

Метцингер громко выругался по-немецки.

— Метцингер, — сказал капитан Портер из угла, — примите команду!

— Слушаю, капитан, — сказал Метцингер и несколько голов повернулось к Портеру. Он лежал неподвижно. Не удалось даже перевязать его — не было корпии.

— Я вижу силу врагов моих, но обращаю взгляд свой к тебе. Ибо ты, господь, мое прибежище и сила, — пел «Мерзавец».

Сэм Грегори вспомнил большие, серые глаза Джона Брауна и его крючковатый нос пророка. Он также пел Давидовы псалмы, когда отстреливался от правительственных войск в арсенале Соединенных Штатов у Гарперс-Ферри. Он пел потом и у самой виселицы.

— Брось нить, — сердито сказал Метцингер, — тоску наводишь.

И он тихо запел баденскую песню 1843 года: «Держите выше, ребята, флаг, вперед, народные роты, падет во прах жестокий враг, свобода откроет ворота».

Сэм Грегори присоединился к нему, «Мерзавец» стал подтягивать и капитан Портер слабым голосом запел в углу.

Капитан думал о гражданской войне. Она проходила в его голове лодочными патрулями на берегах Онтарио, с долгим унылым воем паровозов в сосновых просторах, с песнями и вонью эшелонов, с ночными кормежками на узловых станциях, со стрельбой в воздух, с обозами, застревающими в грязи, с пышными речами с балконов, с дымящимися фермами, со взрытой ядрами землей, грязными войсковыми канцеляриями на вокзалах, с лошадиными трупами, с бесчисленными потоками людей в синем, стремящимися на юг. Он, школьный учитель из Освего, долго ждал ее. Пламя росло внутри. Когда Линкольн опубликовал свой первый призыв к оружию, Ахилл Портер запер дверь на ключ и отправился на пароходе в Буффало. Он более не возвращался домой и был уверен, что никогда не вернется. Все его сорок два года были подготовкой к этому году войны. Он отправился на неведомый юг освобождать рабов и сейчас, уми-

рая, с надеждой смотрел на людей, которые воспитались на его глазах. Все было в порядке. Война шла к концу.

— «Нам выбора нет и путь загражден, не уйти из тюремного мрака, что лучше — цепей ли кандалный звон, наемный ли штык пруссака» — шел Метцингер.

Конфедераты стреляли все реже. Появилась надежда, что к ночи удастся бежать.

Капитан Портер замолчал. Метцингер подполз к нему, скрестил ему руки на груди и накрыл лицо фуражкой.

Со стороны реки потянуло дымом. Где-то вдали заиграл рожок, но это был неприятельский сигнал.

— Неужели о нас забыли? — сказал Сэм Грегори.

— Молчи, — ответил Метцингер, — это отбой.

— Великолётно!

— Нет, плохо. Наши наверно сбежали. В передовых цепях не трубят. Это к ним подходят резервы Лонгстрита.

Дым валил все гуще. Метцингер отправился на разведку Бледный Роджевский выпустил ружье и уткнулся в бок «Мерзавцу».

— Меня тошнит от пороха, — прошептал он. «Мерзавец» не отвечал. Вернулся Метцингер.

— Плохо дело, ребята, — сказал он, — лес горит.

В самом деле большие участки леса были в огне. На небе поднялось розовое, дымное зарево.

— Надо бежать, капитан Метцингер, — сказал Сэм Грегори, Метцингер покачал головой.

— Горит сзади и спереди. Мятажники уходят. Это их звали трубой, чтоб они не сгорели. Боюсь, что мы окружены огнем.

Метцингер помолчал. Комната постепенно наполнялась дымом.

— Хуже всего то, что дом горит, — сказал Метцингер.

— Где?

— Наверху. Горит чердак. Должно быть, давно уже горит.

— Надо прорваться, — сказал Сэм после минуты молчания. Ответом на эти слова был новый залп южан. Пули забарабанили по верхнему этажу.

— Ребята, стреляйте! — крикнул Метцингер.

Снова началась беспорядочная стрельба. В промежутках слышался сухой треск горящего дерева. В комнате становилось трудно дышать.

Конфедераты не отвечали на выстрелы. Метцингер приподнялся на руках и выглянул в окно.

— Ребята, они ушли... — крикнул он. Из-за кустов грянул одинокий выстрел. Метцингер упал ничком.

— Метцингер! — завопил Сэм и бросился к нему.

— Рядовой Грегори, примите команду, — пробормотал Метцингер, — это обман, они все равно уходят: бегите назад к ямам, мятежники бегут от пожара...

— Метцингер, — повторил Сэм.

— Ну что? — слабо улыбаясь, сказал Метцингер, — ничего, Сэм. Нельзя медлить. Война... война продолжается!

И он опустил голову на пол.

Солдаты прокрались к задней двери. Крыша горела и на лужайке было светло. Сэм, Роджевский и Кимбс выползли наружу первыми. Никто не стрелял. Только вдали гудел огонь, пылали мачтовые сосны и посылали в небо оранжевые столбы искр.

— Вперед! — шепнул Сэм, — к ямам! «Мерзавец»! Выходите!

«Мерзавец» не успел выйти. Огненная крыша вдруг накренилась и рухнула со страшным грохотом, похоронив под собой остатки роты Ахилла Портера.

Трое солдат молча смотрели на громадный костер, образовавшийся на месте маркшейдерской сторожки.

— Вперед! — повторил Сэм.

— Рядовой Флойд! Рядовой Метцингер! — сказал Роджевский и заплакал. И они бросились к ямам.

На следующий день битва у Дикой Таверны продолжалась. Генерал Грант был упрям и приказа об отступлении не давал.

По его приказу в пять часов утра Хэнкок атаковал Хилла. После часа отчаянного сражения люди Хилла бросились бежать. Но Хэнкок ничего не видел. Слыша стрельбу в направлении Таверны Тодда он решил, что к южанам подошел Лонгстрит и приостановил наступление.

В шесть часов утра авангард корпуса Бернсайда, прошедший перед этим сорок миль, вступил в «щель», но местность была настолько непроходима, что он задержался и во фланг южанам не вышел. Тем временем Хэнкок преследовал Хилла, который, отступая, наткнулся на авангарды Лонгстрита. Люди Хилла, увидев подкрепление, вновь обрели мужество, вернулись вместе с Лонгстритом и отбросили Хэнкока на исходные позиции. В этой схватке генерал Лонгстрит был случайно ранен своими же солдатами и его заменил сам старик Ли. Он стянул своих людей, реорганизовал дивизию и в четыре часа пятнадцать минут пополудни вновь безуспешно атаковал фронт Хэнкока.

Леса пылали. Многие раненые задохнулись или сгорели. Особенно пострадал офицерский состав. Люди плутали среди речек и болот, под сплошным пологом дыма. Благодаря густым зарослям, дыму и «неопределенности» расположения противника» атаки Бернсайда, Седжвика и Уоррена не имели никакого успеха. Наконец, уже к ночи Седжвик был неожиданно атакован на своем правом фланге и началось паническое бегство.

Под покровом ночи Ли отвел свои войска в заранее приготовленные траншеи. Сражение выдохлось и замерло само собой. Только кое-где перед огнями биваков постреливали в воздух солдаты на заградительных постах. У костра двигались тени, варился жидкий кофе, шли разговоры об отступлении.

В пять часов утра корреспондент встретил начальника штаба Хэмфриса. Генерал был бледен и угрюм, глаза у него воспалились. Начинало светать. Он не спал пятую ночь.

— Каковы потери? — спросил корреспондент.

— Пятнадцать или восемнадцать тысяч, — сказал Хэмфрис и нервно зевнул.

— Старик что-нибудь говорит?

— Ничего. Вчера отдан приказ готовиться к походу, но я не знаю, куда мы идем.

— Он не созывал корпусных командиров?

— Нет. Старик пришел вечером, бросился на койку лицом в подушку. Роулинс говорит, что он «дал простор своим чувствам способом, который не оставляет никаких сомнений». Роулинс всегда говорит красиво.

— То есть он ругался?

— Нет. Плакал.

— Плакал?

— Я так думаю. Он плачет иногда. Когда я ему сказал, что Макферсона убили около Атланты, он ушел в палатку и всхлипывал около полчаса.

— Скажите честно, генерал, — голос корреспондента стал музыкальным, — стоило бы сейчас уйти обратно за Рипидан и... слегка переформироваться?

— Я ожидаю приказа об отходе за Рипидан, — отвечал Хэмфрис.

— Когда после сражения армия отходит, мы, штатские, считаем, что... победы налицо нет.

— Гм... Я считаю, что говорить о поражении неуместно, — сухо сказал Хэмфрис и зашагал к палатке.

Еще до восхода солнца Потомакская армия снялась с позиций. Генерал Грант догнал колонну Бернсайда верхом. Он остановил солдат. Утомленные люди устало разглядывали знаменитый силуэт Улисса Гранта, с его моржовыми усами и короткой, упрямой бородкой. Грант поднял руку.

— Вперед, — крикнул он, — вперед на Ричмонд! — Громовое «ура» прокатилось по рядам. Солдаты бросали вверх кепи.

— Настоящий человек! — прошептал корреспондент и полез за записной книжкой.

6. ГОСПИТАЛЬ

В дали от этой подневольной суеты

Стоит то, что есть мое Я

Оно и участвует в игре, и не участвует,

Следит за нею и удивляется ей

Уот Уитмен. Листья травы.

— Следующий в очередь на перевязку!

Уот Уитмен ходит по полевому госпиталю в синей рубаше с расстегнутым воротом и в шляпе, сдвинутой на затылок.

— Уитмен,—говорит ему дежурный,—сходите в операционную и вынесите на двор несколько рук и ног. Они в тазу.

Уитмен несет руки и ноги. Они завалены окровавленной корпией и их не видно.

Уитмен здесь наименее брезгливый человек, он носит даже испражнения.

— Это чепуха, что вас поставили в заграждение,—орет какой-то раненый,—вот я бы вас послал к чертовой матери на левый фланг, к речке. Вот где вы наглотались бы дыму.

— Я выхожу по цепи и говорю ему: «лейтенант, я ранен, но я легко ранен, не будет ли каких поручений...»

— Плевать на заграждение. Это все равно, что в резерве — сидишь и куришь!

— ...И вдруг я смотрю — он мертв, только он не упал, а стоит...

— Следующий в очередь на перевязку!

— Сэр, прошу обратить внимание, мой сосед молчит, он, кажется, помер.

— Кто помер? Я помер? Осел! Я только немного буду хромать!

— Кто же здесь помер?

— Потихе! Уитмен, возьмите третьего слева,—тихо говорит дежурный,—он, кажется, действительно умер. А где задушенные?

— У двери, сэр.

— Как они себя чувствуют?

— Лучше, сэр. Один плачет.

— Плачет? Все плачут. Принесите еще воды в операционную.

— Дайте ему липовый отвар и к чертовой матери,—кричит врач, проходя через комнату,—здесь есть симулянты, я уверен в этом. Здесь наверно есть симулянты.

— Сэр, мне расщепило ногу. Левую ногу.

— А голову вам не расщепило? Тут все раненые.

«Задушенные» — это рядовые Грегори, Роджевский и Кимбс, все что осталось от роты Ахилла Портера. Их нашли в лесу солдаты из четвертого иллинойского, подходившие вместе с Хэнкоком. Трое рядовых лежали в воде. В густом дыму им удалось доползти до речки и спрятаться в тине, около небольшого островка. Благодаря этому они спаслись от пожара.

Их довели в фургоне до бараков, где помещался полевой госпиталь.

Очнувшись, Роджевский начал всхлипывать. Плач у него перемешивался со свирепой руганью. Эл Кимбс вяло открывал и закрывал рот. Грегори лежал с синевато-бледным лицом и молча прислушивался к вою, который доносился из операционного барака.

— Перестаньте орать,—кричал врач,—у вас осталась еще одна кисть. Дайте ему виски.

— Это — не симулянты? — тихо сказал Грегори Уитмену.
Уитмен улыбнулся.

— Вы знаете военных врачей...

Грегори смотрел на небо. На небе неподвижно висели белые, громадные облака, похожие на снеговой хребет.

В госпитале не хватало ни корпии, ни бинтов, ни места. Раненых везли целыми поездами. Здесь были обожженные, безрукие, простреленные и распоротые. Некоторые умирали, дожидаясь очереди на перевязку. Другие давали санитарам деньги за глоток виски. Некоторые платили за место в очереди. Двое подрались.

Доктор работал с утра. Сейчас он сдал дежурство и ходил по госпиталю, наблюдая за дисциплиной. Когда к нему обращались с просьбами, он недовольно морщился и произносил одно из трех слов: «каломель», «настой ромашки» или «хинин». Он подошел и к остаткам роты Ахилла Портера.

— Перестать плакать. — сказал он железным голосом, с любопытством разглядывая Роджевского.

— Я не могу... я не могу... — всхлипывал Роджевский.

— Сию минуту прекратить плач!

Роджевский не мог остановиться.

— Дурак! Даже не ранен — просто испугался.

Роджевский продолжал плакать.

Доктор нагнулся и пощупал пульс.

— Температура?

— Нормальная, сэр, — сказал Уитмен.

Доктор упер руки в бока и выставил вперед бороду.

— Дезертирство? — сказал он тонкой фистулой.

— У него нервное потрясение, сэр, — вставил Уитмен.

— А у вас, сэр, какое потрясенье?

Уитмен молчал.

— Температуры нет, — продолжал доктор, — пульс почти нормальный, явных ранений нет, под статью не подходит, выписать в строй. А? Симуляция?

— У него нервное потрясение, сэр, — сказал Грегори.

— Нервных потрясений в армии не лечат, сэр, — прокричал доктор, — мы режем руки и ноги, но белая горячка нас не касается. Этот рядовой должно быть алкоголик. Как фамилия?

— Роджевский Льюис.

— Из иммигрантов. Явный алкоголик. Чем занимался?

— Чернорабочий.

— Так и есть. Сейчас я вам сотворю чудо. (Роджевскому) Встать!

Роджевский продолжал всхлипывать.

Доктор вздел на нос пенсне.

— Слушайте, миляга, вам дивизионный врач приказывает встать!

Грегори поднялся, шатаясь.

— Послушайте, доктор, убирайтесь к чорту.

Доктор выронил пенсне.

— Убирайтесь к чорту или я вас убью!

— Правильно, стукни его, — поддержали сзади.

— Я вас всех... выпишу, — сказал доктор, озираясь.

Уитмен расхохотался. Он смотрел на эту сцену с восторгом, — ему нравился полусвет барака, синие жилки на висках врача, крошки в его бороде, молодой и обветренный раненый солдат, наступающий на врача со сжатыми кулаками, грубые голоса фронтовой братии.

Он все разглядывал с любопытством с самого начала своей работы в госпитале. При переездах — паровозная гарь, ржанье лошадей в ремонтных составах, мрачный юмор раненых, молодцеватая посадка кавалерийских офицеров, долгие ночные стоянки на провинциальных станциях, ругань ко всему привыкших военных врачей и ординаторов, колокол, созывающий запуганных негров в сельскую церковь, громадное небо театра военных действий и далекие шрапнельные облачка — бесконечную смену света, течи и красок, порожденных гражданской войной.

Для него это была игра, как и для корреспондента при штабе Гранта. Только корреспондент видел в этом игру умов, а Уитмен — игру красок.

Кроме того, Уитмен встречался с солдатами, и вид человеческих страданий возбуждал в нем жалость, смешанную с любопытством.

— Я всех выпишу, — серьезно сказал доктор. — я поеду прежде вас по совести — советую подумать — госпиталь или — траншеи... траншеи...

— Док, — сказал сзади чей-то язвительный баритон, — мы ведь сражаемся за свободу, перестаньте угрожать. Вы уронили пенсне.

— Прекратите разговоры, — сказал доктор, — вы, кажется, торгуетесь со мной.

Он повернулся и ушел четким военным шагом, размахивая руками.

— Видать, он в восторге от своих наплечников, — заметил тот же баритон.

Роджевский продолжал плакать. Уитмен нагнулся, обхватил его туловище руками и прижал к себе.

— Перестаньте дрожать, — сказал он тихо, — все уже прошло, вам ничто не угрожает.

— Неужели, — проговорил Сэм, с трудом опускаясь на доски, лежавшие на земляном полу, — неужели никогда никто об этом не узнает?

Уитмена позвали и он не смог ответить на этот вопрос. Но Грегори и не ждал ответа.

Вечером началась сумятица. Подвезли фургоны для перевозки раненых на станцию. За день было поломано восемь фургонов и осталось только десять. Было приказано в первую очередь класть тяжело-раненых, но более ловкие пролезали первыми и отказывались выходить. Некоторые молились богу, прося, чтоб их не миновала очередь и чтоб они могли очнуться в хорошем тыловом госпитале, в белой кровати, в чистой палате и чтоб до этого времени не случилась гангрена. Ординаторы бегали с фонарями, крича и толкая людей.

Уитмен отвел Кимбса и Грегори и протолкнул их в последний фургон, набитый доверху. Роджевского пришлось принести: он перестал плакать, но мелко дрожал.

— Спасибо вам, добрый человек, спасибо,— бормотал Роджевский, стуча зубами, — но у меня нет денег, я только могу сказать «спасибо», я неизвестный человек...

Уитмен засмеялся и даже Грегори слабо улыбнулся. Механик Грегори лежал тесно прижатый к какому-то толстому солдату, который весь день рассказывал о том, как его неправильно послали за ведром, под самый огонь и «из-за этого у меня теперь не будет девушек».

Фургоны тронулись. Послышались ругань и крики оставленных.

Им предстояло ждать всю ночь — ходили слухи, что армия снялась с позиций.

Рядовые еще раз встретились с Уитменом, во Фредериксбурге, при посадке в поезд. Дежурный ординатор, проверявший список, заявил, что этих трех рядовых в списке нет, что они пристали по дороге и принадлежат к другой дивизии. «Отправляйтесь в местный госпиталь,— посоветовал он,— и запишитесь на переосвидетельствование, с таким легким ранением вас все равно не будут держать в тылу».

Уитмен настаивал. Ему пришло в голову назвать имя дивизионного врача и добавить, что он не успел включить этих троих в список. Ординатор отправился к главному врачу. В это время выяснилось, что к составу будут прицеплять еще четыре вагона с лошадьми, началась суматоха и Уитмен потащил рядовых в вагон. Он взял Кимбса и Роджевского на руки, как детей, а затем вернулся за Грегори. Уитмен был широкоплечий человек необычайной силы.

Поезд тронулся.

Бестолковая суетня на станциях. Ржанье лошадей в соседнем товарном вагоне. Мечущиеся фонари железнодорожников. Ленивые фигуры в сапогах и широкополых шляпах у огонька табачной лавчонки. Шелест кустов барбариса и доносящийся из станционного окна монотонный стук телеграфного аппарата. Неполные обрывки разговоров на платформе.

- Стэффорд, час — тридцать, воинский состав...
- Это эшелон раненых, следует до Балтиморы...
- Оставьте меня в покое, я говорю вам! Путь забит до Вашингтона...
- Одиннадцать товарных вагонов с фуражем для кавалерии...
- Поставить его на запасный...
- Оставьте меня в покое! Убирайтесь к чорту, прошу вас!
- Хэлло, Дженкинс, как у вас там, на Рапидане?
- Кажется нас побили. А вы прижались тут в тылу...
- Семнадцать тысяч раненых, шутки! Второй день везут.
- Мы стоим тут до утра... Какая станция?
- Стэффорд.
- Первый раз слышу. Не станция, а раз'езд.
- Так, паршивый городишко...

Стук молоточка по ободьям колес Гудок паровоза и внезапный рывок. Обязательно, кто-то опоздал и бежит по платформе, стараясь вскочить на ходу.

Потом ночь,— звезды, как лагерные огни на черном, бархатном небе, свистящие заросли по сторонам полотна, а вдали, в хлопковых полях, желтый огонь костра.

- Какие эти люди?
- Кто их знает, сэр! Может быть, дезертиры, а может быть, охотники за дезертирами.
- Может ли быть, что это неприятель?
- Все может быть, сэр... Кавалерийский раз'езд Брекинриджа. Все может быть...

Городок с заколоченными окнами и флаг, болтающийся на церковной колокольне. Остовы сгоревших домов. Негры с большими тюками на спинах. Табачный дым от трубок. Косые, угрюмые взгляды встречных. Смесь злобы с подбострастием. Рабовладельческий Мэриленд, занятый северными войсками.

В вагоне, при свете болтающейся лампочки, дремлют рядовые. Толстый солдат все не может успокоиться.

— Это все пехота, проклятая пехота, земляные крысы,— ворчит он,— все забывают про пехоту, когда кончается война. Девушки любят кавалеристов и моряков, а пусть они проползали бы через полтора штата на животе,— я бы посмотрел на них... Господи, уже совсем нельзя ходить на войне, можно только ползать на коленях или на брюхе — и тебе стреляют не в лицо, не в грудь, а в зад... Смешно быть раненым в зад, а ты попробуй... Прескверная история! А кто герои? Мы герои!

— В самом деле, мистер Уитмен,— говорит Сэм Грегори, поднимая голову.— Богатые молодые люди из Нью-Йорка будут врать о своих страданиях. Будущие люди забудут, что у них не было сердца и они не могли страдать, а страдали мы.

— Эти мелочные дела,— отвечает Уитмен, любовно похлопывая Грегори по плечу,— но и они хороши.

— Нет, но я люблюсь ею и вами.

— Чем вы занимались до войны?

— Я поэт.

— Я не знаю поэта по фамилии Уитмен.

— Тогда вы узнаете,—говорит Уитмен.

Он выходит на площадку. Буфера стучат. Навстречу несется насторожившийся, боящийся грабежа Мерилэнд.

Уитмен готов подняться на цыпочки, чтоб заглянуть вперед и узнать, что там. Ветер свеж и паровозный дым едок.

Когда поезд пришел в Балтимор, раненых увезли. Уитмен дружески попрощался с ними, но через несколько дней забыл их лица и фамилии.

7. ПУЗЫРИ ЗЕМЛИ

Банко: Земля как и вода, имеет газы.
И это были пузыри земли..

Шекспир Макбет.

На сцене Ричмондского театра полусвет. Тускло отсвечивают в зрительном зале тройные канделябры. Капельдинеры наливнули на люстру четырехугольный ящик, который создает таинственное настроение в партере. Все лампы в амфитеатре прикручены, и сам притихший амфитеатр висит над креслами, как грозовое облако.

На сцене горит свеча. На смуглых щеках, скулах и вздернутом носике маленькой актрисы играют резкие тени. У нее раскосые, серые дикие глаза. При помощи грима они превращены в яростные глаза бесплодной женщины, которая переступает через кровавый труп короля, чтоб добиться власти или сойти с ума. Она простирает голые, полные руки над свечой и колдует:

...Сюда
Убийства ангелы, где б не витали
Вы в этот час, на гибель естеству,
К грудям моим, и желчью замените
Их молоко!..

За кулисами каркает ворон. В стрельчатые окна замка проникает свет романтической луны.

...И ворон
Охрип, закаркал на приезд Дункана
Сюда, сюда, о демоны убийства...

Уже поздняя осень. Несомненно в эту минуту дым валит из всех труб замка и ветер несет его над вересковыми пустошами на Бенморский перевал, где Макбет борется с ветром и кручами.

Дюваль сидит в креслах и думает о том, что у актрисы Эвелин Джой маленькая, полная нога. У всех полных женщин маленькие ноги.

У Эвелин нет острых костей в запястьи и лодыжках, этого скверного наследия кельтов. Костей, которые так часто встречаются у женщин англо-саксонской расы. Из-за этих костей ступни ног и кисти рук кажутся длинными и узкими. К счастью она наполовину француженка. Тем более странно, что у нее очень светлые, почти льняные волосы, начесанные гривкой на лоб, чтоб сделать более ужасным лицо лэди Макбет.

Круглое пухлое лицо, украшенное веснушками. Великая мучительность грима, а может быть искусно сдерживаемая чувственность сделали его диким, скуластым лицом женщины, не боящейся крови и мышей.

Ох, уж эти актеры!

.. Скорей, глухая ночь,
Спустишь на мир и в мрачном дыме ада
Укрой мой нож!

Хорошо, когда у женщин этого рода есть на спине большое родимое пятно. Оно наверняка у нее есть. Они очень забавны дома, когда они надевают какой-нибудь красный или пестрый (пожалуй, лучше красный) халат и обнаруживают неожиданную грузность, поворачиваясь спиной. Плечи у них широки и они не хотели бы, чтоб на них смотрели сзади. Притом на ногах у них домашние туфли, иногда эти туфли шлепают и они боятся, что это их старит и делает недостаточно женственными.

Говорят, что все актрисы курят! Дюваль уверен, что Эвелин не курит. Вообще, он уверен, что у ней нет неприятных черт, которыми, к сожалению, славятся многие актрисы: излишняя для женщины самоуверенность, страсть к пари и петушиным боям, легкое отношение к деньгам и презрительное отношение к мужчинам, когда у мужчин не слишком много денег. А также любовь к горячительным напиткам, которая совершенно не подобает женщине, отнимает у нее свежесть и делает ее не богиней, а товарищем мужчины. Ох, уж эти актрисы!

Но Эвелин уже нет на сцене. Освещение стало еще более гробовым и Дюваль слышал шамканье комического тюремщика:

Вот, что воистину можно назвать стуком. Будь привратник в аду, было бы кому отворять. (Стучат). Тук! Тук! Тук! Кто там, во имя Вельзевула? (Стучат). Тук! Тук! Портной англичанин имеет честь быть впущен сюда за умение украсть доску материи от французских штанов в обтяжку. Пожалуйста — тут и уют ваш можно изжарить. (Стучат). Тук! Тук! Опять! Кто там, во имя другого чорта? (Стучат). Вот не дадут покоя! Однако, для преисподней тут, чорт возьми, холодно. Не хочу быть адским привратником. А думал было впустить всякого званья по штучке; сами же бегут по гладкой дорожке на потешный огонь. (Стучат). Сейчас, сейчас!

Дюваль смотрит в программу. Это Дэл Райт. В руке у него фенарь. Белая привязная борода странно контрастирует с его живыми черными глазами. Дэду Райту двадцать пять лет. Он славится пьянством и дуэлями. Плохая компания для Эвелин.

В сущности, Дюваль глубоко убежден, что этой женщине надоели актеры. В актерах нет ничего положительного, они не постоянны в любви. Скорей всего ей надоел Бус, этот заносчивый маньяк, обнаруживающий неожиданную практичность и упрямство. Его манера разговаривать противна. К сожалению, призраков в жизни не бывает и нечего их вызывать. А из Буса вышел бы неплохой сержант.

(Обо всем надо обязательно у нее спросить!)

Входят Мекдэфф и Ленокс. В это время король Дункан уже лежит убитый в замке, но они еще прохладятся на дворе. Осенняя погода свежа и может быть им хочется поразмять кости. Они не спешат обнаружить труп. «Ночь бурная была... ужасный голос предрекал пожар и смуты...» В этой трагедии никто никого не любит.

Для чего надо было убивать Дункана? Из честолюбия? Как может Эвелин играть такую женщину? Если б леди Макбет была способна на любовь, что значил бы труп какого-то Дункана! Но она любит кровь и смуту.

Довольно страшно становится при мысли, что эта женщина может быть просто сластолюбива и черства.

Вот она опять. Опять со свечей. «Вот еще пятно. Прочь, проклятое пятно, прочь, говорю я! У тана файфского была жена — где она теперь? Все еще пахнет кровью. Все ароматы Аравии не омоют этой маленькой руки». Нет, все это не так просто. Она страдает.

Желтый отблеск свечи колышется у нее на щеках и подбородке. Это круглое измученное лицо страшно. Она глядит в партер и во взгляде у нее одно желание — убежать! Она ждет помощи, она одинока. Надо зажечь по-другому, Эвелин! Она уходит, размахивая свечой и крича «в постель! в постель!» Суфлер что-то яростно шепчет.

Дюваль твердо решил пойти к ней. Он твердо понял, — она не любит Буса. Будь что будет!

Дюваль долго не смотрит на сцену. Только звон шпор привлекает его внимание. Бус стоит на вершине скалы с мечом. На нем невыносимой пестроты плащ, размалеванный красными и зелеными полосами. Черные его волосы разметаны. На ногах у него высокие сапоги с медными техасскими шпорами. «Сдавайся, трус» — кричит ему снизу Макдэфф «Нет, никогда, — отвечает Бус, ударяя мечом по скале, — «проклят будь кто первый скажет — стой!» И он прыгает со скалы на сцену, с высоты шести футов. Шпоры звякают, публика разражается рукоплесканиями, актеры кланяются.

Следует длинная сцена фехтования, которая идет под бурные аплодисменты. Дюваль ее не видит. Он спешит к выходу.

Боковой вход театра с его рифлеными контрфорсами и синим фонариком напоминает манеж. Большая дверь хлопает, не-

сут картонные стены Инвернесского замка и оборудование пещеры ведьм, сделанное из серебристой шерсти. Пахнет сыростью.

Около двери прохаживается какой-то сноб в цилиндре, испанском плаще и пестром жилете с букетом цветов. Он смотрит на Дюваль и кисло усмехается.

— Ждет ее,—соображает Дюваль и неожиданный холодок пробегает у него под сердцем—...А, впрочем, все равно... я... уйду...

Дюваль становится в тень. Фонари чадят на ветру. Из театра доносится взрыв аплодисментов. Сноб нетерпеливо топает ногой.

— Ну что ж... Я уйду...

Дверь открывается. Выбегает вертлявая маленькая женщина в шляпе с пером и с хохотом хватается сноба под руку. Сноб оборачивается к Дювалю, улыбаясь приподнимает цилиндр и уходит с ней. Дюваль вздыхает.

Перед спектаклем он отправил Эвелин Джой записку:

«Человек в офицерской форме северной армии, которого вы укрыли на ферме Лэси, просит вас выйти к нему после спектакля. Он более не может оставлять вас в заблуждении: он не янки, он служит Конфедерации и синяя форма была только переодеванием. Он надеется, что слова, сказанные Вами на ферме, относятся к мундиру, а не к человеку. Если же он ошибся, то заранее просит прощения. *Hoppy soit qui mal y pense!*¹»

Написать эту записку стоило больших трудов. Надо было долго смирять самолюбие. Надо было давать зарок больше никогда не писать таких записок. Надо было по ночам курить и думать, что у каждого свой путь и что на одиноком пути автора этой записки слишком нелепа фигура актрисы, этой опытной охотницы за удовольствиями, плотной белокурой женщины с грудным самоуверенным голосом. Потом надо было переписать записку четыре раза.

— Я сошел с ума,—сказал себе Дюваль и послал записку.

Потом надо было смириться и доказать себе, что молодость прошла, что если эта женщина окажется только маленькой актрисой, то самолюбие будет восстановлено и жизнь будет продолжаться.

— О любви нет речи,—сказал Дюваль,—ничего особенного не происходит.

Снова хлопает дверь. Снова выходит женщина. С ней еще кто-то... но тот сворачивает в сторону, даже не прощаясь. Женщина осматривается.

«Эту записку будет читать какой-нибудь...» — с досадой думает Дюваль и ему становится обидно, что он разменялся на такие мелочи.

¹ «Позор тому, кто думает дурное» — девиз английского ордена Подвязки.

Никого не видя, женщина берется за ручку двери. Дюваль делает шаг вперед и говорит шопотом:

— *Jamais!*

Одну секунду он льстит себя надеждой, что он ошибся. Поворот головы не тот. Затем взгляд его встречается с знакомыми раскосыми, прищуренными глазами.

Женщина вздрагивает и отступает.

— Я вас не знаю!

— Простите,— резко говорит Дюваль и поворачивается. Тогда она берет его сзади за локоть. Они снова стоят лицом к лицу. Эвелин опускает голову. Руки их соприкасаются. Ее круглые, голые плечи краснеют.

— Здравствуйте. Как вы поживаете?

— Благодарю вас. Хорошо,— отвечает Дюваль.

Молчание.

— Я вас не узнала. Я ведь вас совсем не знаю, да?

— Да. Я хотел вас поблагодарить...

— Нет, это неважно. Даже если б вы были северянин...

Хлопает дверь. Они отскакивают друг от друга. Насвистывая, проходит суфлер с папкой.

— Доброй ночи, мисс Эвелин! — кричит он.

— Прощайте.

Дюваль подходит снова.

— Можно вас проводить?

Эвелин поднимает голову. Дюваль с удивлением ловит этот неожиданный хитрый и холодный взгляд. Должно быть, в его собственных глазах мелькает какая-то сухость, потому что она то-ропливо улыбается.

— Я.. не одна...

— Вас провожает мистер Бус?

Она досадливо пожимает плечами.

— Ну, нет! Он будет ждать меня дома. Я не могу возвращаться... с кем-нибудь.

— Вы вернетесь одна.

Эвелин уходит и возвращается в узком красном жакете с буфами. Маленькая плоская голубая шляпа с лентой надвинута на лицо. Узел светлых волос спущен на затылок.

Она спотыкается о порог.

— Боже мой, я ничего не вижу!

— Здесь темно.

— Нет, благодарю вас, я просто близорука. Вам придется вести меня.

Ночной Ричмонд имеет странный вид. Кое-где горят желтые тусклые огоньки. По пустым улицам передвигаются патрули с фонарями. Изредка где-то на окраине гулко хлопает выстрел: стреляют в воздух для храбрости.

Янки приближаются к Ричмонду. Город отрезан с трех сторон. Дюваль и Эвелин сидят на бревне у реки Джемс. На мосту качается фонарь. Перекликаются часовые. Кругом густые, темные сады. Пахнет сыростью, смолой, мокрыми канатами.

— И у вас никого нет? — говорит Эвелин, прерывая молчаливую паузу, которая длится уже полчаса.

— Никого.

— И не было?

Дюваль молча пожимает плечами.

— Неправда, вы сами сказали, у вас есть в Кентукки какая-то...

Эвелин осеклась и покраснела.

— А у вас есть Бус, — злобно говорит Дюваль.

— Ну! Бус! Он мой партнер!

— Но вы его... гм... любите? Вы сами...

— Это я так, нарочно сказала.

— Среда артистов... театр...

— О! Как они мне надоели, эти артисты!

Эвелин смотрит на Дюваля искоса.

Он доволен.

— Так вы ничего не хотите мне рассказать про эту... из Кентукки?

— Это ничего не стоит, мисс Эвелин.

— Хм... я знаю — она блондинка.

— Нет, — сердито говорит Дюваль, — она брюнетка. И вообще ее нет.

— Как ее зовут? Вы должны все сказать.

Дюваль берет Эвелин за руку.

— Мисс Эвелин, — говорит он сердечно, — не будем об этом говорить. Вообще, мне очень часто приходилось выступать в роли «сердечного друга». Я очень боюсь, чтоб вы меня не использовали для этой роли.

— Нет, — лукаво отвечает Эвелин, — я и не думаю. Но я чувствую себя очень хорошо с вами.

— Теперь мы с вами друзья, не так ли?

— Вот! Вы сами напрашиваетесь на эту роль!

— Нет... Но я хотел бы, чтоб вы оказались... настоящей женщиной... Так редко приходится их встречать....

Эвелин в восторге от интимности этого признания. Но она скромно складывает руки на коленях. Она не хочет сдаваться.

— Но вы встречали их, правда? Встречали?

Дюваль молчит. Эвелин встревожена. Она беспомощно разводит руками.

— Значит, встречали...

Дюваль отрицательно качает головой. Но Эвелин уже опустила голову.

— Я знаю, — говорит она слабо, — что я очень маленькое явление в вашей жизни.

— Что вы, Эвелин!

— Да, да... Я тоже всегда мечтала... чтоб меня полюбили настоящей любовью... как в сочинениях мистера Диккенса...

Дюваль улыбается. Эвелин не поднимает головы.

— Хотите, я вам все расскажу?

— Да, конечно!

— Вы думаете, что я легкомысленна, как все актрисы... Вы меня не знаете! Да! Не перебивайте меня! Правда, многие за мной ухаживают. Но мне хотелось бы, чтоб это было вот как: они оба долго страдают, но они продолжают любить друг друга... И вот, в рождественский вечер.. вам смешно?

— Нет, мне совсем не смешно.

— Он приходит и говорит: «моя Мэй, я понял, что не люблю злую Дороти, я люблю только тебя. Мы обручимся и ты уедешь со мной в Южную Америку!»

— Милая Эвелин,— смеясь говорит Дюваль,— волшебников не существует. В этом нет ничего утешительного.

— Но любовь существует! Неужели нет?

— Я думаю, что существует, милая Эвелин.

— Я скажу вам по секрету,— я бы очень хотела, чтоб это все так и было — мы оба совершаем подвиги, он сражается, я повсюду следую за ним — и потом... потом снова наступает рождественский вечер... не правда ли? Он должен быть героем?

— Дорогая моя, пусть он не будет героем, но пусть он действительно вас любит,— это гораздо важнее, чем быть героем.

— Правда... Теперь я вам все сказала и вы будете смеяться надо мной!

Дюваль наклоняется и целует ей руку.

— Надо идти домой. Доведите меня до того угла. Мы с вами уже два часа болтаем о всякой чепухе.

Они идут рядом. Дюваль берет ее под руку.

— Увидят, что мы шли под руку,— говорит она,— это неприлично.

— Но здесь никого нет. И ведь мы — друзья.

Вдали перекликаются часовые. Дюваль и Эвелин идут молча.

— Теперь и вы должны мне все рассказать.

— Мне нечего рассказывать. Моя биография очень скудна.

Дюваль не замечает, что Эвелин смотрит на него насмешливо. Верхняя пухлая губа приподнялась, из-под нее поблескивают зубы.

— Почему вам пришло в голову встретиться со мной?

— Я подумал, что вы очень благородный человек. Мне захотелось поближе познакомиться с вами.

— И все?

— Разве этого недостаточно?

Эвелин улыбается в сторону, скромно прячет подбородок в воротник.

— Я тоже очень хотела вас видеть,— говорит она, чуть подрагивая уголками губ,— я видела вас в театре не раз. Вы ходили

на все шекспировские спектакли. Я смотрела на вас, но вы меня не замечали. Видите, я все вам рассказываю.

— И вам хотелось со мной встретиться?

— Конечно, но я же не могла послать вам записку, да еще так умно написанную. Я сохранила эту записку и еще вашу кокарду.

— Так вы подняли эту кокарду?

— Да. Вы помните, что на ней было нацарапано?

— Кажется...

Им преграждает дорогу странная процессия: с пристани движется на повозках ряд длинных черных ящиков. Это везут тела с фронта. Ночные похороны появились в Ричмонде год назад, в силу приказа генерала Брэгга, запрещавшего хоронить днем по «моральным соображениям». Вслед за повозками идет патруль с фонарями.

Эвелин пугливо прижимается к Дювалю.

— Это война!

— Даже почти осада, Эвелин.

Фонари светят в глухие переулки. Фуры дребезжат по камням. В верхнем этаже кто-то открывает жалюзи, и тотчас же снизу доносится окрик.

— Закройте ставни!

Жалюзи со стуком захлопываются. Оранжевые полосы света скользят по деревянному переплету верхнего этажа, и снова становится темно.

— Ходят слухи, что мы отдали Шерману Атланту,— говорит Эвелин.

— Да. Яки дойдут до моря.

— А дальше?

Дюваль смеется.

— Дальше останется только Ричмонд, дорогая Эвелин.

— Как! Вы хотите сказать, что эти сапожники нас завоюют?

Дюваль молчит. Эвелин всплескивает руками.

— *Nogreur!* Но ведь Юг нельзя завоевать.

— Кто знает... Бог бывает на стороне злых, когда их больше, чем добрых.

— Но это несправедливо! Это банда грабителей! Они только и думают о добыче!

Дюваль вспыхивает.

— Для мировой истории это безразлично, Эвелин. В истории нет справедливости, или возмездия, история безлика. Мир обращается по своей орбите, он скрипит и позванивает как музыкальный ящик. Какое в этом утешение?

— Но ведь подлинные герои — наши, а не их мужчины.

— Не все ли равно, кто герой, милая Эвелин? Я не променяю тысячу великих дел, тысячу Ватерлоо, тысячу освобожденных рабов, тысячу Бонапартов и Линкольнов на один прохладный день где-нибудь на берегу большой реки, где течет холодная вода и цветут деревья. Перед тем, как мы с вами встретились на

ферме Лэси, я спал — да, позорно спал! — на берегу Рапидана, хотя у меня было боевое поручение. Честное слово, давно я так хорошо не спал! Мне снилось, что гражданская война кончилась. Но она еще не кончилась и меня разбудили.

— Боже мой, если бы это слышал Бус!

— Да, Бус — актер. Для людей театр так же необходим, как хлеб, даже больше. Бус делает людям историю, а они утешаются этим.

Эвелин не отвечает. Они идут мимо густых садов негритянского квартала, по деревянному настилу, который заменяет тротуар. Тяжелые шаги Дюваля аккомпанируют мелкой дробью каблучков Эвелин. В садах все молчит. Ни один негр не осмеливается прикоснуться к своему банджо в эту прохладную сентябрьскую ночь. Огни погашены. Издали слышен стук копыт конного патруля. Из открытой двери пивной доносится заглушенное пение: «Не ты ли Господь, который оставил нас, не ты ли покинул воинов своих... Ныне кто поведет нас в Эдом, город крепкий?..»

Вдали тянется новый поезд фургонов с гробами. Прибыл транспорт из Питерсбурга. Гробы тащат с пристани на кладбище, мимо балконов Капитолия, с которых свисают выцветшие трехцветные знамена и пальмовые значки Конфедерации.

— Великая тишина, — говорит Дюваль, — эта великая тишина гораздо более важное событие, чем все великие дела и заслуги, чем одержанная северянами победа при Атланте. Будущие американские историки будут копаться в документах, чтобы установить, как все было в действительности. Хотел бы я сказать им, что ничего великого в действительности не было, была ужасная каша, из которой и родилась их «великая демократия».

— Это ужас, — говорит Эвелин, — то, что вы говорите. Как это по-вашему называется?

— Это называется поражение (defeat). Мы пришли?

Трехэтажный дом на углу Мэрион-стрит. Вывеска: «Гостиница Эксельсиор. Семейные и одиночные номера с услугами».

Эвелин останавливается.

— Здесь.

Несколько минут они стоят молча, Эвелин поднимает глаза и долго глядит на глухое, осеннее небо. Огромная серая туча висит над Ричмондом, края ее отсвечивают багрянцем. Тогда Эвелин усталым голосом говорит:

— Вы правы, это ужасная каша...

Дюваль берет ее за руки и притягивает к себе.

— Как вы сказали: «милая Мэй, я не люблю злую Дороти, я люблю только тебя». Так, кажется? Или лучше «пузыри земли»?

Вместо ответа Эвелин обнимает его. Перед ним мелькает сначала круглое лицо с узкими глазами, потом приподнятая верхняя губа, из-под которой поблескивают белые зубы. Толстая, сильная рука охватывает его за шею.

— Я сошла с ума. Но не говорите о гражданской войне.

Дюваль смеется.

— Какое мне дело до гражданской войны,— говорит он, и его лицо погружается в мягкий, мокрый бархат, слабо пахнувший духами.

Эвелин уходит. Дювалю не видно, как, оставшись одна в пустом холле гостиницы, она стоит в тени, у буфета, сладко поеживается всем телом и беззвучно смеется. Точно так же она ведет себя за кулисами, после выхода, когда роль сыграна, и из зрительного зала доносятся бешеные аплодисменты.

Дюваль не видит также, как она поднимается по узкой лестнице на третий этаж. У нее меняется походка, отвисает нижняя губа, под глазами появляются невидимые на улице тени и сами глаза не выражают ничего кроме почти животной хитрости. Она подкрадывается к двери Буса и прикладывает ухо к скважине. Затем она грузно наваливается на дверь и распахивает ее.

Дюваль стоит на улице.

В небе установилась тяжелая, торжественная тишина. В этой тишине ухо Дюваля вдруг отмечает звук, который несся в воздухе весь день, и который Дюваль перестал замечать, как тиканье часов. В тишине чуть дребезжат стекла, издалека несутся мерные раскаты, как будто где-то катают огромное белье. Это артиллерия янки не прекращает своей работы под Питерсбургом.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Разгром

8. ДИКСИ ЛЮБИТ ДЭВИСА

Чэмберс (от Миссисипи): Негры не будут драться! Этого не было в истории!

Симсон (от Ю. Каролины, вполголоса): Янки заставляют их драться.

Лестер (от Джорджии): Ну, не слишком...

Маршалл (от Кентукки): Накачайте в них виски и они будут драться.

Прения в Конгрессе. «Экзамайнер»
от 11 ноября 1864 г.

В начале января 1865 г. в Ричмонд приехал с фронта майор Синклер.

Майор приехал с ответственным поручением: он должен был передать президенту Дэвису письмо от генерала Ли. Письмо было весьма секретное и, запечатывая его в палатке, старик повторил несколько раз:

— Вы отдадите это в руки президенту. В самые руки. Я не хотел бы даже, чтоб оно прошло через кого-нибудь из этих... самых приближенных генералов...

На Ричмондском вокзале стоял невероятный шум. Везде пестрело огромное количество надписей: «Да здравствует Дикси¹, говорит президент», «Ура, Дэвис», «Берегите карманы, говорит президент», «Ура, Джордж Вашингтон», «Останавливаться воспрещается, пожалуйста», «Ура, Дэвис», «Ход только для военных», «Ура, Дикси и Дэвис».

Какие-то дамы бестолково метались, подобрав юбки и волоча обмотанные веревкой ящики. Их шляпки сбились на затылок, лица были кумачевые. Рослый детина в форменной фуражке втискивал публику в проход, крича: «Стоп! Стоп!» Сплошная масса людей вынесла майора на улицу. Его денщик, коренастый ирландец Келли, свалил чемоданы и растерянно вытер лоб. Здесь майора должна была дожидаться пролетка. Но никакой пролетки не было.

На площади одиноко стоял дилижанс. Около дилижанса хмуро топталось множество людей. За исключением этой колымаги площадь была совершенно пуста.

Вдруг майор отлетел шага на три, пораженный увесистым ударом в бок.

Детина в форменной фуражке пронесся мимо него, успев крикнуть на ходу:

— Стоп, сэр! Учитесь быть вежливым, сэр!

Майор раскрыл рот, но детина уже летел к дилижансу. Он легко вскочил на козлы и схватил вожжи. Толпа загудела.

— Джентльмены,— крикнул кондуктор,— если вас не затруднит, займите места, ибо мы имеем намерение отправиться в путь. Начался галдеж.

Майор растерянно поглядел на Келли.

— Спросим у того, мистер Гарри,— сообразил ирландец.

Посредине площади стояла большая черная тумба. Рядом с ней вытянулся молодой человек в очень пестрой форме. На голове у него красовалась шляпа с белым пером. Только вместо ружья он держал в руке палку.

Майор хотел к нему обратиться, но его заинтересовала тумба. На ней было выведено: «Памятник южной демократии. Мужайтесь!»

Майор обратился к часовому и спросил:

— Прошу прощения, нельзя ли узнать, как пройти в Капитолий?

— Стоп, сэр,— заорал часовой,— останавливаться воспрещается! Если вас не затруднит!

— Я не понимаю...— начал майор.

— Учитесь быть вежливым, сэр!— крикнул часовой и вдруг смолк. На законное недоумение майора он не отвечал ни слова. Майор посмотрел на Келли и отошел.

— Возьмем кэб, Бони,— сказал майор.— Эй, в Капитолий!

¹ «Дикси» — популярное название южных штатов.

— Не еду,—кратко ответил извозчик, переворачивая газету, которую он читал.

— Как? — удивился майор.

— Оставьте меня в покое, сэр,—закричал извозчик,—не еду! И вообще я не беру мулатов!

— Чорт тебя дери,—грозно сказал Келли,—мой майор мулат? Это тебе даром не пройдет!

— Осторожнее, сэр,—заметил извозчик,—вы читали речь президента о необходимости соблюдать вежливость и об употреблении слова «сэр»? Мы не янки, мы вежливая нация!

— Слушайте,—вмешался майор,—вы едете или нет?

— Сэр,—сказал извозчик,—я не всегда был извозчик. В прошлом я был землемером. Вот моя карточка.

Он достал плотный кусок бумаги, на котором был изображен звездный флаг и орлик.

— Вам понятно, сэр? — сухо сказал извозчик.—Я здесь не вас дожидался.

— Что это за знак? — спросил Бони.

— Тише, Бони,—сказал майор,—это нечто неизвестное нам.

Следующий извозчик запросил у майора двадцать пять долларов «гринбэками», т. е. долларами неприятеля. Еще один потребовал сорок и повернулся к майору спиной.

— Мистер Гарри,—сказал Келли,—а не пойти ли нам пешком?

— Придется пойти, Бони,—вздыхая, ответил майор,—очень странный город.

Не успели они пройти несколько шагов, как вдруг ирландец свалил на землю чемодан и залился беззвучным хохотом.

Дилижанс, доехав до середины площади, вдруг накренился на бок. Оба правых колеса слетели с осей и, подпрыгивая, понеслись по площади.

Публика с воплями соскакивала в разные стороны.

Кучер в форменной фуражке соскочил с козел и быстро бросился обратно к вокзалу. Публика расходилась.

— Пойдем, Бони,—сказал майор,—и они пошли.

По узким, прямым улицам Ричмонда сновало множество народа. Большинство тащило узлы или ящики. Майора поразило обилие женщин и старух. По начищенным до блеска плитам тротуаров плыли величавые фигуры в макинтошах и цилиндрах. В петлицах у них красовались ленточки национальных цветов. За каждым из них слуга-негр нес огромный желтый портфель, которые тогда только начали входить в моду. Это были секретари тыловых ведомств и крупнейшие жертвователи на нужды армии.

Майору бросилось в глаза обилие вывесок. Везде, где только оставался кусочек свободного места, красовались надписи. Аршинные буквы «Ура, Дэвис», «Ура, свобода» чернели везде. Президент был представлен в сотне разнообразных поз и положений

и всегда увит национальными гирляндами. Дэвис, римским жестом протягивающий руку к северу; Дэвис, скрестивший руки на груди; Дэвис со знаменем, в костюме Джорджа Вашингтона, стоящий на носу лодки; Дэвис на лошади; Дэвис в сенаторском кресле... У майора уже начинало в глазах рябить от всевозможных поз мистера Дэвиса, но тут в глаза ему ударял плакат, в котором президент советовал «остерегаться случайных знакомств». За этим плакатом следовала целая цепь вывесок, из которых явствовало, что в особняке, предоставленном мистером Эдвардом Фильмером из графства Сутерлэнд, помещаются четыре интендантских канцелярии и отделение департамента финансов. В широких окнах этого особняка виднелись фигурки каких-то лэди, сидевших за большими столами и подписывавших бумажку за бумажкой. Впоследствии майор узнал, что таким образом — вручную — правительство изготовляло банкноты, так как станки бездействовали.

Майор загляделся на очереди около булочных. Несмотря на кордоны конных полицейских, которые стояли возле каждой из них с обнаженными палашами, оттуда неслись крики и дикое кудахтанье женщин. Толпа негритянок визжала и толкалась, размахивая корзинками. В этот момент к магазину привезли хлеб. Владелец вышел в сопровождении двух надсмотрщиков, чтоб принять его. Вопли становились все сильнее. Вдруг зазвенели стекла, большая дверь магазина покачнулась, рухнула, и толпа ворвалась в магазин, потрясая в воздухе корзинками и крича: «Порядок! порядок!» Кого-то задавили. «Остановитесь, — орал бледный хозяин, — в магазине ничего нет». Его сбили с ног. Полицейские засвистели, обороняя хлеб. «Патриоты! Полиция!» — кричал кто-то. «Проклятые негры», — заорали с улицы. В магазине кого-то избивали. Вдруг толпа расступилась. По тротуару выступал маленький человечек, держа в руках плотную карточку. За ним шли два молодых человека в глянцевиных сапогах, сжимая суковатые дубины. Человечек указал им на толстого мужчину в сбитой на затылок шляпе. Его схватили. Мужчина вился, как угорь, уверяя молодых людей, что он «только подошел, только подошел и ничего не думал». — «Мерзавец аболиционист! — кричали в толпе, — линчевать всех негров». Снова понесся свист.

Неизвестно, чем кончилось бы замешательство возле булочной, если б оттуда не выбежали две большие крысы. Женщины рассыпались с отчаянным визгом. Крысы, однако, нисколько не смущаясь, остановились посреди мостовой, вертя острыми мордочками. Полицейские поскакали за ними, обнажив палаши. Со всех сторон топали ногами и улюлюкали, пока затравленные животные не были изловлены где-то в подворотне. «Янки выпустили крыс», орал какой-то рослый негр, потрясая корзинкой. Майор оглянулся. Бони стоял весь в поту и отчаянно скреб затылок.

— Что с тобой, Бони, — спросил майор, — ты боишься крыс?

— Крыс? О нет, мистер Гарри,— растерянно сказал ирландец,— я боюсь людей.

Дорога к Капитолию оказалась более длинной, чем предполагал майор. Толпы осаждали сообщения, вывешенные на стене. Черномазый парень в длинных клетчатых штанах толкнул майора в бок и сказал с восхищением:

— Так их и надо, сэр! Я всегда советовал наступать только на Вашингтон.

— Вы военный? — с удивлением спросил майор.

— Нет, сэр,— гордо отвечал юноша,— я из благородной семьи. Я старший счетчик бюро распределения пособий семьям раненых офицеров.

— А,— сказал майор,— я одобряю вашу любовь к родине. Не знаете ли, где здесь можно закусить?

— О, сэр,— еще более гордо сказал юноша,— если вас не затруднит, то вот и закусочная.

— Очень приятно, сэр,— сказал майор.

— Ты знаешь, Бони,— обратился он к денщику,— я решительно одобряю это мероприятие Дэвиса насчет вежливости. Какой приятный разговор... Что у вас есть в меню, сэр, будьте так добры, пожалуйста?

За пустой стойкой находилось двое людей: буфетчик и полицейский. За отсутствием дела, они сражались в карты, хлопая друг друга по плечу. Синклеру не ответили. После третьего обращения буфетчик бросил сухо и не оборачиваясь.

— Ничего нет, сэр. Вы мулат, сэр?

Умудренный горьким опытом, Синклер ответил:

— Я не мулат.

Буфетчик бросил карты и перегнулся через стойку.

— Гринбэки есть? — спросил он шопотом.

— Есть,— ответил майор также.

— Заливное с маринадом или без?

— А еще что?

— Жареная индейка в капусте, сэр. Шпинат, сэр. Шампиньоны в сметане, сэр...

— Хватит,— сказал Синклер,— дважды шампиньоны.

Пережевывая грибы, Синклер сказал, с полным ртом обращаясь к буфетчику:

— Собственно говоря, вас следует повесить.

Буфетчик гордо улыбнулся и ткнул пальцем в полицейского.

— Спросите у него, сэр. Пусть раньше повесят Дэвиса. У него гринбэков больше, чем у старого Эби¹.

— Вот именно,— сказал майор, вытирая рот,— зато у меня их нет и я вас сейчас арестую, как спекулятора. Бони, где наши карточки?

Буфетчик побледнел.

¹ Т. е. Линкольна.

— Простите, сэр,— пролепетал он,— вы очень хорошо переоделись. Я ничего не хотел сказать про благородного президента. Это все мулаты. Если вас не затруднит, простите, сэр. Ура, сэр!

— Сукин сын,— сказал майор, выходя из закуской,— как его до сих пор не выгнали? — Бони вдруг лукаво заулыбался.

— Что с тобой, Бони?

— Знаете, мистер Гарри,— сказал Бони, расплываясь в широкой ирландской улыбке,— мы могли бы тогда сесть в кэб, если бы... если бы...

— Что «если бы»?

— Если бы вы закричали «стоп, стоп», а потом прибавили бы «Бони, где наши карточки?»...

— Брось шутить, Бони,— сурово сказал майор,— этот город на осадном положении.

Ричмондский Капитолий не был предназначен для правительства независимой державы. Это был провинциальный Капитолий, в котором когда-то заседало законодательное собрание штата Виргиния — небольшой белый дом с облупившейся колоннадой, перед которой зеленела круглая лужайка с высохшим фонтаном. Когда-то в таких зданиях собирались припудренные величественные плантаторы в белых париках. По всем правилам английского конституционного красноречия XVIII века они произносили речи, в которых заявляли и утверждали, что равенство является естественным правом человека и гражданина этих Соединенных Штатов и что следующим его естественным правом является «право на революцию».

Ныне ричмондский Капитолий был переполнен военными в широкополых шляпах и высоких ботфортах. Смуглые южные джентльмены в сапогах и бакенбардах, хлопая хлыстами по голенищам, требовали личного свидания с президентом, чтоб испросить у него «особых полномочий» для расправы с неграми в графстве и передать ему личный привет от «брата Вильяма, сражающегося в непоколебимых рядах железной когорты Ли». Дэвис не у одного из них гостил и произносил речи на верандах, увитых плющом.

Оставив Бони в караулке, майор зашагал по коридорам Капитолия, а эти коридоры были узки, бесконечны и устланы мягкими коврами. Винтовые лестнички вздымались к запыленным антресолям, где тлели пожелтевшие хартии с готическими заглавными буквами законов, задуманных, родившихся и нерожденных; проектов конституций, переписанных аккуратным гусиным пером самого Томаса Джефферсона; черновых набросков речей и посланий, кляузнических дебатов и территориальных договоров; архивов плантаций с особыми графами для черных и белых рабов и процентов прибыли на табак и военных диспозиций с указани-

ями «колонна противника марширует» и «виргинская милиция идет рассыпным строем», испещренных латинскими изречениями и восклицательными знаками. Со стен глядели портреты Джорджа Вашингтона, Мэдисона, Франклина и, прищурив свои старые глаза, они как бы заявляли и утверждали:

— Мы, народ Соединенных Штатов, имея целью укрепить наш союз, установить справедливость и сохранить блага свободы для нас и для наших потомков...¹

История шевелила пыльными коврами перед ошарашенным и ничего не понимавшим майором, пока его не провели через ряд тесных, заставленных конторками комнат, где клерки резво и яростно скрипели перьями, покрывая бумагу вставками, пунктами и дополнениями, и не втащили в приемную.

В приемной находился очень молодой, смутло-розовый, элегантный человек, с повадками шарлотсвилльского студента. Это был секретарь президента Бертон Гаррисон. Он вырвал из рук майора письмо, повертел его перед носом и сказал, что передаст письмо генералу Брэггу.

— Нет,— сказал майор,— президенту Дэвису, пожалуйста.

— Легче передать письмо господу богу,— весело заявил юноша, садясь на угол стола,— президент ничего не принимает без пометки генерала Брэгга.

— В таком случае, он примет меня,— сказал майор деревянным голосом,— и без всякой пометки.

— Нет,— улыбнулся Гаррисон,— президент не принимает майоров.

— Но он должен принимать адъютантов генерала Ли! — майор повысил голос.

— Тссс... — сказал юноша,— не говорите ничего о генерале Ли. (Бедный майор ничего не понимал в политике. Оппозиционная партия в Конгрессе называла Дэвиса «смесью злобы и умеренности» и тайно готовила диктатуру генерала Ли).

— Оставьте письмо,— продолжал юноша,— и ждите ответа...

— Я беру письмо,— загудел майор,— и отправляюсь к мистери Дэвису!

— В таком случае,— вежливо сказал юноша,— вы будете арестованы.

— Сомневаюсь,— отвечал майор, ловко схватывая письмо и засовывая его за пазуху.

Гаррисон встал.

— Господин майор,— сказал он свирепо,— отдайте письмо!

— Я отвечаю перед генералом Ли и могу отдать его только президенту лично.

— Хорошо,— лениво проговорил юноша,— эй, взять его!

— Ну, ну,— сказал майор, выхватывая саблю,— я четыре года сражался в Виргинии и Тенесси.

¹ Первые слова конституции США.

Юноша отступил и засучил рукава, беззаботно готовясь к хорошему университетскому боксу.

Но майор отшвырнул его некрасивым ударом сапога и бросился к большой двери в конце комнаты. Он распахнул ее и очутился в громадном зале, выложенном коврами.

Он не ожидал, что за этой дверью скрывается такой просторный, пустой зал и остановился у входа.

В дальнем конце, у большого письменного стола, наклонив голову, сидел человек. Рядом с ним развалился в кресле другой, в военной форме.

Слева над этим двусветным залом навис огромный портрет Джорджа Вашингтона, принимающего шпагу у лорда Корнуоллиса. Майор успел рассмотреть только исполинские ботфорты обоих. Справа висел портрет Томаса Джефферсона, в парике и мантии, со свертком бумаги в руках.

В углу на постаменте стояла маленькая конная бронзовая статуя маршала Тюренна.

— Что там за шум? — спросил слабым нервическим голосом человек у письменного стола, — кто вы такой?

— Адъютант генерала Ли с письмом к президенту Дэвису, — прогремел майор. Эхо повторило его голос на галлерее.

Военный быстро встал со стула. Его собеседник удержал его движением руки. Он встал в свою очередь. Это был невысокий, бледный, тщательно причесанный человек в узком грифельного цвета сюртуке, застегнутом на все пуговицы. На шее у него был надет коричневый шарфик.

— Приблизьтесь, — сказал он вялым, не допускающим возражений голосом.

Майор приблизился, и взгляд его встретился с тоскливыми серыми глазами Джефферсона Дэвиса, президента Конфедеративных Штатов Америки, вождя восставшего Юга.

— Дайте письмо, — сказал Дэвис и протянул тонкую руку со склеротическими синими венами.

Синклер отдал письмо. Президент распечатал его, проглядел и отдал военному, — толстому человеку с одутловатыми кирпичными щеками.

— Речь идет об эвакуации Ричмонда, — сказал Дэвис.

Толстяк прочел письмо и пожал плечами.

— Почему вы молчите, генерал Брэгг? — спросил Дэвис.

— В этом есть доля разума, — просипел толстяк.

— Разума?

— Немедленный марш на юг для соединения с армией Джонстона, господин президент. Я уже говорил вам. Генерал Ли считает Гранта превосходным противником.

Майор с удивлением смотрел на них. Бледный, высоколобый, нервный Дэвис был окружен здоровыми, краснощекими людьми, массивными, как дубовые столы Капитолия. Он был окружен

пространствами, амфиладами, в которых пропадал голос, и географическими картами, в которых терялся взор.

— Нет, невозможно, это бегство,— сухо сказал Дэвис.

— Но Ричмонд....

— Нельзя взять Ричмонд. Ваше имя?

Этот вопрос относился к Синклеру. Президент уселся в кресло, в котором он держался необыкновенно прямо, прижав руки к бокам. Синклер перевел взгляд на Брекстон Брэгга, героя поражения при Чаттануге. Но тот смотрел поверх головы майора.

— Синклер,— сказал майор все еще удивленным тоном.

Президент рассматривал Синклера внимательно, как вещь.

— Почему вы ворвались сюда?

— Я должен был передать письмо лично, по приказу генерала Ли.

— Вы давно с генералом Ли?

— Четыре года, сэр.

— Вложите вашу саблю в ножны.

Майор вспыхнул и смутился: действительно, у него в руке была обнаженная сабля. Он вложил ее в ножны и извинительно щелкнул шпорами.

Президент, повидимому, был доволен осмотром. Он обратился к генералу Брэггу и заговорил с ним вполголоса.

Майор вспомнил слова старого Ли: «Президент может говорить о чем угодно — о Гомере, о тупоголовых черепахах, об астрономии, о римском праве, о телячьей коже, об итальянских поэтах и об американской революции—и обо всем с полным отсутствием юмора».

Дэвис посмотрел на него и сказал:

— Вы всегда так исполняете приказание генерала Ли?

Майор смущенно помялся:

— Я стараюсь...

— Хорошо,— сказал Дэвис,— вы,— он поднял палец и ткнул им в майора,— поедете в Вильмингтон и арестуете там человека по фамилии Перкинс. Вы доставите его в Ричмонд.

Майор с удивлением посмотрел на длинный, бледный палец, направленный на него в упор.

— Но, господин президент,— сказал он,— я — адъютант...

— Вы больше не адъютант. Согласны ли исполнять мои приказы так, как исполняли приказы генерала Ли?

Майор покраснел. Это звучало лестно.

— Согласен, господин президент....

Дэвис чуть заметно улыбнулся. Он так же, как и майор, любил лесть и подчинение.

— Вы поедете в Вильмингтон и сделаете это. (Брэггу). Я считаю, что это подходящий офицер. Прикажете мистеру Гаррисону объяснить этому офицеру все подробности и внушить ему, что это дело политическое.

Дэвис говорил, как будто майора не было в комнате.

— Бумаги я подпишу лично, — сказал президент, делая рукой жест, похожий на огромный росчерк в воздухе. Затем он положил локти на стол и погрузился в карты.

— Вы можете итти, — шопотом сказал Брэгг.

Бедный Бони долго томился в караулке, дожидаясь майора. Он пробовал закурить, но у него вырвали трубку и объяснили ему, что в Капитолии курить запрещено. Через час появился майор.

— Собирай вещи, Бони, — сказал он, — мы сейчас уезжаем в Вильмингтон.

— Пешком на станцию! — воскликнул Бони, яростно почесывая затылок.

— Ничего не поделаешь, Бони, — сказал майор, — надо итти. И они пошли.

9. ПИСЬМА

«Разве так читают письма? Их следует читать между строк».

Из комедии Томаса Тэйлора.

Дюваль — Эвелин Джой.

Питерсбург.

16 октября 1864 г.

«...Да, это любовь. Я не умею хитрить — пишу Вам честно и прямо — я люблю Вас. Это любовь».

То, что я сказал Вам на Ричмондском вокзале, не было шуткой. Я очень хорошо помню Вашу крепкую ножку, которая так мило охраняла мой чемодан. Я помню, как Вы улыбнулись, когда я предложил вам стать моей женой. Хотел бы я, чтоб Вы так улыбались во все дни моей жизни — улыбка у Вас лукавая, и ямочки появились у Вас на щеках в нескольких местах.

Потом Вы меня поцеловали. На вокзале это естественно, никто не обратил внимания на женщину, которая во время войны целует офицера, едущего по направлению к фронту. В Вашем поцелуе было что-то от благодарности и даже от заботы... чудная моя Эвелин!

Сейчас я хожу в каком-то тумане. Я никогда не думал, что еще могу быть счастлив. Все встречные кажутся мне друзьями. Наступает зима, но мне кажется, что это весна. Кто-то из моих приятелей три года назад любезно напрогнозировал мне, что из моей жизни ничего не выйдет, и что подруги у меня не будут никогда. Я смеюсь над ним, я смеюсь над «судьбой». Честное слово, никакой «судьбы» не существует! Я не верю в сознательные, злые силы природы, я не верю в бога (потому что, если бог существует, то он зол). Природа тупа и бездушна, это поразительное скопление случайных сил. Кирпич падает на голову, не разбирая, умная это голова или глупая; он, бедняга, просто повину-

ется случайному закону земного тяготения. Мир пуст, в нем — в бесконечном и вечно существующем — нет ни пространства, ни времени, и вся человеческая история для него только одна мгновенная вспышка. В этом пустом мире, где солнце — ужасная масса раскаленного газа, существует одно высокое — человеческая любовь и ненависть. В этом вопросе мы перехитрили господу бога, у него не хватило бы фантазии на такую сложную выдумку.

Я не стану Вам рассказывать свою биографию, это скучно. В жизни у меня нет праздников, и никто не мог мне помочь в моих страданиях. Женщины требовали, чтоб я присутствовал при них в качестве «душевного отопления», а мужчины никогда не выслушивали до конца. Господи, чего можно требовать от чужих, равнодушных людей!

В силу какого-то непонятного мне чувства я ждал изю дня в день. Говорят, какой-то полусумасшедший француз-изобретатель каждый день от двенадцати до двух ждал прихода богатого благодетеля, чтоб осуществить свои идеи. У меня было приблизительно столько же шансов. Но я инстинктивно ждал возмездия.

Я был уверен, что оно придет. В мертвом, случайном мире появился когда-то человек и принес с собой замечательное понятие о справедливости. С детства я привык, что страдания должны вознаграждаться. Вокруг меня маленькие люди с самоуверенным кудактаньем рассаживались на свои места в жизни. Один я стоял в сутолоке и озирался с грустью, — может быть, мое место в конце поезда?

Вещи тяжелы. Может быть, стоит вернуться на станцию и отдать билет?

Но нет! Волею несуществующих судеб, а может быть, благодаря тайной уверенности в том, что жизнь прекрасна, и лучшее еще впереди, я продолжал идти в толкотне.

Куда меня только ни бросало! Не веря в «правое дело» Юга, этого тонущего корабля, где рабы роскоши управляют рабами людей, я шел подставлять свою непокрытую голову под пули — за это самое «правое дело».

Я участвовал в мексиканской войне, я сражался в Канзасе с Джоном Брауном, я штурмовал арсенал в Гарперс-Ферри и затем вешал этого белоглазого сумасброда.

Сейчас я принимаю участие в гражданской войне между хищниками и рабовладельцами. Какое мне дело до тех и других!

Это проклятое «будущее» не давало мне спать. Мне все мерещились какие-то горизонты и облака. Я видел во сне жизнь, полную геройства, величия чувств, настоящую жизнь — то есть возмездие.

И только на-днях я понял, что будущего не существует, что оно — жалкая дешевка по сравнению с настоящим. Я хожу по

улицам, как в тумане. Это настоящая большая любовь, господь ее благослови!

Когда мы умрем, пусть будет хоть светопреставление. Все равно, в то время уже не будет ни нас, ни любви. Но сейчас все изменилось для меня: по небу ходят розовые облака, солнце — не раскаленный газ, а теплое, веселое светило, мне всего тридцать лет, у меня прекрасная любовь и прекрасное пищеварение, на деревьях играют оркестры, и все люди скрывают от меня, что им завидно.

Наступил мой праздник. Я не скрою от Вас, что жизнь, в сущности, великолепна.

Я люблю Вас, Вы этого никогда не поймете — что я люблю Вас.

На ферме Лэси Вы сказали мне «*jamaïs*» — «никогда». А я говорю «навсегда — навсегда — навсегда»!

Я люблю Вас. Ничего Вы не понимаете: Целую Ваши руки и ноги.

Дюваль».

Эвелин Джой — Дювалю.
Ричмонд, 13 октября 1864 г.

«...Я сегодня сама пекла булки (мы приезжие и у нас нет билетов для получения хлеба). Страдаю от Вашего отсутствия. Как-то у меня все не «слава богу».

Сию дома, людей видеть не хочется. Окружающие очень удивляются, но я чувствую себя хорошо. Кажется, в Европе с таким настроением уходят в католический монастырь. Приезжайте скорее, очень хочу Вас видеть. Я пеку булки и думаю о Вас. Потому что я вас люблю и тоже кажется всерьез. Эвелин Джой.

Р. S. К Бусу каждый день ходят гости. В номерах грязь и беспорядок. Хочется плакать. Пришлите несколько ласковых слов вашей Эвелин».

Эвелин Джой — Дювалю.
Ричмонд, 18 октября 1864 г.

«...Я люблю. У меня было очень много поклонников, но по-настоящему — это первая большая любовь. Это злые шутки — потеряла сон, аппетит, спокойствие. До встречи с Вами я весила 63 килограмма, а сейчас я вешу 60 килограмм. Мне то грустно, то весело и все время я думаю о Вас. Вы очень далеко уехали. Я понимаю, что Вы не виноваты в том, что Вас неожиданно послали туда. Но все равно.

Сегодня чудесный день, но я его не замечаю. Вы должно быть меня не любите, если не приезжаете. Вы чудовище, но Вы самый милый, прекрасный, любимый. Если завтра не будет письма, — я повешусь. Ваша собственность Эвелин.

Р. С. Милый мой, я теперь буду играть Офелию. Может быть, лучше отказаться от этой роли? Бус говорит, что лучше отказаться»

Дюваль — Эвелин Джой.
Питерсбург, 21 октября 1864 г.

«...Какое мне дело, что Бус советует Вам отказаться? Если Вам Бус — советчик, то Вы можете мне не писать.

Я бы очень хотел, моя милая светлоголовая кукла, чтоб Вы играли Офелию. Мне это больше нравится, чем лэди Макбет. Будь я Гамлет, я отказался бы от мести и увез бы Вас за границу. Сумасшедший датский принц думал, что он будет ужасно счастлив, если убьет короля. В нем есть что-то от Буса.

Я хотел бы, чтоб Вы сыграли эту роль в честь меня. Если она у Вас выйдет — это будет факт в мою пользу. «Вы остры, принц, вы остры». С болью она говорила эти слова.

Я хорошо понимаю, что разделяющие нас бесконечные мили — большое препятствие, и что по почте любить трудно. Но если это настоящая любовь, то она, конечно, победит время и расстояние. Если нет — что же, я не буду иметь к Вам претензий. Я приеду не раньше марта. Я бы очень хотел, чтоб Вы поняли, как я рвусь к Вам — навсегда. Вот я вижу, как Вы ходите по моему дому, как Вы наступаете на кошку (проклятая близорукость!), потом Вы зовете меня на помощь. Только бы Вы не оказались испорченной девчонкой.

Мы отличаемся от янки тем, что мы умеем любить как большие люди — большой, старой, рыцарской любовью. У них это — лавочка. Целую Ваши толстые нос и плечи. Дюваль».

Эвелин Джой — Флоренс Мерриуотер, актрисе.
Ричмонд, 26 октября.

«Милая Лори, не дождусь, когда ты вернешься в Ричмонд. Долорес очень плохо справляется с твоей ролью, она вечно «под градусом». Позавчера она совсем забыла роль и вместо «чу, кажется идут, что мне делать — а! мой бог! — переоденусь» сказала «чу, мой бог идет, что мне делать — а! — разденусь». Счастье, что провинциальная публика смотрит только на наши ноги и фигуры. Долорес совсем сошла с ума — она до сих пор крутит с Монтэгом, не знаю, чем он ее увлек — у него нет ни денег, ни положения. Наша старуха Салли устроилась гораздо лучше, ее муж служит в министерстве и он все может — у них есть парижские модели и они совсем не едят картофеля. Ну, чудно, чудно! Милая Лори, мой Дюваль все еще в Питерсбурге и никто не читает мне философских лекций; Монтэг привел своих товарищей, здесь есть и моряки, и артиллеристы. Вчера ездили в карете в Эвергрин, ели и пили страшно в саду. Карета с верховыми, кажется, это карета президента. Я получаю доходы и скоро вер-

ну тебе твои 700 долларов. Ха! Ты удивляешься, что я так долго верна этому отсутствующему философу. Хочешь с ним познакомиться? Ну, ну, он премилый, я тебе не отдам его без драки. Он важный офицер, состоит при президенте и исполняет какие-то секретные политические поручения. Он очень скромный, но я уверена, что это не какой-нибудь Монтэг, а человек с большими связями. К тому же он хорошенек, мой полковник! Мне стоило трудов заполучить его, мне было очень стыдно, что он единственный не обращает на меня внимания... как на даму. Но я ведь лихая девушка, — и я его покорила в конце концов! Он вполне у моих ног. Люблю ли я его? Мне кажется, что люблю, хотя я не верю в чувства, но я их не стыжусь. Приезжай скорей, дорогая старушка Лори, целую тебя, твой Кошачий Коготок Э.»

Лейтенант Паттерсон — Дювалю.
В траншеях, 26 октября 1864 г.

«...и я был в отпуске, приехал в Ричмонд, но теперь вернулся к шестому Алабамскому, в грязь и огонь, и чувствую себя лучше, честное слово! Конфедерация — это фарс, в тылу идет драка за добычу, повсюду интриги, грубость, пышные фразы, нахмуренные брови, а мыльный пузырь скоро лопнет. Мы здесь сражаемся как звери, у нас сплошное отчаяние и голод. Зато у нас осталась душа. Генерал Ли заставляет нас молиться, мы отдаем нашу жизнь не за банду спекулянтов, а за дело справедливости, хотя, видит бог, как это трудно и насколько янки сильнее нас. Я слышал, что вы хотите жениться на актрисе. Поздравляю вас. Я понимаю, что ваш выбор не мог остановиться на обыкновенной женщине, должно быть, у этой женщины есть особые достоинства и я очень рад за вас. Теперь вы заживете, наконец, по-настоящему. Неважно, что она актриса, была бы у нее человеческая душа. Крепко жму руку»....

Эвелин Джой — Дювалю.
Ричмонд, 27 октября.

«...Сегодня я буду читать Ваше письмо перед сном, лежа в постели. Я могла бы Ваши письма читать с закрытыми глазами, но мне приятно видеть Ваши длинные «t», запятые, точки. Я буду представлять себе, с какими интонациями Вы бы все это сказали. Вот в этом месте Вы бы наверное меня поцеловали или взяли за руку. Где? У кисти, у локтя, у плеча? Я почти чувствую Ваше прикосновение. Милый, я близко-близко прижимаюсь к Вам и засыпаю. И когда засыпаю, то думаю о Вас — вот Ваша улыбка, и усы, и Ваши поцелуи. Как хорошо любить, раньше я не знала о любви, хотя меня любили. Спасибо Вам. Я люблю Вас всем сердцем, даже больше, чем родителей. Ваша Эвелин.

P. S. Хотя я не понимаю, как можно говорить о любви «навсегда». Это слишком романтическое».

Дюваль — Эвелин Джой.
Питерсбург, 30 октября.

«...Если Вы уже сейчас, сию минуту не знаете, надолго ли Вы меня полюбили, я не понимаю, зачем нам продолжать наши отношения. Я именно думал, что большая любовь — это и есть «навсегда», хотя бы это продолжалось не больше года. Я понимаю, что для Вас довольно дико, при вашей страсти к петушиным боям и к красивым мужчинам, выбрать такого человека, как я. Не увлечение ли это?

Шерман пропал в Георгии. Ходят слухи, что он испортил двести миль железной дороги и уничтожил громадные запасы, а сам потерял только одну повозку. Не сомневаюсь, что он дойдет до моря, и тогда нам конец.

Железный монитор «Элбемарль» уничтожен каким-то янки по фамилии Кашинг. Он выдумал новую адскую машину «Торпедо», которая состоит из двух громадных железных рук и взрывного аппарата, который, кажется, действует под водой. Он ночью подошел к «Элбемарлю», охватил его железными крючьями под водой и взорвал. Но он взорвал также и себя. Я не удивлюсь, если янки скоро начнут летать. В этой войне они закопаны не пороховым дымом, а каким-то... железнодорожным. Они залили Питерсбург металлическим ливнем из мортирных бомб и взорвали шестьдесят тысяч фунтов пороха каким-то особенным шнуром. Несколько фортов взлетели на воздух. Наш Брекиридж — дурак. Он думал взять Вашингтон с помощью кавалерии.

Дюваль».

Эвелин Джой — Дювалю.
Ричмонд, 5 ноября.

«...Вы не уверены во мне. Вы спрашиваете, не увлечение ли это. Я не хочу отвечать на такой вопрос. Я слишком горда. Сомневаться в Вас у меня не хватило бы (здесь зачеркнуто слово) мужества! Мне это показалось бы оскорбительным для нас обоих. Вы сомневаетесь в моей любви с большой буквы, в любви, которая кажется мне прекрасной. Это та любовь, о которой пишут стихи. А Вы сомневаетесь во мне! Да, да, все ваши примечания на полях также подтверждают это. Ах, все это причиняет мне миллион терзаний! Я даже не хочу Вас целовать. Ваша Эвелин.

P. S. Я раскаиваюсь и беру свои слова назад, но не все. Э.»

Эвелин Джой — Дювалю.
Ричмонд, 11 ноября.

...Моя радость, я никуда не хожу, никто за мной не ухаживает. Если мне становится скучно, я занимаюсь рукоделием или играю в бильбоке. Ты совсем потлупел и пишешь мне глупые письма. Видишь, как я терпеливо жду тебя — уже целый месяц. Бус уе-

хал на четыре дня, если б ты был здесь, ты мог бы поселиться в этой гостинице, и мы ходили бы гулять к мосту (помнишь?) и я поила бы тебя настоящим чаем. Он контрабандный. Кстати, о контрабанде: мы с Бусом поедем в январе в Вильмингтон на гастроли. Там есть салон какого-то Перкинса, в котором собираются «блокадные капитаны», там продают настоящие парижские модели. Боюсь, что письма просматривают, и как бы я не проболталась.

Ты очень хорошо написал про то, как ты живешь, но ты ребенок. За тобой надо смотреть, делать тебе сэндвичи и варить тебе кофе. Я знаю, что я все это сделала бы лучше, чем ты. Смотри, чтоб тебя не убило. Встретила одного старого дурака и ходила с ним целый вечер. Он говорит, что у меня очень дерзкий взгляд. Он очень любезный человек. Погода здесь великолепная. Целую, целую, душу в объятиях. Э.

P. S. Можно мне пойти в кафе с нашим первым комиком? Ему 54 года. Э.

Приписка на полях: Ты очень хорошо описал свою жизнь, но откуда ты приходишь так поздно? Э.».

Эвелин Джой — Дювалю.
Ричмонд, 24 января.

«...Тебя все нет. Дорогой мой, целую тебя крепко. Э».

Эвелин Джой — Дювалю.
Ричмонд, 1 декабря.

«...Это было ничего особенного. Просто катались верхом. Офицеры очень любезны. Вы сами просите меня болтать, а потом сердитесь. Очень Целую, даже губы распухли и болят. Э.».

Эвелин Джой — Дювалю.
Ричмонд, 23 декабря.

«...Ты пишешь, чтобы мои отношения с офицерами не заходили дальше определенных границ. Смотря кто будет устанавливать эти границы — ты, я или офицеры. Вообще, не учите меня, я сама знаю. Да? Скоро сочельник, у нас дамы собирают на подарки для наших серых героев под Питерсбургом. И ты получишь подарок, хотя ты не сражаешься в передовых траншеях, а выполняешь какие-то там секретные поручения. А лучше всего приезжай сам и ты получишь в подарок свою егзу Эвелин.

P. S. Хорошо, что ты убил нахального негра. Нельзя допускать, чтоб они забывались».

Эвелин Джой — Дювалю.
Ричмонд, 1 января 1865 г.

«...Милый, как нехорошо без тебя. Сердце стучит очень тревожно. Я напилась вчера (пишу об этом прямо). Сейчас пятый час дня. Наша субретка Лори лежит на диване в полубессозна-

тельном состоянии. Вокруг нее офицерская компания. Многие спят. Кто-то поет и подыгрывает на банджо. Ужасная тоска. Приезжай скорей. Э.

Р. С. С новым годом, мой родной!

Приписка на полях: На днях мы едем в Вильмингтон на гастроли».

Дюваль — Эвелин Джой.
Питерсбург, 1 января 1865 г.

«...Я знаю, что где-то в каком-то уголке сердца Вы неверны. Знаю, что, может быть, слишком глупо, что я спустился до пределов Вашего понимания; что Вы, может быть маленькое, лукавое существо. И все-таки верно, если Вы в самом деле любите, то Ваша любовь пересилит все препятствия и поднимет Вас до необычайных высот. Увидим, прав ли я, как мужчина, как солдат... Не в первый раз я ставлю на карту свою гордость и надежды...»

10. ТРИ БОГИНИ

Ветер нас гонит от скал берегов.
Эй, парни, распусти паруса,
И вновь канонады веселый рев
Услышат небеса.
На бизань поднимите, ребята, флаг
И жизнью каждый клянись,
Умереть за флаг — и узнает враг
«Не сдаваться» — наш девиз!

Хор:

Так дуйте до дна всю бочку вина,
Лети, лети, Алабама!
Пусть валит чорт нам бурю на борт,
Ура, ура — Алабама!

Песня конфедератов.

Салон капитана Перкинса в Вильмингтоне славился двумя особенностями: рулеткой и парижскими модами. Сообразно этому он делился на два разряда: в первом — общедоступном — заседали игроки и певцы, во втором — доступном только для рекомендованных лиц — сидели дамы и любители новинок.

Сонный, старый приморский городок Вильмингтон в Северной Каролине во время войны был перевернут вверх дном. Здесь собирались спекулянты со всего Юга, здесь они дожидались еженедельных торгов на импортные товары, и город кишел мошенниками и бандитами. Агенты и служащие различных компаний по провозу грузов через блокаду жили здесь по-царски, платя огромные суммы за «домашние расходы».

Популярность Вильмингтона среди контрабандистов объяснялась тем, что рядом с ним на побережье находились большие солеварни, огонь которых помогал капитанам быстроходных маленьких судов ночью пересекать Гольфштрём без поверки счи-

сления и «спускаться» по обратному течению без риска наткнуться на союзные крейсера.

Перкинс же пользовался популярностью благодаря гостеприимству и крайнему — до подозрительности — радушию, с которым он встречал любого гостя, имевшего сколько-нибудь благоприличную наружность.

В этот вечер в конце января 1865 г. капитан Перкинс был особенно любезен, что скрывало его величайшую озабоченность.

Во второй комнате салона находился майор Синклер. Он с ужасом вспоминал о цели своего приезда: у него в кармане лежал приказ об аресте Перкинса и всех находящихся в салоне. В инструкции, данной ему в Капитолии, рекомендовалось ранее проникнуть в салон под видом «доверенного лица» (для чего майору была вручена запечатанная рекомендательная записка) и, присмотревшись ко всем присутствующим, объявить об аресте внезапно, предварительно оцепив дом.

В первой комнате под стук шарика рулетки и возгласы крупные какие-то подвыпившие посетители тянули, не обращая внимания на играющих (в салоне капитана Перкинса подавались также спиртные напитки, но в благоразумно-умеренных количествах, ввиду присутствия дам):

В семье свободных штатов Юга
Мэриленд!
Давно пустует место друга
Мэриленд!
Но ты не услышал пушечный гром,
И песнь свободы тебе нипочем!
Мэриленд!
Мой Мэриленд!

Майор Синклер ходил от стола к столу, рассеянно глядя на игроков. Его внимание привлекала оживленная группа в углу. Несколько элегантных джентльменов, повидимому, «блокадных капитанов», окружало трех дам, из которых одна была одета в ковбойскую блузу, брюки и сапоги, другая, декольтированная до тех пределов, которые в шестидесятых годах считались вышедшими из моды, блистала множеством браслетов и ожерелий, а третья, — среднего роста женщина с пестрым пером, падавшим на пухлую розовую щеку, одетая в черный бархат с красным обшлагом, — могла считаться пределом мечтаний для бедного майора, прошедшего четыре года на фронте. Вдобавок, ему настойчиво казалось, что он ее где-то видел.

«Надо обратиться к Перкинсу», подумал он, но Перкинс куда-то исчез. «Но ведь это же неудобно, — продолжал майор про себя, — а все же удивительно приятное лицо». Тут майор схватился за карман и с горечью подумал, что через полчаса он обязан ее арестовать. Впрочем, последнее, по зрелом размышлении, даже придало ему храбрости и он начал подходить к оживлен-

ной группе, как вдруг Перкинс, пропадавший более четверти часа, наступил ему на ногу и отскочил с любезной улыбкой.

— Ах, — сказал майор, морщась от боли, — капитан Перкинс, скажите мне, кто эта дама там, в углу?

— О! — сказал Перкинс, напыжась и вибрируя всем телом, — здесь вы видите перед собой трех дам. Первая из них, — та, что в ковбойском костюме, — мисс Лори Мерриуотер, известная под именем Дейзи Джолли. Вторая, — та, что роскошно одета, — мисс Долорес Ортега, известная под именем «Прекрасной Метиски». И, наконец, третья, — отличающаяся необыкновенной грацией, — есть мисс Эвелин Джой, драматическая актриса. Которая из трех дам вас более всего интересует? А?

— Меня интересует именно третья — смущенно пробормотал майор, — ах, капитан, вы снова наступили мне на ногу! Куда вы меня тащите?

— Лэди и джентльмены, — воскликнул Перкинс, выставляя вперед беззащитного майора, — позвольте представить вам моего старого друга, — майор и Перкинс познакомились полчаса назад — известного майора Синклера, бывшего адъютанта знаменитого генерала Ли — здесь Перкинс сделал шаг в сторону, очертил широкую дугу правой рукой и низко склонился. — Пожалуйста! Пожалуйста!

Перкинс сделал три грациозных прыжка влево и замер в позе умиленной добродетели.

— Называйте меня Прекрасной Метиской, — сказала мисс Долорес грудным голосом, упирая руку в бедро и поднимая верху брови.

— М-м, — промямлил вконец сконфуженный майор, — я очень рад... э-э...

Наступило неловкое молчание.

— Я, кажется, слышал ваше имя, мадам, — брякнул майор отчаянным голосом, вперяя взор в Эвелин, — это было в Ри..

— Нет, господин майор, — сказала Эвелин, склоняя голову на бок и улыбаясь до того, что ее светлые глаза превратились в щелочки, — вы не могли его слышать.

«Понимаю, — подумал майор, — никто не должен знать, что она здесь!» — Какой прекрасный салон у Перкинса, — сказал он мужественно.

— Очаровательный, — промолвила Эвелин, — вот только капитан обещал нам сегодня новинки...

Капитан Перкинс очнулся от художественной истомы и всплеснул руками.

— Боже мой, — сказал он вполголоса, — лэди и джентльмены, прошу вас — и только вас, — последовать в соседний зал! Новинки есть! Всегда есть! Боже мой! О!

В соседнем зале какой-то седоусый джентльмен раскладывал по креслам и столам ткани, кружева и безделушки, от которых женщины пришли в восторг.

— О, я знаю, — закричала Дейзи Джолли, подбегая к столу, — что все из Парижа, не так ли?

— Совершенно верно, мадам, — поклонился усач, — я только недавно прибыл с грузом. Прошу обратить внимание! Перкинс! Где же ликеры?

Усач развернул ткань с жестом старого циркача.

— Вечерний туалет из фуляра «Капуцин»! Полосатая юбка вырезана большими зубцами. Из-под нее видна гладкая тафтяная юбка, того же капуцинового цвета, вышитая черным. К этому платью на шею бархатное колье, а в волосы черные бархатные банделеты, по которым разбросаны мелкие розы и полураскрытые бутоны капуцинов. Сен-Жермен и Фонтенебло!

— Здорово, — сказала Долорес, — заверните мне это. А это что?

— Фасон «Принцесса». Платье из нежно-розового муар-антик с длинным треном. К нему белая тюлевая шляпа Памела, с розовой отделкой, собранная буфами с бабочкой под полями. Прошу вас! Венсенн и Трианон!

— Великолечно, — сказала Долорес, — заверните. Дальше!

— Дезабилье из легкой фиолетовой ткани, с бархатными арабесками а la cosaque. К ней шляпа из тафты маисового цвета с черными кружевами, фасон «Весна Монмартра».

— Хорошо, — властно заявила Долорес, — пожалуйста....

— Заверните, — быстро сказала Дейзи Джолли....

— Дейзи Джолли, — произнесла Метиска голосом, сниженным до пронзительного контральто, — вам не к лицу «Весна»... этого самого — марта....

— Уверяю вас, Долорес, — отвечала Дейзи, — что именно вам она не к лицу.

Прекрасная Метиска уперла руку в бедро.

— Вы уверяете меня в этом? — сказала она медленно.

— Да! — крикнула Дейзи, — я вас в этом уверяю!

— Может быть, — сказала сквозь зубы Метиска, — вы еще станете утверждать, что мне не к лицу фиолетовое?

— Сэр, — вмешалась Эвелин, — нельзя ли мне взять это дезабилье?

— О, мадам... — Замялся усач, но Метиска решительным движением отстранила платье.

— Да, мисс Джолли, — сказала она резко, — пусть его возьмет Эвелин, ей фиолетовое к лицу. Дальше!

Усач вошел во вкус. Голубая креповая шляпа фасона «Императрица» сменилась белым тюлевым фуру, фасона «Евгения» и волосной шляпой, украшенной гирляндой майских роз (Монсо и Нейли!) Затем последовало платье и пардессю без рукавов из светлой тафты, отделка гипюр.

В первой комнате пели:

Настанет день, придет весна,
Мэриленд!
И ты воспрянешь ото сна,
Мэриленд!
Нет, ты не труп, ты жив, ты дышишь,
К оружию, к оружию, слышишь,
Мэриленд!
Мой Мэриленд!

Подали вино. Усач неистовствовал. Он перебрасывал по столу тарлатановые платья, юбки, отделанные стеклярусом, серьги-канделябры, брошки-мальтийские кресты, и флаконы «Девичьего молока», — превосходнейшего средства для сохранения свежести и цвета лица. Он уже перебрал все названия парижских предместий и перешел к бульварному кольцу. Перкинс блаженствовал.

Майор томился, вспоминая инструкции президента и пожирая взглядом приподнятые плечи Эвелин. Она мельком взглянула на майора и снова улыбнулась. Майор почувствовал замиранье сердца.

«Она замечательная» — подумал он.

— Вы здесь одна, мисс Эвелин? — спросил он, густо краснея.

— Кто? Я? Да. Нет. То есть, мы вместе с Бусом.

— Кто это Бус? — замер майор.

— Джон Уилькс, — пояснила Эвелин, — не слышали? Актер. Вон там. Играет в рулетку.

— Не знаю, — сказал майор.

— Ну! Бус! Неужели вы не видели его в «Макбете»? Он прыгает с высоты шести футов в шпорах. Ну вот! Не видели. Это тот Бус, который... ну, вешал Джона Брауна.

— Ага, — сказал майор, — ваш муж?

— Нет, — засмеялась Эвелин, — не муж, но...

«Понимаю, — подумал майор, — не муж, но... Да где он, этот Бус?»

Бус сидел в соседней комнате. Его нахмуренная восточная физиономия не предвещала ничего хорошего.

«Я привлекательней, — подумал майор, — ну ладно. Так кто же — Бус или я?»

Здесь майор опустил руку за борт суровой военной куртки и вспомнил о приказе. «Надо кончать», — подумал он тоскливо.

Умеренные напитки, подаваемые в салоне капитана Перкинса, начали действовать на публику.

В «салоне» плавала синяя муть. Сигары курились сплошной синевой. Маленький брюнет с толстой шеей и бакенами возвышался над столом в свете люстры из трех ламп, под синим абажуром. Он кричал монотонно и почти подряд.

— Игра, игра, джентльмены! Игра, джентльмены! Прошу вас! Ставок больше нет! Внимание!

Звенел металлический шарик, слышался подавленный шопот.

— Тринадцать и семь, колонка! Нечет, красные!

— Игра, игра, джентльмены! Прошу вас! Ставок больше нет! Внимание! Два и шестнадцать, колонка! Чет, черные! Игра, игра, джентльмены!

Изящная линеечка, украшенная рядом монет, взмывала над столом.

— Расчет! Шесть — ноль! Банк, джентльмены! Внимание! Получите.

Линеечка легко порхала по столу, как дирижерская палочка, сгребая и рассовывая монеты.

— Меня здесь нет, — сказал какой-то мальчик с длинным носом, подходя к Перкинсу.

— Понимаю! — задохнулся капитан, — о! понимаю! Родители!

— Я плевал на родителей, — сказал мальчик.

— О? — изумился Перкинс, — вы это делали?

— Перестаньте шутить. 1515 тюков хлопка брошено на рынок по повышенной цене. Я утверждаю, что Батон-Руж наполнен хлопком, который южане продают северянам.

— О! — воскликнул Перкинс, — как непатриотично!

— Перестаньте шутить! Мистер Бенджемин, государственный секретарь, прислал мне копию приказа о моем аресте и фактуру на тысячу кип хлопка. «Сестра Маргариты» завтра пройдет через блокаду.

— Сам государственный секретарь!

— Слушайте. По всей стране ищут хлопок с огнем.

— Зачем?

— Не валяйте дурака! Чтоб продать его янки.

— Не может быть!

— Сейчас цифра проданного хлопка достигает двухсот миллионов долларов гринбэками. Из одного Батон-Ружа вывезли его на сумму около тридцати миллионов долларов. Нехватает бумажек! Платят золотом. Президент отдал приказ уничтожать хлопок, чтоб не достался янки. Но уже нечего уничтожать. Весь хлопок уже у янки.

— Ну?

— Вы начинаете понимать, Перкинс? Вчера Бенджемин отправил тысячу кип в Вильмингтон. Знаете как? Воинским поездом.

— Поразительно!

— Как вы думаете, хорошее у меня положение?

— Хорошее. Арестантов недурно кормят.

— Вы осел! Я агент Бенджемина. Вот фактура за его подписью. Сколько я стою?

— О! Тридцать процентов комиссионных пока вас не повесили!

— Меня никогда не повесят. Пускай повесят государственного секретаря.

— Говорите коротко, что вам нужно, — пробасил Перкинс.

— Сто гринбэков на 6 дней, чтоб расплатиться за рулетку.

— Обеспечение!

— «Сестра Маргариты» завтра пройдет через блокаду. Вот фактура.

— Франко?

— Франко Бостон.

— Не дам, — твердо сказал Перкинс.

Любопытной чертой в биографии толстого, мягкотелого, задыхающегося от возвышенных и самых добродетельных чувств капитана Перкинса была слава лучшего контрабандиста и самого неустрашимого налетчика в южных штатах. Когда-то он был грозой всего побережья от бухты Сантьяго до мыса Код. Это был тот самый Перкинс, который дважды провозил контрабанду на правительственных фрегатах США и который впоследствии окончил свою жизнь в двух шагах от кирпичной стены, окружающей таможенное здание Вильмингтона, по случаю расстрела его южанами.

— Почему вы не хотите оказывать мне кредит?

— О! — сказал Перкинс, покатываясь всем своим корпусом, похожим на студенистую массу, заключенную в фантастический жилет, — на шесть дней! Конфедерация не простоит и четырех дней.

— В таком случае я сейчас покончу с собой в соседней комнате, — сказал длинноносый мальчик, вынимая из кармана пистолет.

— Пять... пятьдесят долларов, — заикаясь пробормотал Перкинс.

— Сто гринбэками. Прощайте!

— Пятьдесят долларов, — а? — сказал Перкинс, потя.

— Сто!

— Сколько вам лет? — спросил Перкинс.

— Девятнадцать.

— В вашем возрасте я еще ходил в школу, — задумчиво сказал капитан и полез в задний карман сюртука.

В этот момент внимание майора Синклера было привлечено шумом в противоположном углу.

Дейзи Джолли и Прекрасная Метиска поспорили из-за англо-китайской войны. Суть спора заключалась, впрочем, не столько в самой войне, сколько в том, что в группе моряков, окружавших Эвелин Джой, красавица Дейзи, глазевшая на Эвелин с раскрытым ртом, неуклонно оттеснялась куда-то локтем Прекрасной Метиски. Дейзи почти свалилась со стола и, метнув злобный взгляд на Метиску, в свою очередь перешла к наступательным действиям. И тогда прекрасная Долорес, неотступно следившая за Эвелин своими томными глазами, оказалась на коленях у своего соседа. Хотя сосед ничего не имел против, но Долорес была явно возмущена поступком Дейзи. Она встала и решительно уселась снова на стол. Впрочем, еще через несколько минут Метиска обнаружила, что Дейзи, подавшись вперед, на-

стойчиво заслоняет ей Эвелин. Долорес сердито дернула подругу, но та через минуту заняла прежнее положение. Теперь они сидели обе, пыхтя и навалившись друг на друга, старались вытеснить одна другую со стола. Кто-то заметил это неудобное положение и предложил перейти в другую комнату. Но красавицы и там не могли примириться. Один из капитанов сказал что-то насчет последней англо-китайской войны. Дейзи поддержала его и заявила, что она, во всяком случае, на стороне китайцев. Долорес, небрежно обмахиваясь веером, заметила, что она не понимает этого вкуса к «цветным». Тогда Дейзи возразила ей, что в Гальвестоне ей случалось встречать «премиленьких китайцев». Долорес ответила, что она вообще считает поведение ее подруги в Гальвестоне не подлежащим обсуждению в гостиной. На что Дейзи отвечала визгом и вцепилась в волосы Прекрасной Метиски. Та же, ухватив подругу за горло, трясла ее прекрасной смуглой рукой, украшенной браслетами. Затем Дейзи вытащила из кармана штанов миниатюрный дамский «бульдог», с перламутровой ручкой, а Метиска достала такой же «бульдог» из-за корсажа. Противницы открыли стрельбу, перепрыгивая и прячась за столами. Дым наполнил гостиную. В промежутках между выстрелами слышался монотонный голос крупье.

— Игра, игра, джентльмены! Ставок больше нет! Внимание! Три и одиннадцать, колонка! Нечет, красные! Игра, игра, джентльмены!

Одна из пуль раздробила часы на камине, одна угодила в ляжку болонке капитана Перкинса, которая умчалась со страшным воем. Две пули попали в окно, а еще одна, отлетев рикошетом от зеркала, подкатилась к ногам Эвелин Джой.

Когда дым рассеялся, обе противницы стояли друг против друга, удерживаемые по меньшей мере двенадцатью моряками. Дейзи скалила зубы и шипела. Метиска задирала голову, бросая надменные взгляды из-под полузакрытых век.

Неизвестно чем кончилось бы событие, если б новая сцена не положила конец предыдущей. Капитан Перкинс появился в зале, опираясь всей своей тучной промадой на руку майора Синклера.

— Внимание, джентльмены, — сказал он растерянно, — произошло нечто ужасное. Спокойствие, джентльмены! Увы! Все находящиеся в этом помещении арестованы...

— Что такое? — завопил брюнет с баками и полез в жилет. Игроки машинально отвернули полы сюртуков. В одну секунду не менее пятнадцати пистолетов заблестали над столом.

— Увы, джентльмены, — задыхался Перкинс, — все это напрасно. Я умоляю вас подчиниться. Получен приказ — ох! — от президента об аресте всех. — Перкинс прижал платок к глазам. — Дом окружен кавалерией. У входа стоят две небольшие пушки... Умоляю вас, джентльмены...

Арестованные были под конвоем препровождены в здание военного управления Вильмингтона. Их было около тридцати человек. Впрочем, несколько минут спустя из здания военного управления стали появляться отдельные фигуры. Медленно прошел Бус, пыхтя сигареткой и кутаясь в плащ. Вслед за ним появились две фигуры в обнимку. Это были плачущие Дейзи Джолли и Прекрасная Метиска. Они, целовались и утешали друг друга. На углу к ним присоединилась третья фигура — длинноносый мальчик. При виде их он стал в позу.

— Говорите, что угодно, прекрасные вильмингтонки, — сказал он сурово, — но не говорите мне о крушении Юга! До встречи в Ричмонде!

И он удалился, мурлыча только что услышанную песенку:

Три богини спорить стали
Раз вечернею порой,
Кто из нас,
Они сказали,
Всех прекраснее собой.
Эвоэ! Богини эти...

11. ЗАБЛУЖДЕНИЯ МАЙОРА СИНКЛЕРА

«Все знают, что такое гвозди, но никто не знает, что такое любовь».

Оливер Керри.

На следующий день после ужасного разгрома заведения полковника Перкинса можно было видеть майора Синклера, в глубоком раздумьи шагающего по улицам Вильмингтона.

— Надо выяснить, в каких она отношениях с Бусом, — бормотал майор, — надо принять меры.

Дело в том, что майор провел бессонную ночь. Первая половина ночи была посвящена малоприятному разбору дел, находившихся в салоне. Больше всего было возни с самим Перкинсом. Он внезапно утратил свой расплывчатый вид и стал непроходимым, как каменная стена, у подножия которой окончил впоследствии свою жизнь. При нем были обнаружены документы, которые явно говорили о том, что добродушный Перкинс кроме контрабанды занимался шпионажем.

Вторая половина ночи ушла на разговор с актрисой Эвелин Джой, которая на допросе расплакалась и заставила майора собственноручно поить ее водой и развязывать какие-то шнурки на корсаже. К утру у майора закружилась голова и он отпустил Эвелин под тем условием, что обязательно придет к ней в гостиницу в тот же день. На прощанье Эвелин посвежела, улыбнулась, и, глядя в окно, майор долго наблюдал за тем, как она прыгала через лужи, подобрав юбку.

— Школьница, — усмехнулся майор, — как жаль, что она актриса. Эта профессия развращает. Но в ней много наивности и непосредственности. А Бус...

Это слово бросало майора в какой-то мрачный скептицизм. — Да... С женщинами надо действовать по-военному. Военные потому так часто успевают у женщин, — размышлял майор, — что они действуют решительно, чего нельзя сказать о прочих. Я прямо приду и спрошу...

Эвелин жила в номере в гостинице «Эксельсиор», на втором этаже. Комната была вся затянута коврами, с бесчисленным количеством мелких диванчиков и кресел. На стене висела полуголая девушка в золотой раме с надписью «Невинность», а под ней президент Дэвис. На стене висел список всех предметов в комнате, с указанием стоимости каждого из них. Над кроватью торчал газовый рожок и шнурок с надписью — «один раз — горничная, два раза — коридорный, три раза — буфетчик».

Кровать была двуспальная с массой подушек.

Эвелин стояла у письменного стола и собирала какие-то бумажки. При виде майора она схватила кучу бумажек, бросила ее в угол и протянула майору обе руки.

— Я не ждала вас так рано, мистер Синклер, — сказала она.

— Не зовите меня «мистер Синклер», — ответил майор, — зовите меня... Гарри.

— Ого! — засмеялась Эвелин, — как скоро! Мне не нравится ваше имя — Гарри...

— А мне нравится ваше имя — Эвелин, — искренно ответил майор.

Эвелин прищурилась. Зубы у нее были великолепные, загар не сходил и зимой. И смеялась она изо всех сил, беззвучно и хитро, и вся жалась от удовольствия.

— Садитесь, майор, — сказала она, — я не знала, что вы такой... шутник... aussi sot¹, как говорят во Франции...

— Вы французенка, Эвелин? — спросил майор.

— Я же вам говорила, что моя мать — креолка, — рассмеялась Эвелин, — я выросла на плантации в этом... в Батон-Руже...

Она ходила по комнате мелкими шажками, крепко стуча каблуками.

Майор следил за ней.

— А зачем здесь такая большая кровать? — спросил он грубо.

— А? Кровать? Я не знаю.

— Не знаете! — удивился майор.

— Ну так полагается в гостиницах! А зачем здесь список всех вещей? Ну вот....

Эвелин ткнула пальцем в список.

— Например — вы сидите на кресле, а оно стоит пятьдесят долларов. Или вы берете песочницу, а она стоит пять долларов. Все это нужно знать, правильно? Или вон та мисс на стене.

— В самом деле, почему вы ее не снимете?

Эвелин хитро покосилась на «Невинность».

¹ «Sot» по-французски значит «дурак».

— Я пробовала, но они не позволяют. Она стоит двадцать два доллара вместе с рамой. Я к ней привыкла. Ну, или еще что-нибудь. Сама не знаю, что...

Эвелин топотала по комнате. Она остановилась у окна и провела пальцем по стеклу.

— До-ождь, — сказала она печально.

— Ну-да, зима, — промычал майор.

— А?

Майор хотел еще что-то сказать, но промолчал. Он хотел как-нибудь узнать, в каких она отношениях с Бусом, но не знал, как это сделать. Потом он вспомнил о цели своего визита и еще больше замялся.

— Я должен вам сказать... важное, Эвелин, — произнес он.

— А? Важное? Ну говорите.

Эвелин повернулась спиной к окну. Нога в бальной туфельке легко ударилась в ковер...

— Ну же...

Майор тяжело дышал. Эвелин смущенно дергала за шнурок портьеры.

— Сядьте здесь, напротив меня, Эвелин, и я скажу.

Эвелин уселась в кресло и устремила свой пристальный взор на «Невинность».

— Форт Фишер взят, — неожиданно сказал майор.

Эвелин посмотрела на него испуганно.

— Как взят? Совсем?

— Совсем, — сказал майор с отчаянием. — Пять дней назад говорили, что его атакуют. Но я знал, что его возьмут.

Эвелин оттянула ножку.

— Значит, Вильмингтон в опасности?

— Я думаю, что вам следует уезжать немедленно, — сказал майор.

— Форт Фишер близко от Вильмингтона?

— Недалеко. Я убежден, что дело Юга может спасти только один Ли. А погубить — только один...

— Я знаю — Гуд, — быстро сказала Эвелин и важно кивнула головой.

— Нет, Джефферсон Дэвис.

«У нее идеальная нога, — думал майор, — правда, она слишком крепка для женщины. Это оттого, что она танцует.

— Он способен допускать ошибки, — отвечала Эвелин, — но он не такой. Он другой. Он — я сама не знаю...

— Дэвис... — презрительно сказал майор. — Единственный настоящий человек в Конфедерации — это Ли. («Что я говорю, — думал майор, — зачем я свернул на эту ложную дорогу. Что за глупый разговор»).

— Нет, — серьезно продолжала Эвелин, — нет. Вы его не понимаете. Он — такой. Когда он выходит к народу. Я помню его в

детстве, когда он приезжал в Луизиану. Он всегда такой... усталый. Такой, понимаете?

— Да, — серьезно сказал майор, — это вам кажется. Он просто неспособен. Следовало бы сосредоточить все управление военными делами в руках Ли.

— Нет, — упрямо ответила Эвелин, — ваш Ли... он... он... никуда не годится!

— Как, не годится? — тихо спросил майор, — это Ли никуда не годится?

— Да, он совершенно никуда не годится! Совершенно никуда!

— Быть может, вы хотели бы видеть Дэвиса на месте Ли? — язвительно улыбаясь, сказал майор.

— Вы знаете, — отвечала Эвелин, глубоко вдыхая в себя воздух, — я думаю, что всякий писарь... на месте Ли имел бы больше успеха.

Майор побледнел.

— Всякий писарь! Может быть, всякий талантливый писарь, но только не бесталанный мистер Дэвис!

Эвелин задохнулась и вскочила с кресла.

— Джефферсон Дэвис — лучший из людей Юга. Да. Он — вы не понимаете....

— Я понимаю!

— Конечно, вы не можете понять, — грустно говорила Эвелин.

— Чего я еще не могу понять, Эвелин?

— Да... Вы не можете понять. Вы не можете понять Юга.

— Вот как! Ага...

— Да, да. Если б вы могли понять... Я выросла на плантации в Луизиане, и там теперь никого нет, одна мать, одна среди сотни негров...

— Причем тут плантация! — вскричал майор. — Мы говорим о принципе!

— Вы не можете понять. Вы из Кентукки. Вы живете очень близко к янки. Вы почти янки. Все янки не могут этого понять.

Майор вскочил.

— Я — янки?! Как вы могли это сказать, Эвелин!

— Да, да. Дэвис — он тоже с Юга. В нем нет этой пуританской нетерпимости.

— А по-вашему все кентуккийцы отличаются пуританской нетерпимостью?

— Нет. Вы плохо спорите. Вся армия держится на Дэвисе.

— Бросьте вы, — говорил майор, стараясь казаться спокойным, — бросьте вы ваши довоенные луизианские фантазии...

— Луизианские фантазии! — Эвелин округлила глаза и дернулась, как будто в нее бросили камнем. — Как вы могли сказать это, Гарри!

— Я не о том. Я не о вас. Я о Дэвисе. Он...

— Я говорю вам, Дэвис — южанин. Какие бы он ни совершил ошибки, все это во имя Юга...

— Но доказательства, доказательства! — кричал майор. — Практически! Доказательства!

— Доказательства? Хорошо! Я сейчас вам принесу доказательства! Я вам покажу «Ричмондский Ежедневный Вперед»!

Эвелин выбежала из комнаты.

«Плевать я хочу на «Ежедневный Вперед», — думал майор, расхаживая по комнате. — Терпеть не могу женской манеры спорить...»

Майор несколько раз сердито дернул за какой-то шнурок. В коридоре послышались шаги, и густой бас спросил из-за двери:

— Простите, мадам, вы спрашивали горничную, буфетчика или коридорного?

— Я никого не спрашивал, — рывкнул майор, — причем здесь буфетчик!

Кто-то тихо прыснул за дверью.

«Дэвис... — думал майор, с ненавистью глядя на портрет, — с его высоко гуманными идеями о рабстве... Боже мой!..»

Майор злобно пнул ногой кучу бумажек в углу. Оттуда выкатилась кокарда Северной армии.

Майор рассеянно поглядел на надпись на кокарде: «Навсегда Дюваль».

«Боже мой, — подумал он, — зачем я сюда пришел. Зачем этот идиотский политический спор? Куда я залез?»

В эту минуту вбежала Эвелин с газетой.

— Вот, — возбужденно заговорила она, — читайте! Вот! Здесь!

— «Хотите ли вы иметь недорогой, прекрасный кофе? Возьмите обыкновенную картофельную шелуху и смочите ее универсальным цикорным экстрактом «Победа»...

— Нет! Ниже!

— «Миссис Шарлотта Шаторенар с глубокой горестью извещает о смерти четвертого и последнего сына Эдвина Шаторенар, павшего смертью героя на поле битвы при Хэтчерс-Рэн»...

— Да нет, ниже! Рядом с передовицей!

— «Виргиния — благородный штат, вынесший на себе все невзгоды войны, предназначена провидением к тому, чтобы вести за собой все штаты Юга. Я клянусь душой и сердцем...» Уберите от меня эту дрянь, Эвелин!

— Это дрянь? Боже мой! Но вы... — Эвелин остановилась в ужасе.

— Продолжайте, Эвелин!

— Вы... — Эвелин закрыла глаза, — вы — анти-сецессионист!

— Старо, старо, — взвыл майор. — Но вы говорили о доказательствах. Где же они? А? Где доказательства? А? Нет, нет, доказательства!

— Вас... вас надо повесить. Вы... вы подозрительный!

— Раньше надо повесить генерала Роберта Ли!

— Да! Надо его повесить!

— Ха-ха-ха, — сказал бледный майор, пытаюсь показать, что его смешит эта мысль, — но раньше надо повесить армию Северной Виргинии!

— Да, да! Надо повесить всю эту армию!

— Ха-ха-ха, — угрюмо продолжал майор, — но кто же будет защищать Ричмонд от янки? Кто его будет защищать, я вас спрашиваю?

— Кто его будет защищать, я вас спрашиваю, — машинально кричала Эвелин, размахивая «Ежедневным Впередом», — то есть, это вы меня спрашиваете, а я вам отвечаю! Его будет защищать Джонстон!

— Эвелин, — вне себя простонал майор, — вы географию знаете? Знаете вы географию или нет?

— И после этого, — говорила Эвелин, не открывая глаза, — и после этого вы приходите ко мне и хотите, чтоб я называла вас Гарри...

— Где же доказательства, — вопил майор, бегая по комнате, — доказательств-то и нет! Вы надули меня с доказательствами! Вы говорите, что у вас есть доказательства, но у вас нет доказательств и вместо доказательств...

— Оставьте меня, — визжала Эвелин, не обращая никакого внимания на майора, — я прошу вас, оставьте меня, сию минуту, прошу вас, оставьте меня, Гарри...

Она топала каблучками и трясла руками над головой. Прическа ее сбилась набок, и щеки покраснели.

— Нет, я требую, — басил майор, — и я настаиваю!..

— Уходите сию минуту, — отвечала Эвелин, — как вы смеете!

— И уйду, — крикнул майор, — и больше ноги моей не будет в этой гостинице...

Он выбежал и остановился в коридоре. Тут он вспомнил, что оставил в номере шляпу. Долго он раздумывал, стоит ли возвращаться обратно, но заглушенные всхлипывания, доносившиеся из номера, заставили его решиться.

— Ну, — сказал себе майор, — по-военному! По-военному!

И дверь номера закрылась за ним.

В ту же ночь майор Синклер уезжал из Вильмингтона в военном поезде. Молчаливый майор ощущал какую-то удивительную легкость, словно он вчера вечером чокнулся с фортуной, и в голове его вертелись шальные и нежные мысли, полурастворенные в легком тумане безграничной удачи. Он растянулся на скамье, почти напевая. Поезд дал крен на закруглении, и голова майора склонилась набок. Он устал, он был слегка пьян.

«Ну и вот, — думал он, — что там было... Ах, да Эвелин Джой! Перкинс. «Навсегда, Дюваль»... Почему «навсегда». Должно быть, она была любовницей этого дурака... Конечно, такую редко встретишь... Какие формы. Сколько в ней изящества...»

Поезд дернулся, майор встал и подошел к окну, его качнуло, он снова упал на диван, закинул голову на спинку. Кончик сапога блестел, и майор его восхищенно разглядывал.

«Скоро ли... скоро ли... ах... миллион терзаний...»

Служащий прошел по вагону и прикрутил газ. Майор ещё ходил в конец вагона и на обратном пути, облегченный, улыбаясь, долго рассматривал надпись: «пожалуйста, закрывайте дверь».

Наконец он устроился на диване и, покачиваясь в такт поезду, напевал, жмуря глаза и торжественно обращаясь к Эвелин на «ты».

— Эвелин, я тебя... Нет, пустяки... но все-таки она была моя. Редко встречаешь. Эвелин, я...

Но уже в этот момент мысли переменялись и даже зазвучали как музыкальный мотив. Фонари выскочили откуда-то снизу и прокатились полосой по сеткам, медным поручням и плюшевым диванам. Поезд подхватил слова Синклера «Эвелин Джой! Эвелин Джой! Тара-та-та! Тара-тата!» и, глухо вздыхая, отбрасывал назад черные ночные поля Виргинии.

Майор в упоении откинулся назад. Он вытянул ноги, нежно погладил себя по бедру и полюбовался стройностью своих ног. Он мысленно представил себе, как он кланяется, щелкает шпорами, подбрасывая туловище, потом делает ловкий шаг в сторону и опять щелкает шпорами.

Он подмигнул самому себе.

— Вот это кусочек! Эвелин Джой! Актриса!

Под ложечкой приятно засосало. Майор устроился поудобнее и задремал.

Эвелин Джой — Дювалю.
Ричмонд, 17 января.

«...Вчера мы вернулись из Вильмингтона обратно в Ричмонд. Ты уже, конечно, знаешь, что форт Фишер взят, а сегодня наверно пал и Вильмингтон. Бедный Перкинс! Ты предлагаешь мне приехать в Питерсбург, но я предпочитаю ждать тебя в Ричмонде. С Бусом я сама разделаюсь. Я понимаю, что много будет разговоров и слез. Это неизбежно, и поэтому не очень меня пугает. После свадьбы мы уедем прямо в Миссури к твоим родственникам. Познакомилась с одним офицером по имени Синклер. Слышал ты такое имя? Он очень любезный. Родители его очень влиятельные люди в Кентукки. Почему ты так долго не писал? Лори шлет привет. Целую, Эвелин».

Дюваль шагал по знакомым улицам Ричмонда. Он намеренно старался не убыстрять шага. Этим утром он, наконец, вернулся с фронта.

Питерсбург был накануне падения. Офицер, с которым он расстался на станции, битком набитой ранеными и умирающими, на прощанье пожал ему руку и сказал:

— До свидания в лагере для военнопленных.

В Ричмонде было пусто и тревожно. Лавочники закрывали окна и ворота большими деревянными щитами. Поперек улицы валялись лошадиные трупы. Ветер трепал обрывок афиши с портретом президента Дэвиса.

Ветер гремел вывесками. Холодный пронизывающий ветер с залива — и прямо в лицо.

«Кажется, он старается меня вернуть», — подумал Дюваль.

Он остановился под навесом табачной лавки, чтобы взглянуть на письмо Эвелин от 17 января.

— Гарри Синклер! Что ей делать с этим дураком и трусом! Благородное происхождение!

В гостинице «Эксцельсиор» он спросил у портье номер комнаты актрисы Эвелин Джой. Портье, ухмыляясь, назвал номер.

Дюваль начал подниматься по лестнице. На повороте он увидел внизу портье, который фыркал в кулак.

Уже издали Дюваль услышал голоса. Он приоткрыл дверь и остановился.

В номере густыми облаками плавал табачный дым. Огарки свечей горели в канделябрах. Эвелин стояла посреди комнаты, полураздетая, с бутылкой. Она смеялась протяжным, низким смехом, которого Дюваль никогда не слышал. Перед ней на одном колене стоял офицер в расстегнутом кителе и громко пел какую-то арию. На диванах валялось человек шесть офицеров и среди них вертлявая субретка Лори с растрепанной прической. Один офицер неподвижно сидел у окна на стуле и глядел на Эвелин глазами мутными и тоскливыми от ревности. Это был майор Синклер.

При появлении Дюваля все замолчали. Офицер в расстегнутом кителе поднялся и отошел к столу. Эвелин выронила бутылку.

— На одну минуту, — сказал Дюваль.

Эвелин вышла, шатаясь. Дюваль закрыл дверь.

— Я приехал за вами, — хрипло сказал Дюваль.

Эвелин посмотрела на него невидящими глазами.

— Прошу вас... — пробормотала она испуганно, — придите в четыре часа. Мне надо с вами поговорить.

— Сейчас, — едва проговорил Дюваль.

Эвелин жалко улыбнулась.

— Сейчас нельзя, я упаду, — сказала она тоном опереточного комика.

В четыре часа Дюваль вошел в гостиницу «Эксцельсиор».

Он направился прямо, наверх, но, дойдя до поворота, услышал голос портье:

— Извините, сэр, вам записка.

Дюваль развернул клочок бумаги и прочитал: «Я вышла замуж за майора Синклера. Дальнейшие отношения между нами невозможны. Я начала новую жизнь. Эвелин Джой».

Дюваль расхохотался. Портье смотрел на него с удивлением. — Сцена из «Травиаты». Есть у вас чернила? — спросил Дюваль.

Он разгладил бумажку, зачеркнул адрес «Полковнику Дювалю» и написал «Мистеру Бусу, артисту драматических театров».

Внизу он приписал:

«Пересылаю Вам письмо одной небольшой актрисы. Готов дать объяснения. Дюваль».

— Передайте мистеру Бусу, — сказал он портье и вышел.

12. ВИРГИНСКИЕ НОЧИ

Я плачу и грущу — где найти мне подругу,

О, Сузиана!

Если хочешь девушку и — хейо!

Если хочешь девушку и — хейо!

Если хочешь девушку — спускайся к Югу

О, Сузиана!

Негритянская песня.

Ночь на 3-е апреля 1865 года прошла беспокойно. С полночи грохотал обоз, ржали лошади.

Дюваль приподнял занавеску на окне. По улице неслись фургоны. Их сопровождали всадники с фонарями. Во мраке путались построжки. Фонари металась и чадили. Лошади давили людей. Улица была запружена серыми тенями. Отдельные всплески доходили до стен и разбивались о них.

— Она жила со всеми, — сказал Бус из глубины комнаты, — с актерами, с офицерами, с директором театра, с первым комиком. Не было хитрости, на которую она не пошла бы. Она очень трезво рассчитывала и никогда не ошибалась.

— Где вы с ней встретились?

— Это было в Филадельфии, на премьере «Отелло». Она уже слышала про меня и знала, что я из хорошей актерской семьи и что у меня хорошие связи. В той сцене, где Отелло уносит Дездемону, она сделала вид, что лишилась чувств и мне пришлось донести ее до уборной. Там она отослала камеристку и заставила меня греть ей ноги, — у нее изумительные ноги, — а мне было девятнадцать лет. Раньше я не обращал на нее никакого внимания, и это ее раздражало, но теперь она буквально лезла из кожи. Я ей поцеловал ногу. Она притворилась оскорбленной и пригрозила пожаловаться родителям. Повидимому, я все же раскачивался туго, потому что потом она почти силой заставила меня стать ее сожителем.

— А сколько было тогда ей?

— Восемнадцать. Знаете, я думаю, что она могла бы командовать армией.

— Это труднее, чем вам кажется.

— Я не раз предлагал ей обвенчаться, но она отказывалась. Уже в конце того же сезона она нашла себе нового покровителя — это был Дэл Райт, которого вы видели в роли тюремщика в «Макбете».

Дюваль фыркнул.

— Ей нужно было положение. Она мне говорила, что ей бы очень хотелось выйти замуж за президента Дэвиса.

— Но почтенный джентльмен женат и добродетелен, как пресвитерианский поп!

— Она говорит, что это ничего не значит. Она видела всякие виды. Один из кабинета министров увлекался ею почти полгода.

— Однако!

— В том-то и все дело, мистер Дюваль! В том-то и все дело! Она не раз плакала и говорила, что она из бедной семьи, что она сбежала из дому, на самом деле, отец ее был мелким почтовым чиновником в Северных Штатах, что она сама должна делать себе жизнь и что она ее сделает любой ценой. Это человек большой злобы и упорства. Она плакала искренне.

— Верю.

— Настоящие герои украшали своими именами ее список. Она попадет в историю!

— Вряд ли, — весело сказал Дюваль, — ну, если попадет, то по специальности...

— Но ведь я — Бус, первый актер американской сцены.

— Да, это общественное бедствие, — смеялся Дюваль, — и это вы долгие годы состояли при мисс Джой в качестве...

— О, не стесняйтесь... в качестве украшения! Но я был отвлечен большой идеей.

— Какой?

— Убить тирана.

— Простите, я плохо разбираюсь в ваших терминах, — усмехнулся Дюваль, — какого, бишь, тирана?

— Авраама Линкольна.

Дюваль замер у окна. Где-то грузно всколыхнулась земля, и большой столб медного пламени возник над Пемброк-стрит. Стекла зазвенели торопливо и мелко.

— Смотрите изо всех сил, — сказал Дюваль, — больше вы этого никогда не увидите. Это крушение Юга.

Бус опустил голову.

— Вы считаете, что моя идея сумасбродна?

— Нет, — сказал Дюваль, — с этой женщиной покончено навсегда. Умоем руки и займемся делами. Ваша идея не сумасбродна. Наоборот, она как нельзя более своевременна.

Бус встал и отбросил кресло.

— Не правда ли? На самом празднике победы приходит роковое возмездие!

— Дорогой мистер Бус,— сказал Дюваль,— возмездие не придет. Справедливость — это нечто большее, чем убийство президента.

— Значит, вы все-таки считаете мою идею нелепой?

— Нет. Переходите на сторону победителя. В Нью-Йорке есть много влиятельных лиц, заправил страны, которые были бы не прочь избавиться от Линкольна. Когда им нужно было разорить Юг, «старый Эби», адвокат и сын фермера, радовал их взор. Теперь, когда победа одержана, «старый Эби» больше не нужен. Больше того: он опасен. Я глубоко сожалею о трагедии Линкольна. Его жизнь, жизнь человека, который, может быть нехотя, открывает страшные клапаны народной злобы,—заслуживает описания.

— Так вы думаете, что можно дать сигнал?

— Самое время. Это будет ваш лучший театральный выход. Буря рукоплесканий!

— И вы думаете, что они этого хотят?

— Без сомнения. Вы думаете, что они предпочтут революцию?

— Тогда,—торжественно сказал Бус,—я должен вам сказать, что все уже готово. Я не сидел без дела все эти годы. И я очень прошу вас присоединиться к нам.

Дюваль пожал плечами.

— Надо бросить Ричмонд и отправиться в глубь Штатов. Надо переменить тактику, нападать ночью, разить из-за угла и заставить их пожалеть о том, что они заняли Юг.

— Значит, вы согласны?

— Поедем вместе,—сказал Дюваль,— что мне делать?..

Бус подал ему руку.

— Последний акт,—рассмеялся Дюваль, глядя в окно,—еще через час будет поздно. На дворе стоят оседланные лошади.

2-го апреля 1865 года Джефферсон Дэвис, находясь на утренней службе в церкви св. Павла, получил депешу от генерала Ли, который извещал его о падении Питерсбурга и о необходимости отступить в ближайшую ночь. М-р Дэвис оставил свое церковное кресло весьма спокойно. Но уже около одиннадцати началось странное оживление на улицах. Шум, движение, громохание обозов и скрип повозок наполнили все послеобеденное время. На заходе солнца банды мародеров появились на главных улицах. Ночь превратилась в подлинный ад бегства. Перед тем, как чиновники оставили город, были отданы приказы о сожжении арсеналов и всех правительственных учреждений. Алкоголь выпускали прямо в водостоки. Склады взлетали на воздух, и обломки падали на окружающие дома Ричмонда и залетали даже за реку, в Манчестер. Сотни пылающих балок превратили ночь на реке в день, проносясь сверкающе.

щими каскадами под высокими перекрытиями постов, пониже горящих городов.

На следующее утро среди грохота взрывов и падающих домов на улицах Ричмонда был слышен упрямый рокот копыт северной кавалерии.

В переулках Манчестера громадная толпа штурмовала казенные винные склады. Рослый детина с двумя револьверами в руках вел за собой человек двести.

— Ура,—весело кричали в толпе,—открывайте ворота! Эй, ты, наемник янки! Снимай засов! Проклятые аболиционисты! Конец войне!

По улицам неслись подводы, нагруженные имуществом. Сверкали трюмо, качались детские коляски, уныло дребезжали пианино.

В это время Дюваль и Бус выехали на конях из Ричмонда по дороге к Линчбургу. Дюваль обернулся и, глядя на горящий город, сказал с улыбкой.

— «*Sic semper tyrannis!*»¹. Хорошая подпись под картиной!

9-го апреля 1865 года, в шесть часов утра северяне окружили армию Северной Виргинии. Генерал Ли ехал рысью мимо оборванных рядов своих пехотинцев, лошадь его поднимала низкую струю светлой пыли, гражданская война в Америке кончилась, и генерал Ли, рассматривая вблизи федеральную кавалерию, стоявшую поперек улицы в деревушке Апоматокс, вяло сказал своему спутнику:

— Если бы здесь был Дюваль... Но он пропал куда-то...

Жеребец генерала Ли заплясал перед зданием в Апоматоксе, почуяв кобыл в рядах союзной кавалерии. Какой-то негр, сияя улыбкой, сдержал лошадь генерала. Генерал перекинул ногу через седло. Кавалеристы с уважением смотрели на три большие звезды, украшавшие его воротник. Эти три серебряные звезды на фоне Апоматокса были как концовка на шелестящей странице американской истории.

За сутки перед этим посланец генерала Ли близ Апоматокса нашел генерала Гранта в палатке. Грант лежал на земле, расстегнув воротник и вздев к небу свою спутанную бороденку, усыпанную крошками. Рядом валялось несколько пустых бутылок из-под виски. Генерал Грант был именно в таком настроении, когда он мог потерять несколько тысяч человек в бесполезной лобовой атаке. Генерал Грант был пьян.

Впрочем, в последнее время он уверял, что даже виски не помогает ему забыть о гражданской войне.

В углу палатки копошился какой-то вашингтонский газетчик. Он уже три раза зарисовал генерала Гранта в этой позе и теперь смотрел на посланца глазами испуганного зверка. Ге-

¹ «Так всегда тиранам».

нерал успел уже несколько раз назвать его «вонючим идиотом» (от газетчика пахло гелиотропом) и пытался бросить в него бутылкой, но не достал.

— Ну! Кто!

— Полковник Райан.

— А,—Грант попытался повернуться, — ну! Ответил?

Грант схватил бумагу.

— Дерьмо! Какой слог! Как будто партию соленой свинины продает: «Спешу уведомить»! Что тут написано?

— Генерал Ли просит...

— Стоп,—заревел Грант,—выбросите к чортовой матери дерьмо! Вон! — Корреспондент выбежал, присел за палаткой и начал писать в записной книжке:

«Мужественная стойкость республиканца в эту ответственную минуту... Генерал бунтовщиков спешит уведомить... не заботясь о своей наружности... запыленные сапоги... как всегда звездное знамя нации...»

— Генерал Ли просит свидания. Он не может согласиться на капитуляцию без предварительного обсуждения ряда вопросов...

— К чортовой матери! Он не может! Можно подумать, что он что-нибудь! Слушайте! Не может! Должно быть он хорошо спит! Напишите ему, что я его жду! Чорт! Да напишите же ему! Я прошу его прекратить эту канитель!

И услышав возобновляющийся гул пушек, Грант буркнул, закрывая глаза:

— Скажите этим идиотам, чтоб они перестали стрелять. Я хочу заснуть хоть на десять минут. Гражданская война кончилась.

9 апреля 1865 года в шесть часов двадцать семь минут утра Ли соскочил с лошади. Фермер Мак-Лин, в доме которого в Апоматоксе должно было состояться свидание, снял шляпу и провел генерала на крыльцо. Это был небольшой виргинский дом, кирпичный, с верандой, колоннами и балконом во весь верхний этаж.

Жена Мак-Лина стояла на балконе с тремя детьми в позе семейной фотографии и, волнуясь, глядела, как ее муж действовал на исторической сцене. Дом был уже продан утром. В эту минуту фермер торговался из-за дерева, к которому подкупленный двумястами долларов негр привязывал лошадь генерала Ли. Негр щелкнул языком вслед генералу. Апрельское солнце присутствовало в Апоматоксе, пробиваясь через густой вяз, и играло пятнами на армейских пуговицах. Спутник Ли подобрал саблю и проследовал за ним, звеня шпорами. Одна из его шпор вышла белым пятном на пластинке у фотографа гражданской войны Брэди, который был уже здесь с тремя помощниками и корреспондентом «Нью-Йоркской Трибуны». Хлопнула дверь.

К Мак-Лину подошел какой-то субъект с остроконечной бородкой.

— Почему мебель? — сказал он деловито.

В небольшой комнате налево от входной двери уже находился весь штаб Гранта, — дюжина бородатых людей в широкополых шляпах с лицами пресвитерианских проповедников. Все стояли, один Грант сидел за круглым столиком, на котором миссис Мак-Лин раньше держала семейные карточки.

На балюстраде тщедушный газетчик, развязав галстук, смотрел круглыми от робости глазами. Хозяин появился рядом с ним с приходе-расходной книгой в руке, вытирая пот со лба.

Генерал Ли появился на пороге, придерживая рукой саблю. Генерал Грант встал. Генералы пожали друг другу руки. Штабные неуклюже приложили руки к шляпам. Наступило минутное молчание. После этого генерал Грант повернул короткую шею и заревел как бык:

— Чорт возьми! Дайте стул! Скажите этому идиоту фермеру, чтоб он продал мне еще один стул! Я ему дам двадцать долларов!

Мистер Мак-Лин с грохотом исчез с балюстрады. Подали стул. Пока генерал Шеридан отсчитывал фермеру двадцать долларов, газетчик записывал, свесив свой длинный, бледный нос:

«Генерал Ли был одет в полную форму, совершенно новую, и имел при себе саблю большой ценности, очень похожую на ту саблю, которая была ему подарена штатом Виргиния; во всяком случае, эта сабля сильно отличалась от тех, которые обыкновенно носят в поле. В своей грубой дорожной одежде, в форме рядового со значками генерал-лейтенанта на плечах, в запяленных сапогах, Грант представлял из себя странный контраст с человеком так прекрасно одетым, шести футов ростом и безукоризненно сложенным.

В десять часов тридцать минут генералы вступили в беседу о временах старой армии. Генерал Ли заметил, что он хорошо помнит Гранта в старой армии; на что генерал Грант ответил ему, что и он, конечно, прекрасно помнит генерала Ли, но из-за разницы в чине и возрасте он полагал, что, будучи в армии, он не мог привлечь внимание генерала Ли настолько, чтоб тот вспомнил его после такого большого перерыва...»

В этом месте у газетчика сомлела рука и он высунулся с балюстрады, чтоб запомнить позу генерала для рисунка.

Генерал Ли сидел за столом спиной к окну, наполовину скрытый колонной лестницы. Он вежливо наклонился вперед, воротнички его сияли. Генерал Грант смотрел в окно и, видимо, наслаждался погодой и приятным собеседником. Штабисты стояли черной стеной, вытянув руки, и все смотрели прямо перед собой. Спутник Ли стоял, прислонившись к стене, и с любопытством разглядывал полковника Илай Паркера, чистокровного индейца, которого он, повидимому, принимал за негра.

«Генерал Грант с увлечением говорил о годах, проведенных в академии Вест-Пойнта,— писал газетчик,— и вспоминал сделанную работу. Вспоминал также разные обстоятельства жизни академии. Седина Ли поразила его. Он вспомнил и свои годы и пожалел о прошедших.

Тут генерал Ли прервал его и обратил его внимание на те условия, которые генерал Грант предлагает его армии. Генерал Грант с неудовольствием сказал, что он просто хочет, чтобы армия Северной Виргинии положила оружие.

Генерал Ли ответил, что он так и понял письмо Гранта».

После этого Грант взял у Илай Паркера перо и бумагу и стал писать:

«Апреля, 9... Офицеры армии Северной Виргинии принесут присягу в том, что они не поднимут оружия против вашингтонского правительства, и каждый командир части даст такую присягу за людей его части. Все офицеры сохраняют право взять себе своих собственных лошадей и все свои личные вещи...»

Ли заметил, что его армия организована несколько иначе, чем армия Соединенных Штатов; в его армии все кавалеристы и артиллеристы имеют собственных лошадей. Грант ответил, что всякий, желающий взять с собой лошадь или мула, сможет их взять, потому что наступает весна (Грант посмотрел в окно), а война так избородила землю, что вряд ли они сумеют посеять что-либо без помощи лошадей.

Затем генералы поднялись и штабные проповедники снова приложили руки к шляпам. Тогда генерал Ли отцепил саблю и изящно, эфесом вперед, протянул ее Гранту. Грант посмотрел на свои запыленные сапоги и сказал тронутым голосом:

— Оставьте себе вашу саблю, генерал. Она не нужна Соединенным Штатам.

Когда генерал Ли вышел из дома фермера Мак-Лина, солнце уже играло на всех черепичных крышах Апоматокса. Пахло весной, и дальние силуэты артиллеристов с банниками в апрельском дыму казались переснятыми с бледной фотографии.

Через полчаса Ли скакал назад к своей армии, сопровождаемый полковником Маршаллом. На дороге, перед деревней, он встретил бешено летящий обоз. Ли велел осадить. Сзади еще распутывали наполозавших друг на друга лошадей, когда Ли поднял руку и сказал напыщенно, но искренно:

— Друзья! Война закончена. Только что я подписал капитуляцию армии Северной Виргинии. Я это сделал не из недоверия к вам. Но и ваша преданность и долг не могли удержать меня от желания прекратить бесполезное пролитие крови. Остановитесь. Завтра вы пойдете по домам и постарайтесь быть такими же честными гражданами, какими вы были честными солдатами...

Ли остановился, чувствуя, что исторический момент использован.

В эту минуту в задних рядах кто-то закричал «ура». Там не было слышно ни слова, но по жесту генерала подумали, что он произносит одно из своих обычных обращений. Самая фигура генерала Ли внушала восторг. «Ура» — раздавалось все громче. Какой-то сержант отчаянно рубил саблей направо и налево, восклицая:

— Ура! Да здравствует! Да здравствует!

Задние стегнули лошадей, под их напором тронулись и передние. Обоз снова полетел. Красные лица кричали с выпученными глазами:

— Ура! На Линчбург!

Кто-то махал рукой, дико взвизгивая: «Стоп! Не то! Не то!»

— Долой янки!

Обоз лихо промчался и исчез за поворотом.

Ли прищипорил свою лошадь.

— Поражение (defeat), — сказал он сухо.

Апрель месяц в Виргинии цветет и бушует всеми весенними красками. Теплый поток Гольфштрема, вырываясь из-за Флориды, проносится мимо мыса Гаттерас и делает Виргинию раем. Апрельская изотерма Виргинии резко падает на юг. Средняя температура весны в Виргинии $+25^{\circ}$. В садах прибрежной полосы распускается азалия и черное камедное дерево, на горах рододендрон и горный лавр. На болоте появляется желтоголовая ночная цапля и маленькая голубая цапля. В лесах оживает мускусная крыса и опоссум, который в шестидесятих годах еще не переводился у самого устья реки Памунки. Белая ольха предгорий сменяется на равнине восковым миртом, в лесах Виргинии растут брусника, дикий рис, ямс, остролист и дикий инбирь.

В Виргинии много садов; утопающих в акациях, жасмине и пышных перьях трубоцвета, от которого идет терпкий запах. Виргиния разводит хлопок, маис и табак. Табаком покрыты грядковые поля всей прибрежной полосы: отсюда идет знаменитый «виргинский табак», богатство первых колонистов Америки. Его настаивают на меду и прогревают на солнце сквозь шелк. Он имеет рыжий цвет и крошится между пальцами в жирные волокна. Это лучший табак для трубок.

Но опора виргинской плантации не табак, а негры. Их разводят, спаривают, размножают, откармливают и продают на хлопковые поля Нового Орлеана. Виргинские негры — лучшая прислуга в изнеженных помещичьих домах французских креолов. Они образованы, благовоспитаны, музыкальны и набожны. Когда в Виргинии наступает вечер, и в небе поднимается апрельский месяц, эта экономическая опора штата высыпает на пороги своих тростниковых хижин, и все сады оглашаются звуками банджо:

На верховьях Свэни, на реке
Я оставил родину,
Сердце негра мечется в тоске!..
Хор: Эй! Он оставил родину!
И с тех пор во сне и наяву
Я оставил родину,
Старую плантацию зову.
Хор: Эй! Он оставил родину!

Дальше гортанный хор подхватывает неожиданно и довольно дико:

Эй, Билл, и Берт, и Дик, и Дайк,
Он оставил родину!
Эй, Мэри, Минни, Молли, Мэдж,
Навсегда..

Негритянский рай цветет и грустит. В тон грустит садовая иволга. Грустят на веранде томные помещичьи дочери. Негритянские юноши во мраке, волнуясь, гладят лоснящиеся плечи откормленных негритянских красавиц, которые назначены им по расписанию еще за неделю. Наконец, они тащат их в глубь садов. Никто им не мешает, ибо они укрепляют экономическую мощь штата. Жирная пища, масса цветов и покорные любовные вздохи рабов наполняют виргинские сады.

На карте Истен Кука Виргиния закрашена особенно густым черным цветом: это значит, что негров в ней больше, чем белых.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Возмездие

13. ГОЛОД¹

Но сердца все те же и страсти те же.
Люди внутри и снаружи все те же,
Не лучше, не хуже — все те же лица людей
И та же любовь и красота и обычаи те же.

Уот Уитмен².

1

Стался туман. И чайки залетали в окна.

На Гудзон-ривере гудел пакетбот. Тяжело кричали грузчики. Длинные трубы дымили среди леса мачт.

Все тот же туман. И тот же вездесущий Уитмен, толстый, ленивый лежал на деревянной кровати. Он рассматривал вишневою раскраску стен и пятна от разнообразных насекомых.

¹ К сведению уитменианцев: в главах об Уитмене сознательно смещены некоторые био- и географические подробности.

² Все стихи Уитмена даны в переводах К. И. Чуковского.

А чайки клевали на столе остатки жалкого завтрака, разбросанные по старой пожелтевшей газете.

Уот Уитмен девять раз менял свой угол. Угол с окном выходил на галерею, под которой плескала тяжелая, как масло, малиновая вода.

И дочь хозяйки, печальная Оркиль, проходя с лотком, всовывала в окно русую голову и, водя крутом вечно подозрительными серыми, кошачьими, ковыми глазами, говорила все также хрипло:

— Доброе утро. Вы знаменитый?

— Нет, Оркиль,— отвечал Уитмен,— заходите после обеда.

Оркиль уходила и, встречая на лестнице между двумя галереями французского юнга в брюках, похожих на паруса, спускала с плеча платок и грустно обнажала неприличную картинку, вытатуированную на плече.

— Оэ,— говорил моряк,— девочка! Очень хорошо. Я вас люблю. Мы пойдем. Э, девочка?

— Руки долой,— задумчиво отвечала Оркиль,— и не надейся. Мой отец швед. Я дочь хозяйки. Может быть, уговоришь мать. Почему платил за шарф?

— Нет?— говорил моряк,— не понимаю. Шарф возьми себе. Один раз поцелуй.

И Оркиль уходила с шарфом, раскачиваясь на мускулистых ногах, коренастая, с волосатыми руками и затягивала хриплым голосом:

Мы варили пиво Летучему Голландцу.

В городе как сумасшедший богател Седж. Дети его выезжали уже в коляске цугом. Старик ходил пешком, и под цилиндром вертелся его стеклянный глаз. Надо было уничтожить Фильда. Надо было разгромить Фильда. Надо было консолидировать всю систему и заставить фондовую биржу отказаться от Фильда. Избавиться от него. Раздавить Фильда.

Гудел пакетбот, уходящий в Европу. Цепями стояли грузчики. В суде тянулось дело железнодорожной компании Ла-Кросс Мильуоки. В обвинительном акте стояло: «облигации упомянутой железнодорожной компании выпущены только с целью оплаты мнимых долгов должностных лиц и агентов названной компании или их друзей, что явствует из заявления акционера Флеминга. Люди, поставленные для руководства компанией, в интересах акционеров, как например некий Рессель Седж, руководят ею в собственных интересах. Они становятся поставщиками, почти разоряют компанию; сами оплачивают себя из актива, списывая со счета огромные суммы, затем начинают сначала, а в результате становятся богачами».

Прекрасно жили дети Седжа. Они не потратили даром свою молодость. Они жили без бурь и без морали. Они плыли над законами и правилами и в гражданскую войну они отсиживались в Европе. Они покровительствовали стихам и давали со-

веты. Многие любили их. Они жили, одеваясь в меру и не употребляя в пищу рыбы. У них было много буфетов.

Понятно также, на чем держался Фильд. Фильд держался на надземной железной дороге. Протаранить Фильда можно было только биржей. Судом до него не доберешься. В суде у него сидит Чэндлер.

Седой Уитмен встал с деревянной кровати и сказал: «Вы Уитмен? — Да, я Уитмен. — Много ли вам нужно? — Нет, мне немного нужно. Я не люблю рыбу. — Что вы можете предложить? — Я поэт? — Вы поэт? — Я поэт. — Вы поэт? Я знаю с десятков Уитменов, но не знаю поэта Уитмена. Покажите ваши стихи. Почему в них нет размера и рифмы?

— Два доллара и десять центов, — сказал Уитмен, — хотите я продаю дыру в Скалистых Горах?

— Слушайте, — гаркнула в окно Оркиль, — приходите смотреть, как я буду купаться. Вы ведь думали тут все время обо мне.

— Нет, — сказал Уитмен, — не о вас.

— Врете вы, — хрипела Оркиль, — вы тут раздели меня и опять одели раза три. Но это ерунда, потому что, кажется, мой отец был швед.

«Инкорпорированная в 1852 г. железная дорога Мильвоки — Орикон, в 1868 г. была доведена до конкурса Вашингтоном Гентом и Расселем Седжем и в июле 1868 г. уступлена ими дороге Чикаго — Мильвоки — Сент-Поль».

Нищие выбирают всегда стойки баров и кассы веселых загородных садов. Я Уот Уитмен. Не стою у входа на фондовую биржу.

Размышления! Туман клубится в комнате (соседи вешают белье над каналом). Матросы складывают в трюме пласты палтуса, один на другой. (Новоприбывшие эмигранты толпятся на пристани). Бурлаки кричат, чтобы им дали канаты. Я Уот Уитмен. Давно не ел мяса. Я седой.

2

Летописцы будущих веков,
Ступайте сюда, я скажу вам, что написать обо мне.

Он предпочел бы конкретное. Именно, отдых на берегу реки. Песок будет набиваться между пальцами босых ног и веселить тело весь день, мелко пересыпаясь под рубашкой. К обеду жареную свинину.

И, не вспоминая о том, что ему сорок лет и что все еще впереди, он будет есть свинину, все также весело и пригласительно глядя на людей и не отказываясь от беседы.

Женщины будут замечать его, и он не будет сторониться их, зная, что может позволить себе все это.

Это будут роскошные сорок лет, озаренные бурным огнем молодости. Старшая дочь Седжа где-то сказала, что поэтам лучше

голодать, потому что, когда они голодают, они лучше едят. И она прибавила, что голодать нужно только до сорока лет.

Дети Седжа гордились своим отцом. Они давали советы. Конечно, не всякий может подкупить Уэстбрука и добиться кассации дела о тихоокеанских акциях. Но всякий может рассчитывать на счастливый случай и миленький домик под вязами Бронкса.

О, пышно-цветущая зрелость! Уитмен будет выходить на ступени и садиться на коня, на котором он никогда не ездил. Любимый друг придет к нему, и он спасет друга от банкротства. Он не будет гнать молодых поэтов и, читая их стихи, не будет досадливо и недоуменно спрашивать: «Чего же вы хотите от меня? Я не издатель».

Нет, он скажет жене: «Дай им сладкого чаю с белым хлебом. Они любят сладкое и давно его не ели».

И он спросит: «Где вы живете? На чердаке?» — потому что нищие любят, чтобы их жалели.

Они будут робко хватать белый хлеб красными руками и жадно смотреть на варенье и остатки хлеба. И делать вид, что их не интересует ни хлеб, ни варенье, а только поэзия и ритм.

Они будут думать, что для славы нужна только молодость и одаренность. И он не напомнит им о том, как добился славы Седж, потому что им далеко до сорока лет и они могут броситься в канал.

В канал, с малиновой водой, с чайками и туманом. Потому что это только Уот Уитмен, сын космоса, сын Манхаттана, живет без дела над каналами, спит на ободренных койках и ест с пожелтевшей газеты рыбу, которую он не любит, и любит женщин, которых он не хочет, думая о деньгах, когда они спят с ним рядом, и обманывая их, когда они встают.

Пусть будет конкретное. Угол пусть будет тихий, а жена добродушная. (Он любит жареную свинину, а женщина чтоб была с большим телом. Ботинки же развязывает левой рукой и ею же гладит левую бровь).

3

И вот у меня перед взором нет ни Америки, ни Европы. Все прошлое, завершенное, отступает куда-то во мрак, Надвигается огромное будущее, идет и идет на меня

Он пляшет на ялике и видит, что женщина на пляже Лонг Айленда, пробуя ногой воду, подбирает юбку до щиколотки, и он говорит: «Как прекрасна нагота».

Или он поднимается к северу, по Бродвею к Медисон-парку, и пролетки дребезжат вокруг него и люди-сэндвичи бегут, неся на спине жирные буквы «Ароматичный кофе Иост и Сыновья. Остерегайтесь подделок». И дома громоздят четвертые и пятые этажи, тыкаясь в небо сиротливыми брандмауэрами и слуховыми

окнами. На крышах битое стекло и оно горит на закате. И она говорит: «как прекрасна столица».

Или он сидит на берегу канала, летают чайки, горят в сумерках желтые фонари, и Оркиль вылезает из сомнительной воды голая, вся покрытая выравненными пороховыми похабными рисунками и, стыдливо прикрывая шею, хрипло кричит ему: «два доллара» и хлопает себя по ягодицам. И он говорит: «как прекрасна девственность».

Его друг, старый зубной врач в жилете камышевого цвета, как-то раз сидел у него на койке (это было в воскресенье) и говорил:

— Слушайте, Уот, бедность и бесславие образуют заколдованный круг. Я тоже когда-то был молод и мне было 34 года, но впоследствии я убедился, что нельзя думать, что талант открывает дорогу. Дорогу открывают хорошие связи и коммерческая пронырливость.

Уитмен отвечал:

— Я глубоко убежден, Мак Свини, что наступает золотой век. Америка идет к счастью. Европа также. Наступит время величайшей демократии. И ко мне в дом придут люди, и я не откажусь от беседы. Я это говорю не как фантазер, а как биржевик. Я предвижу величайшее падение всех акций. В школах будут висеть портреты: Вашингтон, Линкольн и Уитмен. Дети будут спрашивать, кто это Уитмен? — и родители скажут:

— Уитмен — это дерево, это трава, это улицы, это пение стрелы в прериях, это Бруклинский мост, это вечерняя трапеза и звук колокола над озером Ири.

— Он умер? — спросят дети.

— Нет, — скажут родители, — он растворился.

— Вы бредите, Уитмен, — сказал Мак Свини, — ни живая собака не читала ваших стихов. Каждое воскресенье вы угощаете меня этой белибердой. Если вы и достигнете благополучия и ваши длинные стихи начнут читать все, то это будет много спустя после нашей смерти. Впрочем, кажется, так и полагается, чтобы поэты выходили в люди после своей небольшой и никому не видной смерти. Я говорю вам: бедность и бесславие образуют заколдованный круг.

4

Трофеи нынешних дней: нежный кабель Атлантики
И Суэцкий канал и Готтардский туннель и Бруклинский мост,
Всю землю тебе принесу, как клубок, обмотанную рельсами,
Наш вертящийся шар принесу.

Его осенило в 1854 г., когда он лежал на пустынной груде песка, называемой Кони-Айленд.

Он написал книгу и издал ее. Он ее набирал. Сам печатал и рассылал. В этой книге говорилось про все конкретное.

Мак Свини различал два вида умов: общие и географические. Мозг своего друга он называл географическим. Его друг знал

названия всех пород ястребов и присматривался к выставленному в окнах, включая «Кофе Иост и Сыновья».

Это объясняется тем, что Мак Свини был близорук и подавлен и все вещи воспринимал как некое дополнение к собственному «я».

Книга вышла. Ральф Вальдо Эмерсон написал Уитмену письмо, в котором говорил, что книга превосходит все созданное до тех пор в Америке.

Эмерсон был сентиментален и любил сочувствовать молодым дарованиям. Все девушки в Иллинойсе и мальчики на Западе присылали ему стихи, и он отвечал всем.

Уитмен закрыл Парнас. Он писал о керосине и газе, о кабелях и туннелях, о конке и о битом стекле, горящем на крышах больших городов. Он писал о конкретных вещах этого мира и о сосках его могучих женщин.

Отзыв был в «Вестминистерской газете». Коротко: «разврат и куча навоза».

Во время войны Уитмен работал в лазарете и складывал отрубленные руки в большую кучу на дворе под деревом. Он молчал.

После войны он поступил на службу.

В пивной у Пфаффа истомленные бессонницей газетчики глотали брэнди и обменивались анекдотами.

Свинберн писал о фиалках, а Эмерсон о Красоте.

На улице грохотали омнибусы, и кланялись фонари. Лупоглазый Нью-Йорк толкался на узкой гранитной площадке между Гудзоном и островком, на котором еще не стояла статуя свободы. Пароходы из Европы еще несли ирландцев и евреев. Туман клубился в порту.

Уитмен шагал как бык, напружив шею, он нес свои двести фунтов, свою бороду и пунцовый румянец. Никто его не знал.

5

О, капитан! Мой капитан! сквозь бурю мы прошли,
Изведен каждый ураган и клад мы обрели,
И гавань ждет, шумит народ, и звоны многошумны,
И все глядят на твой фрегат, угрюмый и безумный.

Но сердце! сердце!
Кто кровью запятнал
Ту палубу, где мертвый
Мой капитан упал?

О, капитан! Мой капитан! ликуют берега,
Восстань! Все флаги для тебя, тебе трубят рога,
Тебе цветы, тебе венки, к тебе народ толпится.
Тебя зовет, тебе несет взволнованные лица.

О, капитан! моя рука
Под милой головой,
Нет, это сон, что ты упал
Холодный, неживой.

Газ шипел в сетках и партер сладко пахнул духами, апельсинами и пылью.

Красные плюшевые портьеры колыхались на золоченых ярусах. Оркестр настраивался. Зажглась рампа и засияли желтым нарисованные на занавесе пышные кисти.

Капельдинер провел Уитмена запасным ходом. Под большой ложей стоял отдельный стул, на котором было написано «пожарный».

На улице перед запасным ходом цветной мальчик держал оседланную лошадь и от скуки плевал, стараясь попасть в подножие статуи Лафайета.

Раздался стук. Капельдинер убавил газ. Занавес ушел вверх, в золоченый дым ярусов.

Давали «Нашего американского кузена». Мэтьюс вышел с букетом в руке и завел разговор в прихожей. Это была комедия Тома Тэйлора с эксцентричным миллионером, поездным вором и прекрасной девушкой, которая оказывается единственной наследницей.

Вдруг в партере раздался гул. Вспыхнул свет. Раскрашенный Мэтьюс подошел к рампе и бросил букет в соседнюю ложу. Партер поднялся.

В ложе, украшенной звездно-полосатыми знаменами и портретом Вашингтона, стоял сухопарый верзила. Задевая головой бахромю ложи, он кланялся и улыбался. Рядом с ним усаживалась дородная дама с лицом тети Хлои из «Хижины дяди Тома».

Оркестр заиграл «Ура вождю». Офицеры вытянули руки по швам.

Линкольн простер руку к просцениуму, приглашая садиться. Партер сухо зашуршал шолком.

Снова зажглась рампа. Выступили деревянные бритые лица, лайковые перчатки до плеч и сияющие воротнички офицеров.

Грузное тело Уитмена с наслаждением опустилось на стул. Мэтьюсу подали из-за кулис другой букет.

Партер потрескивал крахмалом, шевелил нафабранными усами, пахнул гелиотропом и фиалкой, блистал погонами и бакенбардами. Партер праздновал победу. Партер радостно недоумевал. В Америке впервые были только одни Штаты. Только Северные. Начиналась эра процветания.

Первое действие развертывалось полным ходом. Мэтьюс уже поссорился с теткой, а Карпентер выхватил пистолет.

Тетка упала в обморок. Суфлер перелистывал страницы. Карпентер наводил пистолет, мрачно ворочая актерскими белками.

Грянул выстрел. Пронесся резкий звук рвущейся ткани. Какой-то человек выпал из ложи на сцену. С высоты шести футов он упал на колено, с трудом поднялся, сверкнул темными восточными глазами и, размахивая кинжалом, закричал:

— *Sic semper tyrannis!*¹

К ногам Уитмена звеня скатилась его шпора.

Из ложи высунулся офицер. Подняв в воздух окровавленную руку, он рявкнул: «держите его! Он застрелил президента!»

Раздался женский визг. В партере захохотали опрокидываемые стулья. Несколько офицеров выскочило на сцену. Но Джона Уилькса Буса уже не было. Он знал театр Форда как свой родной дом. Он выбежал запасным ходом на улицу, оттолкнул негритянского мальчика, державшего лошадь, и галопом понесся вверх по Нью-Йорк авеню, направляясь к переправе через Потомак.

Тогда Уитмен почувствовал голод.

6

Да, в моих песнях не только покорность,
В них и мятеж, и взрыв,
Ибо я верный друг каждого бунтовщика во всем мире,
И кто хочет идти за мною — позабудь об уютах и буднях,
Каждый час ты рискуешь своей головой.

Плавал туман. Летали чайки.

Уитмен подошел к своему углу. Там все было разгромлено. Белье валялось на полу.

Два полицейских чиновника взламывали стол. Они даже не обернулись. Уитмен сел на койку.

— Держи, Джим. Ну-ка еще. Еще. Так. Вот она.

Полицейский достал книгу и, обернувшись, спросил.

— Это ваша книга?

— Моя, — ответил Уитмен.

Это были «Листья травы» с отзывом сентиментального Эмерсона на обложке.

— Предписание министра внутренних дел, — сказал чиновник. — Безнравственность, наглое бесстыдство и грязь. Министр узнал, что вы и есть тот Уитмен. Вы уволены со службы.

Уитмен добродушно и молчаливо покачал головой. Полицейский смотрел на него, задрав голову.

На следующее утро Оркиль всунула в окно свою русую печальную голову и хрипло закричала:

— Уитмен, мама сказала, чтобы вы сейчас же уходили с квартиры. Между прочим я уже не девушка, а женщина. Я вчера вышла замуж за красивого моряка. Была драка и он свалил шестерых. Я уже не девушка, хотя, может быть, мой отец был швед. Сматывайтесь сейчас же.

¹ «Так всегда тиранам». Леопольд Гийяр в «Gazette de France» от 30 апреля 1865 г. писал: «Я знаю только одно убийство, украшенное латинским изречением, но это было во Флоренции, в XVI в. Лоренцино убил своего кузена Александра Медичи и оставил около трупа записку — строчки Виргилия о Бруте: «Vincet amor patriae immensa laudumque cupido».

— Безнравственность и грязь? — спросил Уитмен.

— Да. Вы не верите, что я была девушка?

— Я верю, Оркиль, — сказал Уитмен, наклоняясь за чемоданом.

И он ушел. Клубился туман. Огромная туша шла по мосткам Нью-Йоркского порта с чемоданом на плечах и со шпорой террориста в руке.

11. ПОРАЖЕНИЕ

Закройте это лицо, чтобы я не видел его мертвенной бледности.

Эдгар По.

К ночи обстрел затих. Лейтенант Паттерсон вылез на край бруствера и посмотрел кругом остановившимся взглядом.

Это было в конце марта 1865 г. в диких лесах северо-западнее Ричмонда, где брошенный на произвол судьбы «шестой алабамский», утопая в вязкой грязи, прятался в ямах среди поваленных обстрелом магнолий, защищал Ричмонд от бешеного натиска северян.

Обстрел шел с утра, не прекращаясь. Картечь с визгом била по ветвям. Последняя пушка конфедератов давно уже опрокинулась жерлом вверх, как задушенная. Люди с лицами, покрытыми грязью, отстреливались, стоя по колено в воде. Огонь не прекращался, осколки бешено били по трупам лошадей и лафетам, люди стояли молча, иногда кто-нибудь яростно кусал себе руку, чтобы забыть об огне и почувствовать себя живым. Проклятая артиллерия янки работала с точностью машины, смешивая людей, грязь и конский помет в одну бесформенную массу. Это продолжалось двенадцать часов и вот к вечеру янки устали.

Кое-кто уснул прямо в луже. Другие сидели, обняв ружья, и тупо смотрели в сумерки. Кругом была непроглядная дичь и глушь, болото, девственный лес. Но шестому алабамскому было некуда отступить и он лежал в болоте, тупо глядя в мрачные провалы между деревьями, где невдалеке, в самом сердце чащи скрывались покинутые волчьи норы. Эти дикие лесные болота были очагами желтой лихорадки.

Лейтенант вылез на бруствер и расстегнул воротник. Он сознавал только одно: что он не убит. Лейтенант не отличался ни умом, ни тонкостью чувств, он ничего не понимал ни в политике, ни в войне, но ему было жутко. Жутче всего была лесная трясина, в которую даже беглые негры не решались ходить.

Лейтенант был один. Из его взвода не осталось ни одного человека. Последний был Гью Свеллер, сержант, с которым он играл в карты перед обстрелом. Свеллер был убит, пытаясь сварить суп из корней магнолии. Он попал лицом прямо в котелок и еще улыбнулся. Еще лейтенант вспомнил его последние слова: «В сущ-

ности, лейтенант, за кого мы сражаемся, — сказал Свеллер, — ведь у нас даже нет негров. Это война для войны».

Итак лейтенант остался один. Он сидел на бруствере, чувствуя себя новым лесным животным. Ноги его купались в грязи. Он страшно боялся чащи. Он хотел бы, чтобы его убили. Вдруг он оскалил свои желтые зубы и завыл.

Это была песня, которую он запомнил когда-то на плантации:

На верховьях Свэни, на реке,
Я оставил родину...

На голос в лесу янки ответили градом ружейных выстрелов. Мелкие ветки посыпались на Паттерсона. Выстрелы замолкли и вдруг ему послышался шорох в кустах. Ему почудилось сияние пуговиц на синем мундире. Лейтенант похолодел. Он встал на четвереньки, дико сжал зубы и пополз в кусты. Машинально он отстегнул револьвер. На полянке действительно лежал янки. Но он лежал, раскинув руки, вывернув туловище. Это был труп.

Лейтенант Паттерсон сообразил это и радостно засмеялся. Это был просто труп. Все кругом было спокойно.

Лейтенант лежал некоторое время на локтях, с тупой радостью разглядывая этот спокойный труп. Затем тупость прошла и голова Паттерсона удивительно прояснилась.

Он оглянулся кругом и подполз к трупу. Он быстро стянул с него куртку, сапоги и брюки. Лихорадочно оглядываясь, он надел на себя все это. Он искал кэпи, но его не было. Тогда он пригнул к себе труп за плечи и тотчас его выпустил. Головы на трупе не было, вместо нее торчал между погонами кусок позвоночного столба.

В этот момент раздался визг, мелькнул ослепительный свет и целая связка ветвей в грохоте, дыму и земле ударила в лицо лейтенанта.

Это была бомба. Обстрел начинался снова. Паттерсон поглядел кругом и увидел над собой на суку повисший труп. Безобразно замазанное кровью туловище в одном исподнем белье тихо раскачивалось и делало Паттерсону приветственный жест повисшей рукой.

Паттерсон прислонился спиной к дереву и заскулил. Янки в течение двух часов слышали на болоте протяжный вой брошенной собаки и дали по ней несколько выстрелов. Паттерсон бежал, пробираясь сквозь кустарник, утопая в тине, его лицо было раздрано, но он бежал, падал, барахтался, вскакивал и снова бежал. Так он прошел беспрепятственно через аванпосты янки и продолжал бежать по дорогам. Он бежал неделю. В карманах убитого было немного денег и Паттерсон покупал на фермах молоко, а гнилую картошку ему давали даром. И он снова бежал, как будто чувствуя призрак чащи. Через неделю он увидел перед собой реку Потомак и светлый силуэт Вашингтонского купола. Он устроился на пароме. Его вид не внушал подозрений, дума-

ли, что это отпускник с фронта. Так он попал в Вашингтон, переполненный афишами и треском барабанов. Он бродил по его широким улицам. Есть ему не хотелось, но дождь вымочил его и какая-то тяжесть давила его изнутри. Это был страшный голод, голод не из-за недостатка пищи. Он гладил руками афиши, жался к стенам, плакал при звуках уличной флейты. Казалось, он научился думать, он выпускал только непрерывные «а-а... о, так, так» и на вопросы отвечал «да! сэр, я еду в часть. Завтра, о-о, завтра»...

Вашингтон гудел перед ним, вился дым с высоких крыш, бежали газетчики, грохотали поезда, сизый утренний туман лежал на панелях и газетных будках. И когда лейтенант Паттерсон научился думать, первой его мыслью было: «я сирота».

Бродя вечером по городу, Паттерсон несколько отошел. Теперь он был спокойнее. Он прочел газету и ему хотелось поцеловать эту свежую бумагу с запахом типографской краски. Так, смутно волнуясь, почти радостный, он случайно попал в кафе «Веселая Каюта».

Лейтенант Паттерсон сидел за столиком. Рядом с ним пили и ели какие-то атлеты-бородачи. Перед каждой кружкой пива они вставляли и пели:

Парень янки высок и строен,
В нем жиру лишь немножко, сэр,
В праздник и будни глядит героем
И ловок он как кошка, сэр.

Вставляли все посетители «Каюты», машинально вставал и Паттерсон. По стеклам длинными слюнями сползал холодный дождь, но в кафе было тепло, ослепительный газ шипел в сетке и лейтенант размяк и стал нежен.

— Пожалуйста, виски-сода, — сказал он кельнеру и весело улыбнулся. Кельнер был добрый.

— Вы с фронта, сэр? — спросил он, ставя перед ним длинную рюмку и накладывая в нее лед из ведерца.

— Да, — пробормотал лейтенант, — я южанин.

Кельнер расхохотался и пустил длинную струю из сифона.

— Вы поздновато одумались, сэр, — сказал он. — Юга больше не существует.

— И в самом деле, — подтвердил лейтенант, — просто больше его нет, — и сам удивился. — А скоро заиграют? — спросил он, указывая на трубы.

Кельнер подмигнул.

— Сейчас заиграют, музыканты уже пришли.

— Заиграют? — И лейтенант пропел первые строчки «реки Свэни».

— О нет, что вы, сэр, у нас нет таких грустных песен! У нас сегодня в программе сестры Коретти.

— А! — задумчиво сказал лейтенант, — они тоже пришли?

— О да, и давно, — кельнер улыбался.

— Они... я понимаю, они промокли!

— Нет, сэр, сухоньки, вы сами убедитесь, — кельнер сделал хитрую физиономию.

— Да, да, я хорошо понимаю, — дружески сказал лейтенант. Он вскочил и закричал вслед кельнеру, — подождите, мой дорогой!

Кельнер вернулся.

— Позвольте, — сказал лейтенант, — позвольте... — Он всунул кельнеру руку. — Благодарю... благодарю, у вас... хорошая организация...

Кельнер прыснул и пошел назад. Бородачи сделали Паттерсону приветственный жест кружками и снова запели «и янки поднял свой тост и поет: янки-дудль-ду, сэр»! В этот момент музыканты расселись, подняли свои трубы и прицелились смычками. Вдруг они заиграли все сразу и на сцене зажглись синие квадратики, выскочили две женщины в трико и коротких юбочках. Они танцевали, упершись кулаками в бока и высоко подкидывая ноги. Бородачам это очень понравилось и они застучали кружками. Одна женщина блеснула рядом белых зубов, потом стала спиной и, дернув юбочку, показала два прекрасных полшария, а другая метнула ногой в сторону бородачей. Те громко засмеялись и захлопали. Лейтенант тоже захлопал изо всех сил. Женщина улыбнулась и ему и лейтенант еще раз увидел ряд ровных зубов. Заметив его протянутую руку, женщина кокетливо повела толстым плечом. «Сигару, сэр», — весело сказал кто-то рядом. Лейтенант взял сигару, обрезал, а тот уже подносил ему свечку, вежливо закрывая ее ладонью. — «Вы очень добры» — сказал лейтенант и смутился. Он посмотрел на соседа, это был бородач. Бородач смотрел на сестер, щурился и похлопывал пальцами по бороде. Женщины, должно быть француженки, раскачивались и пели картаво:

Quand je finisse le service
à Mexique je suis parti...

Голоса у них были громкие и грубые, как труба. Но лейтенанту это нравилось. Он почти ослонел и быстро перебирал пальцами цепочку часов. Вдруг ему вздумалось посмотреть, который час. Было одиннадцать. Женщина заметила этот жест и весело кивнула ему в знак того, что понимает, и лейтенанту это было приятно, хотя он посмотрел на часы случайно. Он стал пристально разглядывать ее. Она снова стала спиной, обтянула юбочку и выпятила в его сторону свои коровьи округлости. — «Ого-го», — свистнул бородач. — «Да-да-да, — подтвердил лейтенант, — вот это дело!» — «Как вы сказали, сэр?» — наклонился бородач. «Я говорю, что это очень важно», — повторил лейтенант. Бородач засмеялся. — «Это еще не самое важное, сэр, но близко к нему».

«Ну, ну, — добродушно сказал лейтенант, — вы меня не понимаете». — «Стараюсь понять, сэр».

Женщины пели:

*Je l'appellais ma p'tite syrène
Ma mexiki — ma mexiki — ma mexicaine...*

Лейтенант зашипел сифоном. Женщина сделала круглые глаза и вздела голову. — «У-м-б-у-бу, — гудел лейтенант, показывая рукой направо и налево. Женщина вертела спиной, сверкая зубами на Паттерсона и как будто говоря лейтенанту «хорошая у меня спина, а?» — «Замечательная», — ответил лейтенант. Кудряшки свесились ей на затылок и на нем видно было начало линии ее плотной спины. — «Она добрая», — подумал лейтенант. Женщина подскочила несколько раз по сцене на носках, выпячивая тело, как курица. — «Простите, я близорукий, она, кажется, голая?» — «Нет, сэр, это такое трико». — «Ну, все равно, — подумал Паттерсон, — это очень милое трико». — «А нравятся вам ее ноги?» — спросил он. — «Также как и вам, сэр», — отвечал бородач, ухмыляясь. «Все это очень мило» — подумал лейтенант.

Женщины кончили свой номер. Они выбежали на сцену, взявшись за руки и еще раз метнули ногами в сторону посетителей. Бородачи восхищенно стучали кружками. Лейтенант подозвал кельнера, стал расплачиваться. В голове у него от тепла и виски-сода стоял легкий гомон. Он не заметил, как кельнер исчез, вместо него рука соседа протягивала белый листок. — «В чем дело?» — спросил лейтенант. — «Прочтите, сэр». Паттерсон оглянулся на кафе. Посетители все вскочили с мест и разбились на группы. Двери хлопали, из косых полос дождя доносился крик: «Покущение на президента, ночной выпуск «Трибуны»! — «Убит» — грузно сказал кто-то. — «Ранен», — отозвался другой, вереща листком. — «Ранен Сьюард, Линкольн убит»...

«Линкольн убит. — сказал про себя лейтенант, — я потом прочту». Он уже убежал за кулисы. — «Мне нужно Коретти», — сказал он маленькому человеку во фраке. — «Которую, сэр, — улыбнулся человек, — их две». — «Ту, которая с красивыми ногами». — «О, сэр, они у нас обе с красивыми ногами». — сказал человек, ничуть не удивляясь. — «Ну покажите мне обеих».

Через минуту Паттерсон стоял перед обеими сестрами. Они кутались в русские меховые шубы. — «Которую, сэр?» — торопливо сказал сзади человек. — «Мадемуазель справа»... — сказал Паттерсон, запинаясь. Одна из сестер сделала шаг вперед. — «Ах, это вы, — сказала она небрежно, — пойдемте»... Паттерсон потянул ее за руки. Он пошел за ней, застенчиво переваливаясь. За углом он остановил ее. — «Permettez, mademoiselle»... — сказал он. — «Говорите по-английски», — ответила она. — «Ах! Вот как! Я сниму с вас мех». — «Пожалуйста». Паттерсон снял с нее шубу и начал с любопытством ее разглядывать. Вблизи она была полнее и от спины пахло сильным лошадиным потом.

Любопытство Паттерсона было неисчерпаемо. Подробно изучив ее, он перевел взгляд на дверь, около которой они стояли. На ней было написано мелом «defeat» (поражение). Паттерсон смотрел на эту надпись блестящими глазами. — «А что там внутри?» — «Ну, боже мой, там маленькая комната»... — «А это остроумно на ней написано «defeat», — сказал Паттерсон. — Ну, пойдемте, я должен вам сказать очень важную новость». Она шла спереди, быстро семеня ногами и покачиваясь, как утка. Нежность защекотала лейтенанта. Он нагнулся и поцеловал ее в спину. Она хохотнула и прижалась к нему.

— Давайте, побежим, — предложил Паттерсон. Он схватил ее за руки и побежал, увлекая ее за собой. Она смеялась, закрывая лицо.

На втором этаже была гостиница. Женщина подвела его к номеру.

— Стоп, — сказал лейтенант, — а новость, знаете какая?

— Я слушаю.

Лейтенант обхватил ее под мышками и притянул к себе.

— Важная?

— Очень!

— Да говорите же!

— Линкольн убит.

— Ничего, — подмигнул лейтенант, — я захватил с собой газету...

Он схватил ее поперек туловища и потащил за собой, облегченно улыбаясь.

15. СЭМ ГРЕГОРИ ПОБЕЖДАЕТ

Эти люди сражались за себя и умирали за человечество.

Карлайль.

К. К. К. Лагерь Страшное болото

2ДХІ... 11-й час

Мене, мене текель фарес. Кровавый кинжал обнажен. Час настал. Берегись. За каждым твоим шагом следят. Глаз Черного Вождя наблюдает за тобой. Сперва он предупреждает. Но потом мстительный кинжал сверкает в лунном сиянии.

По приказу Великого Циклопа
ЛИКСТО

— Что это за белиберда? — спросил Эл Кимбс.

— Это Ку-Клукс-Клан, — ответил Сэм Грегори, тщательно намыливая руки, — занесло из южных штатов.

- Когда ты это получил?
— В пятницу, а сегодня я нашел на двери другую записку. Вот она:

Понедельник!!! Понедельник!!!
Жди гостей. Жди гостей. Жди гостей.
К. К. К.¹

- Это насчет забастовки?
— Я так думаю.
Эл Кимбс переставил свечу на полку с книгами.
— Я не советую тебе держать свет в окне. Ты помнишь, как пристрелили Эллери?
— Да, в окно. Это работа инженера Кеннорта.
— Кеннорта?
— Не сомневаюсь. Там клеится роман между ним и дочкой хозяина, Этель Торнхилл. Этот Кеннорт — будущий босс.
Сэм Грегори понюхал полотенце, на котором остались следы машинного масла.
— Ты ездил в контору?
— Да. Я возил представителей забастовочного комитета на паровозе. Было заседание, на котором эти хитрые аргивяне хотели нас купить.
— А вы?
— Сменить инженера, посадить рабочий контроль на участке. Шесть несчастных случаев в неделю нас не устраивает. Они бросаются людьми как спичками.
— А они?
— Сегодня они нас мазали елеем. «Все забыть, все простить». По-моему, там был негласный агент шерифа. Речь идет о том, чтоб выведать, кто главный. О, данайцы!
— А Кеннорта не было?
— Кеннорта они пускают в ход, когда надо применить насилие. Не сомневаюсь, что «Великий Циклоп» — это он и есть. А остальные — его университетские товарищи.
Кимбс запер дверь и поставил рядом с ней два ружья.
— Ну, вот, сегодня понедельник, — сказал он, — я бы лучше оставил свет в комнате, а сам сделал бы засаду в кустах.
— И ждать их до утра? Ну их к чорту! Они уже угрожали мне раза четыре и никто не приходил. Каких только анонимных записок я не получал за последнее время! В одной даже угрожали меня взорвать. Дело в том, что приближаются выборы и эта забастовка всем некстати.

¹ Оба документа подлинны. См. «U. S. Senate. Ku Klux Comittee Report. 1871».

Сэм осмотрел оба ружья и взвел курки.

— Самое лучшее будет, если мы поставим свечку на пол, а дверь отопрем.

— Напрасно ты живешь в стороне от поселка, — сказал Кимбс, — здесь легко поджечь дом.

— Почему я мог думать, что каким-то циклопам придет в голову поджигать дом обыкновенного машиниста и ветерана гражданской войны.

— И организатора забастовки!

— Этого я не мог предвидеть. Кроме того, ты же знаешь, что меня выжил из поселка анархист Льюис Роджевский.

— Сэм, — сказал Кимбс, — ты думаешь, что он и на самом деле возится с порохом?

— Не с порохом, а с динамитом. Я думаю, что он врет. Он любит всякие страхи.

На путях загудел паровоз.

— Чорт бы драл этих бездельников! Кто-то опять пролез в депо. Самый ненадежный элемент — это пришедшие ирландцы и итальянцы. Они страшно любят заговоры и театральные представления.

Сэм Грегори уже четвертый год служил машинистом на этой дороге. Дорога была новая, паровозо-ремонтное депо сверкало медью и сталью, контора была выстроена в китайском стиле. Депо усложнялось тем, что на этом участке помещалась загородная дача фактического хозяина дороги Торнхилла. Щедрость его дошла до того, что он обставил полотно пестрыми столбиками, ввел бесплатную подачу коктейлей в «обсервейшен-карах»¹ и выстроил поселок для рабочих — несколько десятков кубиков со швейцарскими крышами, через которые немилосердно продувал северо-американский ветер. Поселок имел очень эффектный вид из «обсервейшен-кара».

Дорога была новая, шпалы на ней лежали непросмоленные, а телеграфные столбы представляли из себя просто наспех отесанные, суковатые стволы деревьев. Всюду пахло свежим, сырым деревом.

Дом машиниста Грегори был обыкновенной сторожкой, окруженной садиком, который состоял, главным образом, из кустов. Кругом змеились рельсы и горели сигнальные огни. Днем видны были паровозы пассажирских поездов, несущихся с бешено извивающимися на колесах шатунами. Все гудело вокруг, воздух колебался и на швейцарских крышах поселка оседал густой, серый дым. Теперь уже восемь дней кругом стояла тишина — железная дорога забастовала.

— Они убили Эллери, — сказал Кимбс, глядя на записку, — потом устроили крушение Ларкину и Квинти. Сэма Тернера заставили бежать, а Неда Лонга запугали до смерти.

¹ Застекленные салон-вагоны для обозревания местности прицеплялись в конце поезда.

— И купили Роджевского, — отозвался Сэм. — Это тоже работа Кеннорта. И Паркс, который больше всех кричит, — явный шпион Торнхилла. Со всех сторон тебя окружают — помнишь этот пожар, в лесу, при Дикой Таверне? И ты ползешь и боишься каждого куста. Это война.

Сэм снял с гвоздя полотенце и начал перетирать тарелки.

— А в поселке — этот разврат — «артели» — нарочно спаривают тринадцатилетних девочек с пятнадцатилетними парнями, а потом вмешиваются в дело, как благодетели и забирают в кабалу обе семьи. Это все работа Кеннорта. Тонкая работа! Вот один писатель очень хорошо написал: «Если деньги, по словам Ожье, «рождаются на свет с кровавым пятном на одной щеке», то новорожденный капитал источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят».

— Кто это написал?

— Доктор Маркс.

— Немец?

— Немец.

— Врач?

— Нет. Он доктор философии.

— Знаешь, Сэм, — сказал Кимбс, — вся твоя беда в том, что ты читаешь книги. Они ненавидят тебя за это.

— Это у нас взаимное. Но я имею больше шансов.

Сэм поставил тарелки под стол.

— Сэм! — сказал Кимбс.

— Ну?

— Почему ты не женился?

Сэм посмотрел на Кимбса и пожал плечами.

— Я очень много думал о другом.

— О чем?

— Если они источают кровь и грязь, чтоб об этом по крайней мере знали будущие люди.

— Зачем тебе это?

— Я так живу. Я не могу иначе. Это возмездие.

— Да ведь ты не доживешь до него!

— Нет, доживу. В этом заключается моя личная жизнь.

— В будущем?

На путях загудел паровоз. Сэм выругался.

— Придется пойти в депо. Эти хулиганы, сами того не зная, дают сигнал тревоги.

За окном ударил выстрел, за ним другой. Кимбс погасил свечу.

— Сюда!

— Хватай ружье. Эл! Стреляли на путях. Не бросайся в дверь. Это может быть приманка — они сидят за дверью.

За дверью никого не было. Сэм и Кимбс бросились в кусты. Сад был пуст.

— Это на путях, Сэм. Это... — Раздалось еще несколько выстрелов,

— На скрещении, — шепнул Кимбс, — знаешь, это перестрелка. Чорт бы побрал новолуние!

В полной тьме едва намечались контуры насыпи. Вдали явственно сипел паровоз под парами.

Из-за насыпи мелькнули сразу два огонька. Короткий, светлый звук. Ему ответило гулкое хлопанье где-то вдали. В лицо Сэму ударила легкая горсть земли и камешков.

— Ниже! Эл! Вот он!

За насыпью лежал человек. В каждой руке у него был револьвер и он стрелял по кустам по другую сторону полотна.

— Стой! — сказал Кимбс, — что вы здесь делаете?

— Ложитесь рядом и стреляйте в кусты, — хладнокровно ответил человек, — там люди в белых балахонах с винтовками. Помоему они имеют в виду вас, а не меня.

Сэм и Кимбс разрядили винтовки по направлению к кустам.

— Беглый огонь, прошу вас, — сказал человек с револьверами, — на войне важнее всего, кто первый испугается.

— Я сам это очень хорошо знаю, сэр, — сердито пробурчал Сэм, — а позвольте вас спросить, кто вы такой?

— Подробности потом, — отвечал человек. — Стреляйте!

Сэм и Кимбс приложились и выстрелили. В кустах что-то зашевелилось и несколько белых фигур мелькнуло на путях.

— Не может быть, — сказал человек с револьверами, — привидений не существует.

Он выстрелил одновременно из обоих револьверов. С путей донеслось что-то вроде крика. Затем раздалось пыхтение удаляющегося паровоза.

— Счастливый путь, — сказал Кимбс, — они удрали. Вперед!

В кустах, по другую сторону полотна лежала целая куча гильз и брошенная винтовка. Сэм зажег спичку. Пламя всколыхнулось и сразу погасло на ветру.

— Собаки! — крикнул Сэм, — это ружье Кеннорта. О, данайцы! Хотел бы я, чтоб он сам здесь лежал!

— Хорошо, — сказал человек, — но мистер Кеннорт, кажется, сбежал. Они прострелили мне руку. Мне придется заглянуть к вам.

— Как вы впутались в это дело?

— О, просто они приняли меня за другого. Вас зовут Сэмюэль Грегори?

— Да, а вас?

— Дюваль.

— Вы, — сказал Сэм, — тот самый Дюваль, который участвовал в убийстве покойного президента?

— Да, — человек с трудом повернулся к свету. Он лежал на скамье, под старой военной шинелью Сэма. Его лихорадило.

Сэм посмотрел с любопытством на этого рослого, смуглого, остроглазого человека, с тонкими усиками под носом.

— Я помогал Бусу, Сэррету и Гарольду, — сказал Дюваль, — мы вместе ездили в Канаду, а теперь я скрываюсь под именем Полларда.

— Зачем вы открыли мне ваше настоящее имя?

— Потому что я знаю, что вас зовут Сэмюель Грегори, что вы здесь пользуетесь влиянием среди рабочих и что вы держите связь с Национальным Рабочим Союзом.

— Вот как, вы и это знаете?

— Иначе бы я не пришел сюда. Помогите мне бежать в Канаду. Я знаю, что вы можете это сделать.

— Вы уверены, что я это сделаю?

— Я надеюсь, что у вас хватит на это совести. Я ранен в перестрелке с хищниками, которые угрожали вам.

— Да, — сказал Сэм, — это правда.

— Я также ненавижу их, как и вы.

— Пожалуй и это правильно. Я подумаю.

Человек опустил голову на вторую скатанную шинель, которая заменяла подушку, и вздохнул. Он закрыл глаза и на щеках у него обозначились две тяжелых складки от носа к уголкам губ. Он давно не спал.

— То, что писали про вашу биографию, правильно?

— Абсолютно правильно, — сказал Дюваль, не открывая глаз, — у меня очень странная биография, но она условная.

— Вы ловили Джона Брауна в Гарперс-Ферри?

— Да.

— А я сражался с ним против южан в Канзасе. И потом вы были полковником в южной армии?

— Да.

— А я был рядовым в северной.

— Это не имеет значения.

— Да, конечно, это не самое важное. Но вы все-таки сражались против свободы.

— А вы сражались за свободу? (Дюваль приподнялся). Вот за эту хибарку? Или за людей в белых балахонах, которые хотят вас потихоньку пристрелить?

— Она придет в свое время.

— О, в будущем! Конечно, эта война была и для нас и для вас великой школой.

— Я никогда не забуду горящего леса при «Дикой Таверне», мистер Дюваль.

— А, вы участвовали в этом сражении? Да, я помню, несколько северных рот сгорело в лесу...

— Нас уцелело несколько человек из этих самых рот, мистер Дюваль. Один из них — я.

— Да, в награду вы кажется ничего не получили...

У Сэма заблестели глаза.

— Извините меня, мистер Дюваль, я большой любитель древ-

ностей. Один римский генерал как-то выразился: «Будет некогда день и погибнет высокая Троя». Вы знаете, о чем это сказано? О Риме. О возмездии. Оно придет.

— Что?

— Возмездие.

Дюваль посмотрел на него пристально.

— О каком возмездии можете вы говорить?

— О будущем. От имени будущего.

— Странно. Вы, железнодорожный машинист, сидите тут в хибарке, читаете книги и мечтаете о будущем...

— Я не мечтаю, а сражаюсь за него, мистер Дюваль. Вы сами убедились...

— Чепуха. Будущего не существует.

— Нет, наоборот, — настоящего не существует, мистер Дюваль.

Дюваль повернулся к досчатой стенке, из щелей которой несло холодом.

— Если судить по вашей биографии, — спокойно сказал Сэм, — то всю жизнь вы только и делали, что сражались против свободы...

— Я делал, — сказал Дюваль в стенку, — то, что мне приказывала моя большая любовь и большая ненависть. Я, по крайней мере, был честен и прям. Мне не повезло. А вы сидите за расчетами...

— Речь идет о борьбе за всеобщее счастье, — твердо сказал Сэм.

— И вы можете мне описать это будущее?

— Прекрасный, новый мир, мистер Дюваль. Наши женщины будут рожать героев. Мир героев, вождей, влюбленных. Молодой мир, в котором каждый будет иметь право на любовь, жалость, теплый угол. Короче сказать, каждый получит свободное право быть самим собой.

— Вы этот мир придумали, как выгодное дельце, вы все очень сообразительны!

— Мистер Дюваль, — сказал Сэм, — если вы узнали бы жизнеописание Сэма Грегори и других, вы бы поняли, что мы, рядовые северной армии, тоже имеем право мечтать о высоких римских чувствах. Для них мы и живем, мы ведь, главным образом, люди.

Дюваль пожал плечами.

— Какое мне дело до этих раскрашенных, дешевеньких картинок, которых я не увижу!

— Кто знает, — улыбнулся Сэм.

— Нет, знаете что?, — Дюваль приподнялся со скамьи, — будь я на месте этих людей в белых балахонах, я бы вас прикончил. А ваше будущее я бы взорвал, уже хотя бы потому, что оно выпало не мне, а другим. И потому что вы сами не верите в него.

Сэм молчал. Дюваль натянул на себя шинель. От нее пахло казармой — сапогами, табаком и потом, запахом, который внедрился в нее за четыре года гражданской войны.

Сэм сидел долго. Дюваль заснул. Шел дождь и перестал, на путях было тихо и ближе к рассвету стало слышно пенье птиц, обычно заглушаемое грохотом поездов.

Сэм встал и подошел к порывевшему портрету, аккуратно вставленному в рамку из орехового дерева и повешенному на гвоздь над столом. На портрете был изображен рядовой Метцингер, — коренастый немец с короткой бородой и с длинной тирольской трубкой. Грудь его перепоясывали ремни, на голове красовалось синее кепи.

— Война продолжается, Метцингер, — сказал Сэм и вышел.

Через полчаса Дюваль зашевелился. Лихорадка прошла.

— Я не умру сегодня, — сказал он и оглядел комнату.

На стене тикали дешевые часы. Вся мебель в этой комнате состояла из табуретки, скамьи и стола. Под столом были сложены оловянные тарелки. На столе лежала стопка книг.

— Этому человеку на вид лет тридцать восемь, — сказал Дюваль, — и будущее занимает его больше, чем настоящее. Для этого прекрасного будущего он готов украсть и сподличать. Куда он запропастился?

Дюваль встал и подошел к окну. Видна была только путаница рельс и подстриженные кусты по сторонам полотна.

— Меня вчера лихорадило и я наговорил много лишнего, — подумал он, — этот человек может донести, если это будет выгодно для будущего... Впрочем, у него не хватит сил — он мне обязан... Кому придет в голову искать меня в забастовочном районе... Сегодня же надо будет двинуться дальше к границе. Если бы Бус... Что такое?

Снаружи донеслись шаги и звякнули шпоры. Дверь распахнулась. На пороге стоял высокий офицер в синем мундире. Серебряные пуговицы сияли. Он держал в руке револьвер.

Дюваль замер у окна.

— Вы Дюваль, — сказал офицер, — вы арестованы.

— Да, — ответил Дюваль после нескольких секунд молчания, — я Дюваль. Я не думал, что этот машинист донесет.

— Он донес, — холодно сказал офицер, — впрочем, он выполнил свой долг ветерана. Взять арестованного!

Проходя мимо Сэма, Дюваль сказал ему:

— Я не думал, что вас хватит на это. Я ранен.

— То, что вы еще живы, это несправедливо, — сухо сказал Сэм. — Война продолжается.

Дюваль посмотрел на него.

— Знаете, на вашем месте я, пожалуй, сделал бы то же самое, — сказал он и ушел, окруженный солдатами.

16. ЗРЕЛОСТЬ

Когда я услышал к концу дня, как имя мое
в Капитолии встретили
Рукоплесканиями, та ночь, что пришла вслед,
все же не была счастливой ночью.

I

Раньше он знал, когда он любит или ненавидит. Потом это ощущение исчезло. Испытывая тревогу, он не знал, к чему она относится и приписывал ее плохому настроению или слишком зеленым краскам заката.

Уже незачем было мечтать. Перелистывая детские письма, он улыбался. Когда-то он мечтал о недостижимом.

Добрые исчезли, исчезли и злые. Иногда ночью, просыпаясь, он старался найти виновников. Но их не было. Никто не был виноват, все были хорошие друзья.

В конце концов справедливость — это не самое главное. И Ральф Вальдо Эмерсон был не глуп. — О, старик был не глуп! — просто он был стар. Все стало обыкновенным.

И это слово — «Уitmen», оно не звучало как «Линкольн» или «Брут». Оно звучало само по себе, иным звуком, и он уже знал, этот звук хорош сам по себе.

Появились новые друзья, у которых он, сгорая от стыда, учился жить беззаботно, легко и скаречно, брать побольше, давать поменьше, не давая себя в обиду и не требуя лишнего.

К нему приходили болтливые, суеверные и робкие ученики. Он давал им советы, сидя в кресле. Он давал им и деньги. В сущности, он это делал не из жалости, а для мудрого любования собственным успокоением.

Он их вовсе не любил, потому что тайным их желанием было иметь такое же удобное кресло. Впрочем, каждый из них считал себя единственным и неповторимым.

Он отвернулся от женщины по трем причинам: во-первых, потому, что теперь они слишком легко признавали его превосходство, во-вторых, потому что, глядя на женщину, он не мог отделаться от ощущения цвета и запаха ее нижних юбок и, в третьих, потому что он редко ходил по улицам, а те женщины, которые приходили к нему, большей частью были одержимы неврастенией и даже эпилепсией.

И если он читал Льва Толстого, то делал это главным образом потому, что не мог согласиться с ним. Читая о русском философе, он испытывал смутное раздражение.

При все этом его не любили. Разбогатевшие дети Седжа относились к нему с уважением, смешанным с суеверным ужасом. Он знал, что ему нечего рассчитывать на их любовь, в нью-йоркских салонах о нем предпочитали не говорить вовсе.

Некоторые думали, что он тоже бывший военный спекулянт, но только помешавшийся.

Система жизни уравнивалась. Со странной отчетливостью он ощущал давление этой освоенной стихии, превратившейся в геометрию, в чертеж, в домашнюю собаку, которая лижет резные столбики покойного кресла.

Кроме того он был занят работой. Теперь «работать» означало разговаривать с посетителями и даже думать. Работы было много. Работа не хотела любить или ненавидеть. Слишком много было поводов для утешения, слишком много было жалости к самому себе, слишком легко было успокоиться, легче, чем может перенести человек.

2.

Ты, красавец с неистойвой глоткой!
О, промчись по моим стихам.
И наполни их буйною музыкой
Трелями воплей твоих, что от гор и от
скал несутся к тебе назад!

А кругом неслись локомотивы. Дети очень быстро становились взрослыми. Железнодорожная сеть Америки достигла девяноста тысяч миль. Люди стали говорить коротко: «Халло, Билл. Есть работа.. На перегоне Розерфорд — Санта-Инес — шестеро убитых и пятнадцать раненых. Нужно три или десять человек. Хэлло, Джим. Есть хорошая работа».

За девятнадцать лет было убито пятьдесят три тысячи жебездорожников и более восьмисот тысяч получили увечья и ранения. Бюллетень несчастных случаев № 44 сообщал, что в списке убитых приводятся только те, кто умирает на месте или в течение двадцати четырех часов после несчастного случая.

Из окна Уитмену были видны только густые чащи американского орешника, окружавшие холм. Солнце заходило и в световых столбах двигалась золотая пыль. Хотя поезда не ходили третий сутки, но сейчас прошел паровоз. Он обдал паром калитку. Отдельные клочья пара еще долго путались в орешнике.

Калитка отворилась. Пришла Нэнси Торнхилл. Она принесла с собой в корзине спаржу, тарелку жаркого и букет роз. Вслед за Нэнси шел человек с большим ящиком, завернутым в черную фланель.

Уитмен принял их, не отрываясь взглядом от окна. Пар от паровоза уже почти растаял и кусты снова приобрели тот лиловатый оттенок, который они имеют на закате. Кэмденская гора казалась сиреневой. На путях зажгли какой-то многоцветный сигнал.

Комната Уитмена была пуста и светла. Великий старец сидел в кресле у окна. Люди беспомощно толпились вокруг него и глядели на него как на памятник.

Человек с ящиком развернул фланель и кашлянул.

— Мистер Уитмен, — сказала Нэнси, — это фотограф, мистер Эмброс. Он привез камеру-обскуру.

— А, — сказал великий старец, улыбнувшись, — пожалуйста, не стесняйтесь.

— Собственно говоря, мистер Уитмен, — начал фотограф басом, — я привез проект... мистер Уитмен должен его рассмотреть — мы, художники из Филадельфии...

— Речь идет о памятнике, — добавила Нэнси, — он привез эскиз. Станьте здесь, и вы можете снять мистера Уитмена в то время, как он будет рассматривать эскиз.

Фотограф заулыбался. Он хотел снять мистера Уитмена именно в то время, когда мистер Уитмен будет рассматривать эскиз. Он рассматривал свой визит к Уитмену, как встречу художника с художником.

Памятник был прост — колонна, барельефная голова с бородой и надпись «Уот Уитмен». Внизу должна была помещаться муза поэзии, а наверху крылатый гений Америки.

Уитмен зачеркнул музу и гения. Они стоили слишком дорого.

(Этот памятник должен был быть поставлен на высоком холме. Это — единственное, что мог себе позволить Уитмен на те небольшие деньги, которые ему прислал собственник издательства «Чарльз Уэбстер и К-о», мистер Клеменс. Мистера Клеменса иначе звали Марк Твэн. Дела издательства были плохи ввиду кризиса).

Он снова поглядел на Кэмденскую гору, над которой должна была воздвигнуться его борода. В это время фотограф снял его.

На путях снова вспыхнули какие-то сигналы. Затем пронеслась дрезина. На ней было несколько человек. Один из них, без шапки, что-то кричал и размахивал руками. Потом раздался длительный гудок. Мимо калитки прошло множество людей и все они говорили разом. «О, Билл... плохая работа... На перегоне Трентон-Берлингтон... опять работают негры... а я говорю всем — динамит... убирайся к черту... Лиза, возьми ребенка»...

— Это забастовка, — сказал фотограф, завертывая камер-обскуру коричневыми от кислот пальцами, — все гибнет, застой в делах, искусство светописаги гибнет от недостатка меценатов. Я позволю себе пожелать...

Уже в дверях он вспомнил что-то, дунул на бархатный обшлаг куртки и сказал гордо:

— Мы практикуем теперь и ночные сцены.

Нэнси зажгла лампу и присела на скамеечку. Ей было восемнадцать лет, она была добра и уже умела экономить деньги. Голос у нее был кроткий, нос чуточку длинный, а руки тонкие. Она во всем отличалась от своей сестры Этель и предпочитала выйти замуж за небогатого. Она могла молчать целый час, вышивать или читать тонким голосом французские стихи:

Какой глухой рассвет

И флаг приспущен над печальной башней..

Она любила сласти и могла часто плакать. Четыре да четыре у нее составляло десять и она плакала от арифметики. Уитмена

она не боялась, потому что он либо молчал, либо говорил приятное. Его теперь уважали даже враги.

Нэнси также интересовалась поэзией. Она больше всего любила сочинять стихи про рыцарей, собак и ангелов.

Уитмен смотрел в темноту, украшенную белыми и зелеными огнями. Фонари гасли один за другим. Под конец над горой выступило даже какое-то подобие звезд. Снова завывали гудки и еще одна толпа прошла мимо калитки.

Рабочий поселок, который стоял по ту сторону путей, даже и по ночам пахнул человеческим теплом, пищей и грязью. Утром там подрались две женщины. Сначала они долго кричали, потом схватились за руки и стали толкать друг друга в лужу. Мужчины подошли и быстро растащили их. Женщины еще долго высывались из окон и показывали друг другу кулаки.

Уитмен смотрел на свою пустую комнату и на склоненную целомудренную голову Нэнси. В сущности, мир не принимал его к себе — и тогда, когда он, ленивый житель Манхаттана, пожирал арбуз, сидя на панели и бесстрастно глядя на солнечное небо Америки, и теперь, когда у него собственная прохладная пустая комната. Сначала его не знали, потом ему не верили, а сейчас к нему привыкли. И эта молодость, Уитмен, она ведь не наступает вторично!

Вот тревога — она наступает неоднократно. Она наступает с гудками, с рокотаньем толп, с погасшими фонарями, с пронзительным свистом, с обрывками жестких фраз, влетающими в окно.

Тогда твое успокоение покорно признает, что оно глупо.

Нэнси подняла голову и вдруг сказала сдавленным голосом:

— Здесь, говорят, появилась тайная шайка анархистов.

3

Время — ничто и пространство — ничто.

Я с вами, люди будущих столетий,

Так же как вы теперь стоите, опершись о перила,

Стоял когда-то я...

И ты умрешь, Уитмен, и перед смертью ты поймешь, что зубной врач Мак-Свини был прав, — поэт выходит в люди после своей небольшой смерти. Через сорок лет другие люди, ищущие славы, откроют, что ты, Уитмен, вовсе не искал славы — ты искал друзей.

Да, ты искал друзей. Справедливо то, что целью твоей жизни были добрые, вечные друзья. Статуя славы холодна, она сделана из камня. Она не лечит от страшных вечеров, когда человек возвращается домой один по опустевшим улицам, зная, что он расстался с людьми и что наступила его настоящая жизнь — он предоставлен самому себе.

И тогда, чтоб успокоить себя и увидеть хоть тень друга на

стене, ты берешь письмо великого поэта Свинберна, который называет себя «сердцем свободных сердец», ты вспоминаешь то лестное, что сказал тебе сегодня твой гость Оскар Уайльд. Но это не помогает. И ты завидуешь тайно от самого себя тому нелепому немцу-учителю, который в соседнем доме играет по вечерам какого-то Шуберта и поет о мире и возвращении, чтобы полечиться от острой тоски по своей немецкой родине.

(Видишь, ты даже способен впасть в пафос, Уитмен).

Ты стал одним из тех людей, кому полагается вершить судьбы, ты забыл о тех временах, когда этот мир был недостижим, лукав и прекрасен, когда этот мир не знал тебя и не пускал к себе.

Если ты теперь увидишь ту босоногую женщину на пляже Лонг-Айленда, которая подняла юбку выше щиколотки, ты уже не скажешь: «как прекрасна нагота». Но ты скажешь: «хотел бы я все-таки, чтоб эта дура решилась поднять юбку выше колен».

Если ты увидишь десятиэтажные громады Нью-Йорка и дохлых кошек на вершинах этого города, ты уже не скажешь: «как прекрасна столица». Ты скажешь: «чорт возьми, через сто лет в этом городе будут, может быть, сады».

И если ты увидишь голую девку, вылезающую из воды и предлагающую себя за два доллара, ты уже не скажешь: «как прекрасна девственность». Но ты подумаешь: «возможно, что она врет».

И нужно, чтобы ты умер или чтобы ты жил сто сорок лет для того, чтобы твои соседи поняли, как ты любил людей, как ты страстно их любил. Как ты любил их балованных детей и их краснощеких девушек, и их самоуверенных юношей и их надоедливых бабушек.

4

Дряхлый, больной, я сижу и пишу
И мне тягостно думать, что ворчливость
и скука моих стариковских годов
Оцепенение, боли, запоры желудка, уныние,
плаксивые жалобы
Могут просочиться в мои песни.

Действительно, среди бараков с длинными трубами и косыми дверями, по ту сторону путей, появились анархисты.

Конная милиция раз'езжала вдоль путей. Вечером обыскивали прохожих.

В те дни Уитмен получил письмо из поселка с надписью «Сэм Грегори, военный механик». В этом письме, которое Нэнси вскрыла с величайшими предосторожностями, ничего не говорилось о бомбах. В нем говорилось о «Листьях травы».

«Это великая книга, — писал Сэм Грегори, — но в ней нет ни слова о войне, в ней говорится только о мире, как в сочинениях римского поэта Вергилия.

Мы с вами оба видели войну, мистер Уитмен, и вы сами делали мне перевязки в госпитале, но вы забыли об этом, а я вас не забыл. Я думал, что вы не поэт, а квакер.

Я жалею, мистер Уитмен, что у меня не было этой книги на полях сражений, что я не нес ее в своем ранце, как солдаты носят письма и портреты, обвязанные голубой лентой (потому что солдаты, как вы знаете, самый чувствительный народ в мире).

И вот, когда вы идете, буцая сапогами, в поту, и вдыхаете запахи преющих ремней и котелок бьет вас по бедру и как будто повторяет монотонно «ты солдат — ты солдат — ты солдат», то вам приходят в голову самые нежные слова и даже мечты о каких-то садах, и вечерах, о листьях травы, о чистой, холодной воде, о женских белых платьях и чорт знает еще о чем. Я убежден, что именно об этом думает большинство, хотя все стараются ругаться покрепче и надевают кепи на бок.

Потом начинается дым и смрад сражений. Ползти по горящему лесу, в кромешном дыму, приседая на корточки, цепляясь штыком за дикий кустарник и думая, что вся жизнь состоит из двух частей — из глины и артиллерии — вот что самое страшное.

По дороге вы переступаете через неподвижное тело товарища, лежащее в грязи — и боже храни эти белые платья, вечера, катанье на лодках...

Как жаль, что со мной не было вашей книги на бивуаках!

Я не был убит и вернулся. Но я принес с собой новую мысль — о возмездии.

Знаете, не радовали меня уже эти белые платья — я быстро к ним привык. Возможно, что каждый год гражданской войны равняется десяти годам человеческой жизни. Возможно, что я принес с собой ненависть, — но настоящую, справедливую ненависть! Хорошо, когда умеешь ненавидеть и, ненавидя, мечтаешь о будущем. Каждому воздастся и наступят великие дни мира и тишины.

По-моему не может быть любви без ненависти. И какая придет любовь после такой ненависти, — ни один поэт не может этого описать (даже известный Гомер бы тут не справился).

И самое главное — будешь знать, что не даром прошел через все и теперь о тебе говорят «вот идет Сэм Грегори, который потерял всех своих знакомых в бою при «Дикой Таверне».

Вот это и будет справедливость. И в этой новой Америке будут уважать человеческую жизнь и смерть, и годы одиночества и нищеты, и любовь и ревность, и честь, искренность и неумение лгать, и верность жене и благородство чувств и прочие бабушкины сказки.

Я пишу это вам потому, что думаю, что вы это способны понять. Вы также поймете, что люди живут ради этих чувств и ради них существует история человечества и ради них стоило пасть в бою при Дикой Таверне или при Ватерлоо.

Мы ее возьмем штурмом эту справедливость, мы ее добьемся, потому что иначе не стоит жить в этом мире случая, в этой стране нечаянных выигрышей и невозвратимых потерь.

Прошу прощения, сэр, это письмо я впервые пишу, не как американский гражданин и ветеран, а как человек, беседующий с другим человеком по дружбе. И если оно покажется вам неподобающим — заранее, сэр, прошу прощения — ваш, сэр, с большим уважением Сэмюэль Грегори, бывший военный механик».

Автор этого письма приходил потом за ответом. Уитмен ничего ему не сказал. Сэм Грегори рассказал, что забастовка кончилась, но есть недовольные, что среди барачников появились анархисты.

Среди мусорных куч, светлых осколков бутылок и аспидных под серебряным дождем барачных крыш они клялись все уничтожить спасительным огнем — взорвать Бруклинский мост, поднять на воздух Капитолий и в огненном столбе похоронить статую Свободы. Тогда наступит новая эра — слабые погибнут, сильные выживут и будут плодить новое потомство. Всю историю они делили на две части — «до динамита» и «после динамита».

Человек, рассказавший это, добавил, что они поклялись взорвать первый локомотив, который пройдет по полотну. Этот человек сидел мешком — не молодой уже сутуловатый человек.

— Я не верю, что они это сделают, — сказал он тихо.

— Почему? — спросил Уитмен.

— Потому что этот локомотив поведет древний римлянин.

— Древний римлянин?

— Извините, мистер Уитмен, я хотел сказать член стачечного комитета.

— Кто же этот член комитета?

— Я.

Сэм Грегори помолчал еще минуту и прибавил: «не сделают. Молодежь. Новые американцы».

— Вы знаете этих анархистов? — спросил Уитмен.

— Да, сэр.

— Почему вы не сообщите полиции?

Сэм Грегори поглядел на собеседника и сказал коротко:

— С ними я однажды полз по горящему лесу при Дикой Таверне.

Уитмен поглядел на него: довольно коренастый человек с седоватыми усами. В присутствии великого старца он чувствовал себя неловко, он мямлил в руке шапку.

Уитмен помолчал.

— Я прочел ваше письмо. Я в нем ничего не понял. Я уже стар. Хотел бы познакомиться поближе. Надеюсь увидеть вас еще раз.

Сэм Грегори ушел. После его ухода вошла бледная Нэнси.

— Вы будете кушать жаркое, мистер Уитмен?

5

А в свежих могилах лежат трупы окровавленных юношей
И натянуты веревки у виселиц и носятся пуды владык
И деспоты громко смеются,
Но все это даст плоды, и плоды эти будут хорошие.

В субботу после полудня Уитмену стало лучше. Он вышел на прогулку. Он шел, ковыляя и опираясь на палку.

Старик был одинок и величаво равнодушен. Многие приветствовали его, приподнимая шляпы. Некоторые говорили: «вы чувствуете себя лучше, мистер Уитмен?.. Великолепное бабье лето... не хотите ли присесть здесь?.. слышали про случай на полотне?.. слетел локомотив... о, вы опять с нами, мистер Уитмен... О, это не больше мили... присядьте здесь, пожалуйста»...

На насыпи поднимался кверху пар. Казалось, что пар просачивается из кучи угля, причем он поднимался с легким свистом. Локомотив лежал на боку. Его бок был страшно исковеркан и медные поручни изогнулись фантастическими зигзагами, невероятными для металла. Он был похож на искаленную пушку.

В стороне стояла группка людей довольно дикого вида. Уитмен прошел между ними — смуглые, молодые лица, прямые, блестящие волосы, запах несвежего белья — и увидел то, вокруг чего они молча стояли.

На земле лежал человек. Ноги его были прикрыты курткой, лицо было бледное, с синеватым отливом. Он тяжело дышал. Это был Сэм Грегори.

— Ребята, вы поступили со мной неправильно, — сказал он. — Вы думаете, что я за хозяев. Я против них. Вы хотите взорвать Америку. Это неправильно.

Никто ему не ответил. Стоявшие вблизи понурили головы.

— Даже хорошо, что я умру, — продолжал Сэм Грегори, — будет доказано, что это неправильно. Такой случай был при Коринфе.

— Коринф — Миссисипи, я знаю... — начал кочегар Эл Кимбс, стоявший ближе всех к Сэму.

— Олух, — слабо сказал Сэм, — это другой Коринф, — в Греции. Нет ничего плохого в том, что я кончаюсь. Я не оставляю жены и детей.

— Ты будешь жить еще тридцать лет, — всхлипнул Эл Кимбс.

— Я был прав и это доказано. Чудес не бывает, но бывают победы. Война продолжается.

Сэм Грегори с трудом приподнял голову и заметил Уитмена.

— Мистер Уитмен, прощайте. Прощай, Льюис Роджеский. Я страдал, я был счастлив, я дрался, я хорошо жил... Война продолжается, ребята...

За путями засвистели.

— Солдаты! — крикнул кто-то оттуда.

— Бегите, ребята, — сказал Сэм Грегори и закрыл глаза. Люди разом рассеялись.

Вдали мелькнули светлые пуговицы и донесся мелкий перебор копыт. Человек остался один на куче угля.

Уитмен медленно возвращался домой. Кругом говорили: «конечно развитие религиозного чувства... превосходное бабье лето... да и нет, слушайте, что я вам говорю — кучка бандитов... присядьте здесь... я выпил бы пива... динамит... добрый день, мистер Уитмен... не приставай с вопросами, Джимми... динамит... кучка бешеных из Чикаго... добрый день, мистер Уитмен... анархисты... рыцари труда... Молли Мэгвайрс... динамит... добрый день, мистер Уитмен... динамит... добрый день, мистер Уитмен...»

В этот день также наступил вечер. Солнцу было все равно, если принять во внимание, что солнце есть просто масса пылящего газа, помещенная в безвоздушном пространстве. В назначенное время засветились звезды, и Уитмену показалось смешным, что молодые люди пытаются сделать эту бездушную космическую материю, сверкающую в ночи, поверенной своих сердечных тайн. Видимо молодость его прошла.

Но все-таки, сидя у окна, в покойном кресле, он мысленно обращался к звездам. Ему казалось, что они знают его внутреннюю жизнь, — эту ленивую созерцательную жизнь нью-йоркского фланера, — они знают, что он всего не сказал и никогда не скажет.

В этот вечер ему казалось, что он хранитель высоких древних чувств, изобретенных людьми — и он переживал их подряд — голод, одиночество, любовь, ревность, зависть, обиду, несправедливость, он переживал их за всех. В разные времена они назывались разное, но сегодня Уот Уитмен был Тристаном, Ромео, Яго, Хосе Наварро, Вертером, молодым Копперфильдом и старым Шейлоком.

Он опять колебался в выборе между Агнесой и Джульетой, и убеждал себя в том, что не стоит ему жениться на Джо Марч из «Маленьких женщин», хотя она и превосходная девушка. Он твердо решил обратить внимание мистера Домби на угнетенное состояние души его дочери Флоренс, а также предупредить Робин Гуда о грозящей ему опасности.

Под конец он даже сделал себя Уитменом, но это был другой Уитмен, мудрый, значительный и немножко нарисованный, а потому легкий и приятный как и все в литературе. Об этом Уитмене хотелось думать еще и еще, и если б ему пришлось о нем писать, то не хватило бы бумаги.

И когда он лег в постель, он больше не мог думать ни о Нэнси, с ее кооткими глазами и грязноватыми ушками, ни о книге его друга Генри Торо «Уолден или Жизнь в лесах», которая лежала на столе. Он видел чудесное будущее, наполненное любовью и звуками великолепных серенад и запахом цветущих лип

и, как американец, он деловито порадовался за те поколения, которым суждено дожить до этого будущего.

Он вовсе не умер в эту ночь. Он жил еще долго. Его три раза разбивал паралич. Нэнси плакала и штопала ему носки. Мистер Марк Твэн посылал ему деньги. Он умер 26 марта 1892 года и остался только памятник, свидетельствующий об Уоте Уитмене, который потерял однажды чувство добра и зла и все-таки умер спокойно, потому что в сущности он не знал любви более трогательной, нежной и преданной, чем любовь человека к самому себе.

17. КОНЦЫ

Нежный запах трав весенних
Из долин в вигвам повеял,
И на север после стужи
Вновь пришла весна, а с нею
Зацвели цветы и травы,
Зажурчал ручей в долине,
Возвратились с юга птицы.

Лонгфелло.

Дюваль подлежал военному суду.

Военный суд по закону 1864 года мог не дожидаться дивизионного генерала, как это было раньше. Достаточно было полковника. Поэтому Дюваль уже в тот же вечер предстал перед бородатым полковником, который писал какие-то каракули на листе серой бумаги. Полковник поднял свои глаза — прозрачные, белесые, суровые глаза фермера.

— Вы Дюваль, именуемый также Поллардом, — сказал он скучным, добросовестным голосом.

— Да.

— Вы французский креол с острова Мартиник, осужденный на родине уголовным судом.

— Да.

— Вы поступили на военно-морскую службу Соединенных Штатов под вымышленным именем и вторично бежали из дисциплинарной роты на острове Санта-Крус.

— Да.

— Вы вернулись в Америку и предводительствовали бандой добровольцев во время беспорядков в Канзасе.

— Да.

— Здесь имеется опись дел этой банды. Разорено восемь ферм. Количество убитых и раненых достигает ста двадцати трех человек.

— Если не считать негритянок, то да.

— Здесь имеются документы о ваших поступках в холерном бараке в Никарагуа, и прочее, что я считаю излишним оглашать ввиду безнравственности.

— Не стоит.

— В начале войны вы стали секретным агентом конфедеративного правительства во Франции.

— Да.

— Вы приезжали в мятежные штаты, где пытались служить для темной связи между какими-то министрами и Францией.

— Скажем так.

— При этом вы были объявлены вне закона в штатах Миссури и Канзас.

— Да.

— В Ричмонде вы познакомились с Джоном Уильксом Бусом, актером драматических театров.

— Да.

— Вместе с ним вы покинули Ричмонд в апреле 1865 года и отправились в Канаду, а оттуда в Нью-Йорк, где и остались в то время, как означенный Бус произвел покушение на жизнь покойного президента в Вашингтоне.

— Да.

— Вы признаете факт вашего участия в заговоре преступной банды с целью лишить жизни покойного президента и государственного секретаря м-ра Сьюарда?

— Да, признаю.

— С какой целью вы приехали сюда?

— С целью перейти канадскую границу, чтобы впоследствии вновь открыть враждебные действия против Соединенных Штатов.

— Хорошо. Что же вы можете добавить ко всему вышеизложенному?

Дюваль пожал плечами.

— Ровно ничего.

— Может быть вы желаете сказать что-либо в оправдание?

— Ко всему сразу? Нет, ничего не желаю.

— Подпишите. — Дюваль подписал.

— Все?

— Слушайте, — сказал полковник, — вы, может быть, верите в бога?

— Смотря по обстоятельствам, — ответил Дюваль, разводя руками, — а почему это вас интересует?

— Вы нечестивец, — сказал полковник, — вы сражались против Джона Брауна. Вы занимались убийством и насилием. Вы забыли слова господина: «горе вам, убийцы и мытари, разве вы сильнее меня, чтобы искушать меня?» В вашей жизни не было минуты, когда вы заглянули бы в душу и предались раздумью!

— Вы ошибаетесь, полковник, — сказал Дюваль улыбаясь, — я прожил машинально. Я никогда не рассчитывал, но делал то, что мне приказывало сердце. Я не человек практики, но моя биография делалась помимо меня. Лично я предпочел бы густой фруктовый сад, кресло и французских классиков в кожаных переплетах. Например, Дюма-отца.

— Я пришло вам евангелие, — сердито сказал полковник, — отведите его.

Дюваль очень долго ждал решения своей судьбы. С него сняли еще два допроса. Через шесть суток в дверь его камеры постукали.

— Что вы желаете иметь, — спросили из-за двери.

— Книгу, — сказал Дюваль.

Дюваль получил книгу. Это было евангелие, обернутое в старую газету. Дюваль бросил евангелие в угол, а газету развернул.

Он увидел об'явление

Сэррет

Бус

Гарольд

Военное Министерство, Вашингтон, Апреля 16, 1865 г.

100.000 долларов вознаграждения!

УБИЙЦА

нашего возлюбленного покойного президента
Авраама Линкольна
еще на свободе.

50.000 долларов вознаграждения будут уплачены Военным министерством за его задержание в дополнение к тому вознаграждению, которое предложат муниципальные власти или власти Штата.

25.000 долларов вознаграждения будут уплачены за задержание Джона Сэррета, одного из сообщников Буса.

25.000 долларов вознаграждения будут уплачены за задержание Давида Гарольда, другого сообщника Буса.

Различные вознаграждения будут выданы за всякую информацию, которая поведет к аресту любого из вышеозначенных преступников или их сообщников.

Все лица, скрывающие указанных преступников, или любого из них, или помогающие при их бегстве или укрывательстве, будут считаться участниками убийства Президента и покушения на Государственного Секретаря и предстанут перед военным судом для присуждения к смертной казни.

Пусть потоки невинной крови будут отомщены страной. Помогите арестовать и наказать убийц!

Все добрые граждане призываются на помощь. Пусть каждый обратится к своей совести, обремененной этим высоким долгом, и пусть никто не забывает о нем ни днем, ни ночью, пока он не будет возмещен.

Эдвин М. Стэнтон, Военный Министр.

В дверь снова постучали.

— Не желаете ли вы что-нибудь иметь?

— Благодарю вас,— сказал Дюваль,— больше ничего не нужно. Шаги затихли.

— Так, значит сегодня,— произнес Дюваль.

Взгляд его упал на газету.

— И вот наступает момент, когда несешься между различных планет и видишь издали круглый шар земли. Последнее, что я вижу, это, должно быть, часы...

Он действительно увидел часы. Это был детский сон. Его поставили к стене сарая, в котором хранились яблоки, и сад был насыщен густым яблочным запахом.

На пластинке у фотографа гражданской войны Брэди сохранилась эта сцена. Брэди подписал под снимком «Расстрел шпиона». Он уже тогда относился к своим произведениям, как к картинам.

Десяток нью-йоркских волонтеров стояли ровной линейкой. Сияли серебряные пуговицы на новеньких мундирах. Задержка с расстрелом объяснялась тем, что полковник не решался употребить для него регулярных солдат. Пришлось издали выписать волонтеров, которые очень хорошо знали, кого они расстреливают. Волонтеры стояли в две шеренги. Задние положили стволы ружей на плечи передних. Зеленый свет падал сквозь яблони.

— Надо завязать глаза,— сказал лейтенант.

— Благодарю вас, не надо,— ответил Дюваль,— я их сам закрою.

Он закрыл глаза и увидел часы. Это был большой циферблат с четкими стрелками. Такие часы-хронометры стоят в обсерваториях. Большой медный маятник неслышно ходил из стороны в сторону. Дюваль сладко потянулся.

— Какое мне дело,— прошептал он,— до гражданской...

Докончить ему не пришлось. Раздался залп. Лейтенант с врачом подошли, чтобы удостоверить «годность к погребению». Врач махнул рукой. Из-за изгороди выехал фургон, на котором обыкновенно возили яблоки, и фургон весь пропах сладковатой яблочной гнилью.

— Нет, Перси,— быстро сказала Этель Торихилл,— локомотив, украшенный цветами и колокольчиками, салон с голубой обивкой. Подают к декарбадеру. Я выхожу, снимаю перчатку...

— Клянусь, Этель,— прошептал инженер Кеннорт и придвинулся к гамаку.

— Не клянись. Я стою за право сильного. Слабые люди все равно вымрут. Мне нужен громадного роста, чтобы он был дерзок...

— Я буду богат, Этель,— сказал Кеннорт,— я теперь понял все. Я клянусь.

— Не клянитесь. Вы хороший человек, но приятно, когда.

— Вы любите Дэйна,—сказал Кеннорт, отодвигаясь от гамака. Широкие плечи Этель над кружевным корсажем. Глаза ее блестящие.

— У него большие возможности,— сказала она.

«Истерика», — подумал инженер.

Купы облаков проходили в голубом небе как стеариновые Альпы, над стрельчатыми перекрытиями паровозно-ремонтных мастерских. Было тихо как в воскресенье, хотя не было воскресенье.

На веранде миссис Торнхилл угощала Дэйна и рассказывала ему о китайском павильоне, выстроенном на ее личные деньги. Дэйн приехал в собственном составе, с локомотивом «Королева Огня № 1» с машинистами в кепи и галунами и брюках с лампасами. Он привез с собой чудака-француза с подкрученными усами, в узких, клетчатых штанах. Француз совершил путешествие от Нью-Йорка до Сан-Франциско по новой железнодорожной линии. Он рассказывал, что в горах дикого Запада ему удалось убить прямо из «обсервейшен-кара» большого медведя — «гризли». Вообще он был большой поклонник всего чудесного: он говорил о проектах плавания под водой в железных цилиндрах и об охоте на акул из духового ружья. Миссис Торнхилл обратила его внимание на рабочий поселок и сказала, что не следует забывать о меньших братьях. Когда она назвала цену поселка, француз округлил глаза и заметил, что поселок имеет прекрасный вид из «обсервейшен-кара».

Подъехал шарабан. Эдвард Торнхилл появился на веранде и, бросив на кресло перчатки, приветствовал гостей церемонным поклоном.

— Я рад, Дэйн,— сказал он,— дело кончено, Айви, все в порядке, торговались.

— Ах, торговались, Эдвард,— рассеянно сказала миссис Торнхилл, бряцая крышкой от китайского чайника.

— Но где же Этель? Этель! Этель!

— У нас свои дела,— объяснила она Дэйну,— у мужа свой счет, у меня свой счет. Этель!

В это время инженер Кеннорт придвигался как уличный кавалер, стараясь обнять плечи Этель. Он покраснел как кумач. Этель встала.

— Зовут. Я люблю вас, но это опять идеалы. Перси, лучше не будем ссориться. Приятно, когда...

— Нельзя же выйти замуж за паровоз,— сказал Кеннорт, сдерживаясь от сладкой ненависти.

— Нет, но все же... Мы будем надеяться. Ах, зовут!

Кеннорт шел, заломив шляпу на затылок, насмываясь: «мой милый инженер Кеннорт, когда же будут деньги, чорт!» и глядел на свои гляцевитые ботинки.

Общество, где идеал мужчины — ловкий мошенник, а идеал женщины — содержанка!

(Но будут и деньги, кутежи и свобода! Все придет!)

Были сумерки и на насыпи тихо курились три трубки. Над стеклянной крышей депо, над поворотным кругом, стрелками и скрещениями плыли багряные облака, похожие на римские виллы. Сипел локомотив «Патрокл», разводя пары.

До инженера долетел обрывок разговора.

— Свидетельствую перед всеми. Инженер Кеннорт давал мне деньги на взрыв. Меня подкупили. Сэм Грегори умер неправильно, я готов присягнуть, я, Льюис Роджевский!

— Успокойся, Льюис,— сказал Эл Кимбс,— мы не оставим этого дела.

— Он сказал, что сочувствует анархии. Он воспользовался моей доверчивостью. Мне никогда не везло. Пусть меня замучат до смерти привидения, вши, блохи, черви!

— Успокойся, Льюис.

— Я никогда не успокоюсь. Никогда!

Уже у самой дачи инженер встретил управляющего, маленького, круглого человечка с землистым цветом лица.

— Надо убрать Роджевского,— тихо сказал ему инженер.— Он начал болтать.

Утро вставало медленно над глухим лесом.

В те времена американские леса еще стояли сплошной стеной. Сосновые чащи гудели на пригорках и, уходя в глубь страны, сливались в синие тучи, гудевшие непрестанно, как в раковине. Зеленые лесные реки извивались в гущах ракитника. Запах плесени от их медленной воды сливался со смолистой струей сосен. Их короны качались, осыпаясь иглами. На полянках словно кружку меду вылили на зеленую тарелку. Раннее солнце красило лес рыжими и лиловыми тенями. Наверху по небу плыли медленные облака, подкрашенные бирюзой, и казалось, что земля несется по облакам, как поезд по стрелкам, и непрерывный гул катился по лесам, как далекая канонада.

Майор Синклер сдержал лошадь у лесного озера. Блестело треугольное зеркало воды и в нем носились пятна зеленые, голубые и медные. На дереве была срезана кора и на мякоти две перекрещенные стрелки говорили, что путь в эту сторону закрыт. С другой стороны была втравлена порохом синяя рука Чичиба, указывавшая на близость великого духа. Всадник вдохнул в себя воздух. Тянуло дымком.

— Очимегон,— сказал он, озираясь.

Знаки на озере Очимегон указывали на пчельники, у которых сторожил дух Чичиба. Но это были дикие индейские соты. В стороне, за речкой лежала бедная деревушка. Через лес редко ездили. Глубокие окаменевшие колеи великого пути на Запад тянулись южнее. На полянке стоял грубо вырезанный столб — лицо лисицы Чичиба. Разноцветные истлевшие шкурки болтались кру-

гом него. Никто ему не верил. Тишина разлилась по лесу, как густой сироп. Слышен был издалека стук дятла. Капала вода в омуте. На индейском становище залились собаки. Старухи перестали толочь маис, повернули пергаментные лица. Их супруги, опьяненные с утра легкой маисовой настойкой, невозмутимо продолжали курить и зябко кутаться в пестрые одеяла. Всадник проехал издали. Куча голых детей собралась у околицы. Но всадник миновал деревню и скрылся как тень в самой лесной гуще. Снова замолоти ручные жернова и завздохали старухи, призывая бессильного Чичиба. Полоса отчуждения приближалась к могильникам.

Всадник через десять минут проехал по полянке мимо этих могильников, в которых лежали каменные стрелы и наконечники копий. Пестрые знаки лисицы на коре деревьев указывали место былых праздников. Утро становилось все ярче.

Около девяти всадник миновал порубку в самой глуши леса. Стучали топоры. Здесь уже рыли землю и мачтовый лес превращался в шпалы. Дымились костры, нестройно кричали рабочие, вытягиваясь в очередь за похлебкой. Дятел соперничал с топорами вдалеке.

Севернее Очимегона начинала вклиниваться великая западная прерия. С горы перед всадником открылась большая равнина, еще пересеченная синими цепями пролесков. В равнине свистел поезд. Ветер дул с севера и относил синий дым веером. Внизу, в зарослях орешника краснели черепичные кровли большой фермы. На ферме скрипели журавли колодцев. Мерно гудела водяная мельница. Из труб тянулся легкий дымок. Аист плыл над лугом. Этот дым, этот румяный пшеничный хлеб, золотой как деревенское масло, эта булка поджаристая от масла — ее пекут с утра и сегодня, должно быть, у них рано затопили печи.

Школьники поехали в школу на двуколке, сами, без взрослых, хохоча на всю долину. Негритянский мальчик в соломенной шляпе по уши хлопал бичом с бессмысленным восторгом художника и пел:

Я поеду на Юг
К своей девушке на Юг,
Пою
Полли-волли-дудль целый день!
Моя девушка — она
Замечательная девушка,
Поет
Полли-волли-дудль целый день!
Прощай, прощай,
Прощай, прощай,
Прощай, прощай, моя фея,
Я поеду в Луизиану,
Я найду там Сузиану,
Будем петь
Полли-волли-дудль целый день!

Всадник подумал, что если железнодорожную колею проведут слишком близко, то ферма будет трястись по ночам от поездов. Но ее, кажется, вели на мельницу Бена Джонса.

Он тронул лошадь и поехал почти без дороги, думая о том, как изменит ландшафт стальная колея и как разбогатеет Джонс. Утро уже совсем расцвело, когда его конь проехал мимо азалий в палисаднике. Бешено залаяли собаки, скрипнула калитка, четырнадцатилетняя девчонка уронила корзинку и бросилась к нему с криком:

— Гарри! Гарри! Гарри!

На ферме гнали коров на водопой. Хлопали ворота на ветру. Стучал молоток.

Девочка носилась по двору с криком:

— Гарри! Гарри! Гарри приехал!

Наконец на веранду выбежала босиком сама хозяйка — молодая, полная женщина, с круглым розовым лицом — Эвелин Джой. Она приложила ладонь щитком над глазами и сказала смеющимся голосом:

— Гарри... я тебя жду все утро...

Майор слез с лошади и пошел к ней, неуклюже разминая усталые ноги.

18. МАЛЕНЬКОЕ СОЛНЦЕ

Что это! Я ищу глазами маленькую, милую фигурку Дот, но она и все другие растаяли в воздухе и я остался один. Сверчок поет на печи. Сломанная детская игрушка валяется на полу. И больше никого нет вокруг меня.

Диккенс.

Воскресный день бывшего майора Синклера был посвящен домашним заботам.

Будильник разбудил его в восемь часов утра. Это был семейный швейцарский будильник. Он не звонил, а мягко и нежно играл «Рыбак рыбачку полюбил и все на свете позабыл». Песенка продолжалась пять минут, после чего раздавались вежливые восемь ударов.

Синклер обычно подымал голову и со сна удивленно водил глазами, как бы не веря, что у него в доме может быть такой будильник. Потом майор обычно снова засыпал.

Тогда будильник без всякого ожесточения настойчиво и с полным отсутствием фантазии — как классный наставник в закрытом пансионе — начинал мягко играть «Ach, mein Scherz, ach, mein Herz» и снова звонил — восемь басовых ударов и два теноровых — восемь часов пятнадцать минут. В девять часов Синклер встал и надел халат. Он еще не привык к новому распорядку вещей и все его радовало — прозрачная вода, принесенная негр-тянкой прямо из колодца, радужная мыльная пена и отражение

солнца в эмалированном тазу. Он долго рассматривал это маленькое солнце. Оно ему нравилось. Оно совсем не резало глаз.

После туалета он начал ходить по комнатам. Он открыл буфет и посмотрел в него с любопытством. Все было в порядке.

Сверху стояли тарелки, блюда, соусники и длинные блюда для рыбы с нарисованной на них необычайного изящества селедкой, розовые компотники с золочеными листьями и фарфоровые корзинки для печенья. Ниже были расположены суповые вазы с бабочками и специальные конфетные вазы с грациями, играющими в серсо. Даже на перчатках был нарисован сельский вид с ветряной мельницей и с надписью «Привет из Карлсруэ».

На самой верхней полке буфета стояли графины из полосатого красно-зеленого стекла в серебряной оправе, при каждом девять рюмок. Еще один хрустальный сервиз с разводами в стиле рождественской елки. Хрустальное же блюдо для фруктов на подставке, изображающей полутолую великаншу с широкими ступнями, поддерживающую это блюдо рукой. Серебряное ведро для шампанского с ручкой в виде лебединой шеи, Шеренга коротких пузатых бокалов для столового вина и длинных бокалов для десертного вина, а также набор рюмок овальной формы, отделанных листьями оливы, и рюмок длинных, зеленого стекла, на витой позолоченной подставке. Две дюжины фужеров на высоких ножках, похожие на аистов. Целая вереница узорных стаканов и кружка для эля в виде бочонка, на крышке которого восседает толстый пивной божок, а на стенках очень художественно изображена бронзовая пена. Четыре стеклянных бокала для цветов.

Синклер полюбовался тонким строем чистого стекла и металла, полюбовался таинственным полумраком, царящим в нишах и галлерейках этого буфета.

Он полюбовался еще суповыми ложками, и страшными кривыми трезубцами для рыбы, и широкими серебряными лопатками для тортов, и маленькими плоскими ножиками для фруктов. Он открыл нижнее отделение специально за тем, чтобы взглянуть на большое сооружение, украшенное голубым нидерландским львом, добрым Гансом в синем жилете с золотыми пуговицами и миловидной Гретель в белом чепце и деревянных ботинках. В нескольких отделениях этой храмины полагалось лежать перцу, корице, мускату, соли и сахару. Имя какого-то Ван-Гуйдена красовалось внизу как девиз.

Потом майор посмотрел на самый буфет.

Буфет был украшен резными гирляндами винограда, зайцами, охотниками и кабаньими головами. Когда майор отошел от него, он издал тонкий стеклянный рабелепный звук, выражавший одобрение хозяину. А вазочка в виде 38-пушечного фрегата. «Созвездие», бегущего на всех парусах! А желтое полированное яйцо, на котором, если поместить его в плоскость глаза, становится видна свежая девушка, предлагающая на блюде собственные груди с надписью «Monsieur est servi!» А эмалевые миниатюры с

портретами Поля Джонса, маркиза Лафайета, генерала Ли и Джемса Оглеторпа!

На ковре висело оружие: собственные майора карабины Лефосе и Винчестера, ружье Генри, старое ружье с медными пистонами, два револьвера Кольта и один многозарядный французский пистолет с медной пластинкой, на которой значилось, что он принадлежит герцогу Берри. Над ними висели два индейских копья, топорик и «вампус» с изображением лисицы, а на особом почетном месте красовалась узкая, парадная сабля с синей ленточкой, на которой было вышито пять серебряных звезд — особая награда военной школы в Вест-Пойнте.

Майор оглянулся на буфет. Тонкий фарфор и безупречная сияющая сталь с желобками и выемками! Это гармонирует.

Синклер почувствовал необходимость окончательно закрепить эту гармонию и направился в кухню. Это была добрая, старая кухня с огромным очагом, подвешенным к балке безменом и тремя стульями с высокими спинками. С потолка свешивалась ветка омелы и гирлянды луковиц. В углу стоял дубовый стол, всегда готовый принять горячие пироги прямо с противня. Масло было подвешено в ведре, чтобы сохранить свежесть и твердость, рядом висели меха для раздувания огня, а на столе стоял полированный подсвечник со свечой.

Солнце светило через широкое окно с переплетом из частых квадратиков. Все полотенца в кухне были обшиты синей морской каймой и вся кухня пахла соленой свининой, рыбой, вареной картошкой и черным хлебом.

Эвелин Джой варила мужу овсянку. Так как близорукость ее за эти годы увеличилась, она изредка надевала большие круглые очки, которые окончательно делали ее розовое лицо кукольным. В руке она держала ложку. Поверх красного халата на Эвелин был надет передник с той же свежей морской каймой. Негритянка мыла окно мочалой.

Синклер воспользовался тем, что негритянка загляделась в окно, поцеловал жену и откинул у нее со щеки белокурую прядь. Эвелин улыбнулась и ответила ему горячим поцелуем, в котором что-то от искусства актерской игры.

— Я думаю, Эвелин, — сказал Синклер, — я думаю... что я, бишь думаю... я думаю, что надо вышитый абажур на китайскую лампу.

— Да, — ответила Эвелин, поправляя очки, — я его сама вышию, не беспокойся.

— Очень хорошо у нас дома, — сказал Синклер, глядя на негритянку.

Эвелин снова улыбнулась. Улыбка вышла лукавая. Снова ямочки появились на щеках в нескольких местах.

Синклер посмотрел на нее и где-то в глубине сознания у него шевельнулась смутная мысль об измене.

«Это неизбежно, — подумал он, вздыхая, — но не на первом году...»

Он продолжал осмотр дома. На столике Эвелин стояло бесчисленное множество граненых флакончиков с французскими духами.

Синклер вспомнил, как она раздевается, как снимает сзади валик для тюрнюра, расшнуровывает корсет и обнажает спину с большим родимым пятном. Тело у нее совсем не дряблое.

Майор снова вздохнул.

Он открыл ящик в ночной тумбочке. Здесь, среди кожаных папилюток, кружевных платочков и обрывков гипюровых кружев, он нашел позеленевшую кокарду северной армии.

На обороте было нацарапано: «Навсегда. Дюваль».

— Что это такое... — буркнул Синклер, — Эвелин... Эвелин...

Эвелин вошла раскрасневшись и спустила очки с белого, круглого лба.

— Что это такое?

— Какая-то чепуха, Гарри. Грязная кокарда.

— Выбрось ее вон! Зачем держать грязные вещи в столике! Эвелин взяла кокарду двумя пальцами и выбросила ее в окно

НИКОЛ И ТИХОНОВ

СОРОК СЕМЬ

В феврале 1934 года сорок семь
шугбундовцев после боев в Ве-
не совершили героический по-
ход, пройдя с боями путь от
Вены до Чехословакии.

1

ЕЩЕ в ушах звенело, словно шлемы
Бил непрерывный, небывалый град,
И каждому казалось: онемел он,
Идет и мыслит просто наугад.

В них продолжали улицы толпиться,
Дробиться стекла, падать фонари;
Неясный свет на шлемы и на лица
Сочувственно кидали пустыри.

Смеялись дети где-то, ворковали —
Еще пылала память, как дома,
В глазах темнели схватки между зарев,
Вдруг все исчезло: высилась зима.

Она была грустна, широкоплеча,—
Полз как червяк пред нею поезд, мал —
И говорила на таком наречьи,
Которого никто не понимал.

Под белым солнцем плоским, побратимы
Себя нашли перед полей чредой,
Как мысли ход ничем неотвратимый,
Шел лыжный след, подернутый слюдой.

2

Ни домов, ни людей, ни авто,—
Только воздух зеленый и синий,
Никогда б не подумал никто,
Что в Европе зима, как в пустыне.

Как в пустыне и жажда встает,
А колодцы — запретная зона,
Каблуком расколачивай лед,
И соси его сахар зеленый.

Под рукою и компаса нет,
Нет и карты какой завалящей,
Заходящему солнцу в ответ,
Зажигай своей воли образчик.

А появится вражьих машин
На дороге служебная стая,
Бей чуть выше хеймверовских шин,
Не волнуйся, в атаку вrostая.

Не последняя это зима,
Потерпи — и побудь человеком,
Ты увидишь: улыбка сама
Заиграет над мертвенным снегом.

3

Они идут — растаял город —
Как будто век идут,
Как будто к векам липнет порох
И двигать веки — труд.

Какая воля ноги носит,
Дымится джунглей муть,
И кто врага с пути отбросит,
Выигрывает путь.

Все джунгли тягостней и шире —
То злая широта,
Немного значат в этом мире
Покой и доброта.

Одну винтовку держат крепко,
Сжимают на ходу,
Одна есть в памяти зацепка:
Европой ли идут?

Иль больше нет земли подобной,
А все что в мире есть —
Пустыня, шум лесов подробный,
Простор — смертельный весь.

Иль это сон, который снится
Им про самих себя,
И стоит крикнуть — сон затмится,
Виденья погребя.

Или, действительно, измена
Смела весь вольный свет,
И никакой знакомой Вены
На свете больше нет?

И каждый знает: он отстанет,
И хлопнет черный кнут —
Он только трупом на земь грянет
И труп штыком толкнут.

Лощина, мгла — канал за нею
Дорогу преградил,
Никто не смел сказать бледнея:
— Товарищ, погоди!

И сердце холодом дышало,
Как кровью — в той воде,
Упало солнце у канала,
От страха за людей.

4

Уж если о тьме тут зашел разговор,
Так тьме заплатили долги мы,—
По нашим следам, по стезе боевой,
Шагали, упорством томимы.

О, братство рабочее — наперекор
Ты шло без огней, без дороги —
Прожектора вражьего падал топор,
Но вырубить смог он немногих.

Трещали мундиры под коркою льда,
Как колокол сердце гудело,
Как будто не мясо, как будто руда —
Рабочие кости одела.

Плелись они, падали, шли бормоча—
Но всю красоту человечью
На острых они выносили плечах,
О том и не ведали плечи.

И не было в мире зимы никакой,
И не было в мире пустыни,
Предутренний падал на лица покой,
Какого не знали доньше.

АЛ. ИСБАХ

ПОБЕДА

Рассказ

1

Он стоит высоко на трибуне, среди зеленого солнечного луга. Перед ним строгим каррэ выстроена вся дивизия. Комбат Быков, как всегда подтянутый, застыл на правом фланге. А вот и его второй взвод. Помкомвзвода Меньшиков говорит что-то бойцам, и его крикливый голос даже здесь слышен командиру. Он недовольно качает головой. Но сейчас, впрочем, ему совсем не до Меньшикова. Он стоит, возвышаясь над всей площадью и сжимает горячими руками древко.

Легкий ветерок играет кистями донецкого знамени и тонкий шелк, расшитый золотом, тихо шуршит над головой комвзвода.

Он понесет это знамя через луг. Вся дивизия будет смотреть на него. А он будет шагать неторопливо и уверенно, как должен шагать знаменосец.

Он стоял на трибуне уже второй час, но не уступил бы никому своего почетного места.

Внезапно небо заволочло грозowymi тучами.

Только что ослепительно сияло солнце и вот стремительный, совсем южный ливень хлынул непрерывным потоком.

Засуетились командиры, послышались отрывистые звуки команд. Гости, смеясь, попрятались под брезентовые тенты.

И только знаменосец все так же стоял на трибуне, сжимая мокрое древко.

Дождь прошел так же быстро, как и начался. И солнце вышло еще более молодое, умытое, отражаясь в мириадах капель, рассыпанных по зеленому росистому лугу.

Древко отсырело и на левом плече гимнастерки отпечатались красная полоса. Но это совсем не огорчило знаменосца. «Боевая отметина» — улыбнулся он. Улыбка у Грачева была широкая, почти детская.

Нарком был в белом кителе, и Грачев сначала не узнал его. Площадь сразу затихла.

— Сми-и-рно!...

прокатился по рядам густой голос комдива.

Грачев снял чехол и знамя сверкнуло золотом букв, вышитых горняками Донбасса.

Он пошел через луг прямо к народному комиссару. И все, и в войсках и на трибунах, смотрели на молодого знаменосца с красной отметиной на левом плече.

Ему хотелось, чтоб раздвинулся этот луг, чтоб так итти и итти, долго, бесконечно, ощущая тяжесть древка на своем плече.

Нарком взял у него знамя. Он посмотрел на Грачева и чуть заметно усмехнулся. И сейчас же обернулся к войскам:

— Товарищи красноармейцы, командиры и политработники!...

...Вдруг нарком исчез. И на плацу все смешалось. Какие-то незнакомые люди в странных мундирах, со штыками наперевес бежали прямо на Грачева.

«Знамя» — закричал он... Штык вонзился ему в живот. Он упал, изнемогая от боли... и открыл глаза.

Первое мгновение не мог понять — где он. Не было ни луга, ни солнца, ни наркома. Он лежал на койке, с обеих сторон на таких же койках тяжело дышали люди... Боль в животе не унималась. Он вспомнил и застонал.

Третьего дня он возвращался со своим батальоном из лыжного похода.

Прошли за два дня сто километров.

Дни были яркие, морозные. Стрельбы прошли отлично.

Комбат весело скользил на своих узких, тоночных лыжах по обочине дороги на правом фланге второй роты. Он перекидывался шутками с бойцами. И бойцам было приятно, что у них такой молодой и ладный командир.

Близ самой заставы что-то резнуло в нижней части живота. Он не обратил внимания. Но с каждым шагом резь все усиливалась. Он побледнел.

— Что с вами, товарищ комбат? — обеспокоенно спросил командир второй роты Меньшиков.

— Так, пустяки, — почти прохрипел командир батальона.

Он не мог оставить батальон на последнем переходе.

«Вот незадача», — тревожно думал он.

В казарменных воротах их встречал полковой оркестр.

— Товарищ командир полка, — отрапортовал комбат, — товарищ командир полка... И упал без чувств.

II

Режущая боль сменилась тупой, гнетущей, расходящейся по всему телу. Иногда боль совсем исчезала, но лишь только он пытался привстать на койке, — она возобновлялась с прежней силой.

Он лежал так уже несколько дней. Вынужденное бездействие совсем измотало его. В эти дни должны были проходить зимние контрольные стрельбы. Переходное знамя дивизии, — то самое знамя, древко которого когда-то сжимала его рука, — давно уже отвоевали соседи и Грачев обещал своему командиру полка «от-

стрелять» у соседей знамя. Он мечтал опять пронести развевающееся полотнище на ноябрьском параде перед всей дивизией, а теперь — он валяется здесь, и никто даже не может определить, что с ним такое.

Врачи навещали его часто. Он позволял им мять себя, выстукивать, выслушивать, измерять. Каждый врач казался ему избавителем. С детства, после того, как сельский фельдшер удачно вскрыл болезненный нарыв на ноге — осталась у него эта бесприкословная, почти мистическая вера в медицинскую науку.

Ему казалось, — взглянет вот этот седобородый человек в золотых очках, — и все станет ясно, и все пройдет, он опять станет сильным и крепким, и в день Октября он поведет свой батальон на Красную площадь.

Постепенно терпение начало оставлять его. Он лежал теперь в палате один. Соседние койки были пусты, и это одиночество еще более угнетало его. Врачей вокруг него становилось все больше. Они советовались друг с другом. Они изумленно пожимали плечами, они о чем-то тихо спорили. А комбат все лежал и лежал.

Однажды, после бессонной ночи, он почувствовал, что больше здесь оставаться не может. Он постарался подняться. Боль была уже привычной, и даже почти неощутимой. Он тихо, едва ступая, подошел к шкафу, где хранились его вещи.

Он оделся и кое-как затянул ремень. Потом приоткрыл дверь. Коридор был пуст. Тускло горела слабая лампа, вдали, в вестибюле на скамейке дремал дневальный.

Он быстро прошел по коридору. Громко хлопнула входная дверь. Дневальный не проснулся.

Грачев быстро шагнул по улице, почти не чувствуя боли. Он пришел в полк сразу после утренней поверки. В штабе батальона никого еще не было. Комбат прошел во вторую роту.

Он принял рапорт. Он вглядывался в знакомые лица красноармейцев, встречал участливые глаза. Он чувствовал себя взволнованным после горького одиночества палаты.

Опять он был у себя, дома, среди своих бойцов. «Да и болезни у меня никакой нет, — думал он. — Психология все...»

— Товарищ комбат, — вошел дежурный, — вас просят к командиру полка.

Он шагнул через двор и колени его опять подгибались от тупой боли. Перед командиром полка он едва стоял.

— После выписки из госпиталя, пойдете под арест, — нервно сказал комполка, постукивая пальцем по столу. — Видано ли такое дело...

— Я думал... завтра... завтра, — почти прошептал Грачев и ухватился за край стола, чтобы не упасть.

— Не ожидал, товарищ комбат, такого легкомыслия.

Комполка качнулся перед Грачевым и чудно взмахнул головой.

В тот же момент он выскочил из-за стола и во-время успел подхватить комбата.

— Добегался, герой..

Вызвав госпитальную машину, командир полка проследил за тем, как укладывали в нее Грачева. Комбат молчал, закрыв глаза и беспрестанно вздрагивая. Вернувшись в кабинет, командир полка долго ходил из угла в угол.

— Стрельбы... Стрельбы видите ли у него завтра, — запальчиво сказал он вызванному дежурному, потом спохватился и резко добавил: — Узнать, от какой части сегодня наряд в госпитале.

— Немедленно донести, — бросил он вдогонку дежурному.

III

Он вошел в эту комнату, точно в жилище таинственного всемогущего мага. Во тьме мерцали багрово-красные лампочки, двигались силуэты. Здесь, казалось ему, должно открыться все. В этой комнате решались вопросы жизни и смерти, решались человеческие судьбы. Был он раньше веселым, жизнерадостным человеком. Двадцать пять лет. Командир батальона. Близкие товарищи звали его Саша или Шура, а любимая девушка (он расстался с ней вот уже два года) в отличие от всех называла его Саней.

Но для них, для этих таинственных людей в белых халатах он был просто больным № 213. Сколько их, этих больных, переступало порог темной комнаты. И каждый надеялся, ждал. Каждый хотел жить, работать, любить, смеяться.

Грачев не боялся смерти. Он просто никогда не думал о ней. У него и времени-то не было думать о смерти среди густых, наполненных работой дней. Он не был трусом. Даже наоборот. Он любил опасность, любил риск. Он, первый во всей дивизии, совершил прыжок на лыжах с трамплина на пятьдесят метров.

И сейчас, в эти долгие дни безделья начали одолевать его мысли. Вот и вчера...

— Товарищ, — сказал глухой голос из тьмы, — станьте сюда, на эту ступеньку.

Осторожно, передвигаясь во тьме, он подошел к высокой стойке. Он стал на деревянную подставку и почти моментально доска опустилась ему на грудь и на живот. Он очутился в клетке. Он уже не был мыслящим, страдающим, чувствующим человеком — он стал материалом, объектом исследования, над ним совершался сложный, почти магический процесс. Сейчас эти люди направят на него аппарат и все обнажится для них. Они будут читать по его внутренностям, как по книге. Он содрогнулся. Стойка зашаталась.

— Спокойно, товарищ, спокойно, — сказал тот же голос.

«А интересно, можно ли изобрести аппарат, просвечивающий человеческий мозг, читающий человеческие мысли», — подумал Грачев.

...Сколько времени они будут так держать меня... Ему, впрочем, было уже все безразлично. Он устал и если бы доски клетки не

поддерживали его, он сел бы тут же на этой деревянной подставке.

Боль в животе опять была резкой. Казалось кто-то колет его острой шашкой, вонзая клинок и медленно поворачивая его в теле.

Наконец, они отпустили его. Он едва нашел в себе силы одеться. Внезапно дали свет — и вся загадочность комнаты исчезла. Стулья, стол, аппарат — все выглядело сейчас чересчур просто и буднично. Грачев усмехнулся и даже повеселел.

За перегородкой врачи склонились над снимком. Он не видел их лиц, не слышал их разговоров, он знал только, что там, за перегородкой решалась его судьба.

Он лежал на койке, прижавшись лицом к подушке. Подушка была мокра от слез. Никогда в жизни он не плакал. Он был совсем мальчишкой, когда убили на фронте отца. Мать умерла еще раньше от голодного тифа. У него не было дома, не было родных. Он ходил по дорогам страны, он никогда не просил хлеба, любовь к труду воспитал в нем отец с первых детских лет. Он просил работы. Но кому нужна работа малосильного парнишки. И он голодал. Счастливые, невозвратимые дни детства!..

Однажды, он набрел на полковую походную кухню. Вкусный, нестерпимый запах лаврового листа вместе с паром, вырывался из-под крышки котла. Кони лениво пощипывали траву поодаль. Внезапно один из коней рванул с места, оборвал ремень и помчался через поляну. Сонный повар растерянно выскочил из шалаша.

Конь бежал прямо на Сашу. Он бросился наперерез. Ему удалось уцепиться за гриву. Он быстро взметнул свое маленькое тело, и мирная обозная лошадь сразу подчинилась ему. Он гордо привел ее к полковому повару.

А потом он ел горячий, жирный армейский суп. И впервые за все последние годы он спал в ту ночь сытым и в тепле. С того дня он ведет свой послужной красноармейский список.

Его называли сыном шестой роты. У него было двести отцов и ни одной матери. Ему сшили шинель, он ходил в огромном шлеме, который подарил ему повар... А командовал ротой как раз нынешний командир полка.

Отцы кончали службу и уходили. Сколько их, этих отцов, сменилось у него за все эти годы. Страна богатела. Он стал получать посылки из разных концов страны. Слали отцы ему домашние печения, и всякую снедь, и фрукты. И звали к себе, в колхоз, в станицу, в семью. А первый приятель его, бывший полковой повар, сватал за него свою сестру...

Он вытянулся и поплотнел. Научился грамоте и ходил в школу. А когда вызывали в школу родителей на какое-либо собрание, по общему поручению шел сам командир роты.

Саша отвечал на письма своих отцов. Но из армии уйти он не мог. И даже карточка сестры повара не соблазнила его. Пятнадцати лет он стрелял лучше всех полковых снайперов, и никто, как Грачев, не мог мчаться на лыжах за быстрым конем.

Семнадцати лет он подал рапорт и был зачислен в полк и получил винтовку.

Когда вернулся бывший командир роты из Академии и принял батальон, он едва узнал в рапортующем ему ловком и ладном дежурном командире взвода своего ротного приемыша.

Так и жил Саша Грачев в своем полку. Здесь приняли его в комсомол и в партию, и, казалось ему, нет такой силы в мире, которая могла бы оторвать его от Красной армии.

— Вы военный человек, Грачев,— сказал ему вчера врач.— Вы должны быть твердым.— И он произнес это страшное слово.— Язва,— сказал профессор,— у вас язва, Грачев. Операцию не рекомендую. Пока не рекомендую,— добавил он.

Комбат побледнел, глубоко вздохнул, но пытался быть спокойным.

— Доктор,— попросил он,— скажите прямо, доктор,— конец?

— О нет,— замахал руками врач.— Об этом не может быть и речи. Но...

— Но... — сказал доктор и с сожалением остановил взгляд на широких плечах комбата.— Но... жизнь должна быть совершенно спокойной... без малейшего напряжения...

Он был чудаком, этот седобородый доктор, и он не мог понять, что это и был конец для Грачева.

... Никогда в жизни Грачев не плакал. Его избивали, в него швыряли камнями, на него натравливали собак. Он только зло блеснул глазами и огрызался. А теперь он долго беззвучно плакал. И слезы не приносили ему никакого облегчения.

... Спокойная жизнь,— сказал доктор,— работа без напряжения...

Он любил сложные маневренные ходы, лесные бои, ночные схватки. Он любил неожиданным маневром выйти в тыл противнику и этим решить исход боя. Он любил в морозный день, в стужу, вести свой батальон снежными полями на лыжах, наперерез ледяному ветру, придти к стрельбищу, не отдыхая открыть стрельбу по мишеням и дать рекордное количество очков... Ему не пришлось биться с живым настоящим врагом — но он готовился к будущей встрече с ним.

Он любил после ночных походов развалиться в палатке на кошке, откинуть полог, смотреть в глубокое звездное небо и слышать далекие девичьи песни, долетающие с околицы.

Он любил жизнь. Именно такую жизнь любил Грачев. И другой жизни для него не существовало.

— К вам пришли, — тихо сказала сестра. В коридоре зашумели. Они вошли в белых халатах — такие чудные и странные. Комроты Меньшиков, полковой секретарь Кириллов и отделком Дроздюк. Дроздюк держал какой-то тщательно увязанный пакет. Грачеву стало стыдно своего заплаканного лица. Ну, да теперь уже все было безразлично ему.

— Здравия желаем, товарищ комбат, — рявкнул Кириллов, — и сам испугался. Здесь, в этой палате не умещался его громоподобный голос.

Меньшиков чем-то напоминал полкового фельдшера и над правым карманом халата желтело у него расплывшееся пятно иоду.

— Товарищ комбат, — сказал торжественно Меньшиков. — Пришли сообщить вам радостную новость. — Знамя отвоевали...

Грачев даже привстал на кровати. Знамя..

— Ну и как? — спросил он. — Как комполка?..

— Спрашиваешь, — ухмыльнулся Кириллов, — полная победа!.. Ну, брат, мы тебе сюрприз приготовили. Давай, Дроздюк, давай, парнишка.

Дроздюк развернул свой пакет и Грачев узнал.. чехол. Тот самый чехол, который он первый снимал со знамени пять лет назад на солнечном зеленом лугу.

— Хотели знамя принести, — хитро подмигнул комбату Кириллов. — Не разрешил командир полка.

От волнения Грачев задыхался.

— Кирилыч, — прошептал он, — Кирилыч. Ребята... — и больше он ничего не мог сказать. Он вытянулся и затих.

Гости встревоженно переглянулись.

— Эх, переволновали комбата, — сказал Меньшиков. — Вздорная наша затея, не годится она больному человеку.

Они тихо свернули чехол и вышли, стараясь едва слышно ступать по ковру.

А Грачев долго еще лежал так, закрыв глаза, ни о чем не думая, ничего не чувствуя. Могло показаться, что комбат спит, но он и не спал.

IV

Рано утром он вызвал старшего врача.

— Доктор, — сказал твердо и решительно комбат, — доктор, я много испытал в жизни. Я привык смотреть правде в глаза. Два вопроса, доктор. Только два. Возможна ли операция?

Профессор растерянно протирал очки. Холодный и трезвый у операционного стола он всегда мучительно переживал эти минуты окончательных решений.

От его слов зависела человеческая жизнь. Какая огромная невыносимая ответственность лежала на его немолодых уже, уставших плечах.

Не надевая очков, он пристально посмотрел на комбата. Грачев глядел на него упорно и требовательно.

— Я не буду давать вам медицинских анализов вашего состояния,— медленно сказал профессор,— вы все равно не поймете их.

— Я не буду ничего скрывать от вас. Хирургия — это искусство. И если есть хоть один шанс из ста на возможный благополучный исход операции, мы не можем теоретически исключать ее. Этот шанс есть. Есть несомненно. Вы еще молоды и крепки. Но... — развел руками профессор, — вы хотите правды... В данном случае... — Он задумчиво пожал плечами. — В конце концов медицина это не математика, — тихо сказал он, словно отвечая не только комбату, а самому себе. Он устало посмотрел на Грачева и опять принялся протирать совсем уже чистые очки.

— Второй вопрос, доктор. — Комбат старался быть совсем спокойным. — Если операции не будет?

— Будете жить, будете жить, дорогой мой. Подлечим и будете жить, — засуетился профессор.

Грачев досадливо махнул рукой и чуть не вскрикнул от острой внезапной боли.

— Как жить? Как жить, доктор?

И профессор понял его.

Старый врач понимал, что та жизнь, которая предстояла Грачеву, жизнь без малейшего напряжения, жизнь без труда, — не могла ничем привлечь комбата. Но это все-таки была жизнь.

И он был властен сохранить эту жизнь человеку, лежащему перед ним.

Он медлил с ответом, но Грачев понял его без слов. Он опять приподнялся на кровати.

— Приготовьте меня к операции, доктор, — твердо сказал Грачев.

Никогда в жизни не испытывал такого волнения Парфентий Иванович Быков — командир стрелкового полка.

Выйдя из кабинета профессора, он долго не решался идти в палату Грачева. Всегда аккуратный во всем, он забыл завязать тесемки халата и они сиротливо болтались на его широкой, выпирающей из халата спине.

Он как-то не думал никогда о своем отношении к Грачеву. Совсем мальчишкой тот вошел в его жизнь и укрепился в ней. Он незаметно привык к этому светловолосому мальчику в огромном, на уши сползающем шлеме, общему сыну его, Быковской роты. И только в Академии понял, что любит его и скучает по нем. Саша писал короткие, наивные и смешные письма. — У начальника штаба, — сообщал он, — новый маузер в огромной деревянной кобуре... — И Быков ясно представлял себе, как смешно висит этот маузер на боку маленького начштаба. После этих писем Быков чувствовал себя всегда растроганным. Он вспоминал

своего беловолосого приемыша и улыбался ласковой, теплой улыбкой. Вытянулся поди — воин...

Он вернулся из Академии. И так вот продолжалась их жизнь бок-о-бок. Они по-настоящему любили друг друга. Но никогда ни одного слова об этом не было произнесено между ними.

И никто, даже жена, перед которой Быков несколько стыдился этой своей привязанности, даже жена не знала, как тяжело переносил командир полка неожиданную болезнь Грачева. И если говорить откровенно, это он ведь, именно он, надоумил Кириллова снести комбату чехол от знамени.

...Наконец, он решился и вошел в палату. Грачев лежал, закрыв глаза, но, услышав знакомые шаги, встрепенулся.

— Товарищ командир,— прошептал он.— Вот хорошо!.. (они всегда строго официально называли друг друга).

Спазмы сдавили горло Быкова. Как он похудел! Он взял его руку и тихонько пожал ее.

— Ничего, Саша, ничего,— говорил он.

Они долго молчали. В палате было так тихо, что слышно было поскрипывание ремней командира при малейшем движении. Шумы города не долетали сюда.

Надо было, наконец, решиться сказать о самом главном.

— Тебе двадцать пять лет, Саша,— неожиданно хриловатым голосом начал командир полка.— Перед тобою еще вся жизнь.— Он не знал все же, как перейти к основному, к главному, и сразу оборвал.

— Я запретил оперировать тебя, Грачев. Я не могу рисковать твоей жизнью.

Грачев резко привстал на койке. Глаза его были сухие и жесткие.

— Я никому не позволял решать за меня, товарищ командир.

— Ты можешь жить. Мы вылечим тебя.

— Как? Как жить, товарищ командир? — с горечью выкрикнул опять свой вопрос Грачев.

Комполка замолчал.

И все же он должен был спасти этого мальчика. Он не мог допустить его до операционного стола.

— Саша,— сказал он,— Саша! Подумай. У тебя будет легкая жизнь. Я прошу тебя.— Он хотел ему сказать о том, как он любит его, как он дорог ему, светловолосый ротный приемыш... Но он никогда не умел говорить о своих чувствах.

— Мне не нужна легкая жизнь,— с надрывом крикнул Грачев.— Пойми меня, Парфентий Иванович,— опять зашептал он,— пойми меня. Ты был моим учителем, моим отцом. У меня нет более близкого человека. Я не могу жить праздно... Я приму бой... Я верю, что буду жить. Мне нельзя умереть. Нельзя... Смерть... обходит... меня... с флангов. Но я ударю ей в лоб. В лоб... в лоб...

Он задыхался, он почти бредил. Он забыл о жестокой боли и горячечно махал кулаками перед Быковым.

— Нет, — сказал комполка. — Ты не имеешь права. Ты коммунист, Грачев.

Это был удар. Жестокий и беспощадный. Грачев даже откинулся назад. Но тут же выпрямился.

— А ты?.. А ты? — закричал он Быкову. — Ты принял бы этот бой?..

Горячными глазами в упор смотрел он на командира полка. Командир полка не выдержал его взгляда.

Грачев откинулся на подушку и закрыл глаза.

V

Давно он не испытывал такой легкости во всем теле.

Постоянная гнетущая боль последних недель куда-то исчезла и он чувствовал себя опять молодым и крепким.

Ему хотелось шутить, смеяться. Неяркое зимнее солнце хозяйничало в большой, светлой операционной комнате. Оно отражалось в стеклах шкафов, оно переливалось на сотнях стальных орудий, неведомых комбату, но очень умных и сложных.

И когда сестра или врач брали какой-либо инструмент, веселые зайчики прыгали по всей комнате.

Как бы хотелось ему сейчас под этим солнцем пройтись на лыжах по хрустящему снегу, или мчаться за конем, туго натянув поводья и собрав в кулак всю волю, все внимание, чтоб не оступиться и не потерять стремительного ритма.

Да, пожалуй, в этом году лыжи уже потеряны. После операции придется все же недельки две чиниться. Ну, он их использует эти две недели на подготовку к тактическим занятиям. Он вспомнил Кириллова, Меньшикова, Дроздюкова, чехол от знамени, и тихо засмеялся. Скоро... скоро он уже увидит их всех. Опять побегут привычные дни. Прощай койка! Прощай унылая тишина палаты и седобородый угрюмый профессор...

Он совсем не сомневался сейчас в благополучном исходе операции, и ему неприятно было то, что у врачей и сестер такие хмурые лица.

Уже лежа на столе перед самой «маской», он широко-широко улыбнулся, по-детски, со всхлипом вздохнул, последний раз вобрал в себя этот светлый солнечный день и... потерял сознание.

Так вот с этой широкой солнечной улыбкой он и лежал в гробу в полковом клубе.

Командир полка стоял в первом почетном карауле. Давно уже кончилось время того караула, и сменили давно остальных часовых. Но Быкова не трогали. Он стоял без движения. Он смотрел

прямо в лицо Саше Грачеву. Он не хотел поверить, что человек с такой солнечной улыбкой может быть мертв. Она говорила, эта улыбка, о том, как принял последний бой комбат Грачев. Он улыбался жизни, горячей, боевой, полнокровной — той жизни, добиваясь которой, он погиб. Он видел победу, он ее ждал. и он улыбался ей открыто и радостно.

Красноармейцы и командиры проходили мимо гроба.

Прошел Дроздюк, часто моргая, прошел Кириллов, до боли сжав зубы, прошел маленький Меньшиков, не скрывая обильных слез.

Закрывая тело комбата, тяжелыми складками спадало вниз шелковое знамя, знамя, которое перед войсками нес, через зеленый солнечный дуг командир Грачев в далекий, памятный день своей весны. А командир полка, Парфентий Иванович Быков, все стоял в почетном карауле, смотрел в лицо своего приемыша, своего бойца, своего сына.. И никто не решался сменить командира полка...

ХЭМФРИ КОББ

ПУТИ СЛАВЫ

PATHS OF GLORY

Повесть

От редакции

Недавно в книжных витринах Лондона и Нью-Йорка появилась небольшая книга неизвестного писателя Хэмфри Кобба «Пути славы». В самый непродолжительный срок книга была буквально расхватана. В Нью-Йорке с огромным успехом состоялось первое театральное представление «Путей славы». В Голливуде спешно заканчивается съемка кинокартины под тем же названием.

Вместо предисловия к своей книге автор помещает сообщение газеты «Нью-Йорк-Таймс» от 2-го июля 1934 года, гласящее, что высшие французские судебные власти смыли позорное пятно с памяти пяти солдат, расстрелянных в 1915 г. по обвинению в бунте, причем вдовы двух расстрелянных получили вознаграждение.

Несколько слов об авторе. Хэмфри Кобб родился в 1899 году в Сиене (Италия). Его родителями были американцы, постоянно проживавшие во Флоренции. Закончив среднее образование в Англии, Кобб в 1913 году вместе с родителями переехал в Америку. В 1916 году Кобб вступил добровольцем в Канадские войска и вскоре был отправлен на фронт в Европу. Отравленный газами и дважды раненый, Кобб вернулся с войны больной с расшатанной нервной системой. Начались годы скитаний по Европе и английским колониям. Кобб переменял множество профессий и написал две книги — одну о путешествии на парусном судне вокруг Африки, другую — о перемирии 1918 года. Книги не были изданы. Он написал третью: «Пути славы». Рукопись обратила на себя внимание одного английского издателя и несколько недель спустя книга вышла в свет.

181-й ЛИНЕЙНЫЙ ПОЛК

НЕВАЖНО они идут, — пробормотал тот, что помоложе.
— И ты бы так шел, если бы пережил то, что пережили они, — ответил другой постарше.

Оба солдата стояли у дороги, укрывшись за деревьями. Легкий ветерок доносил с северо-востока отголоски отдаленной оружейной пальбы. Солдат постарше сразу уловил в далеких отзвуках умирающие нотки утренней бомбардировки.

Оба солдата внимательно всматривались в приближающихся людей. Когда первые ряды поравнялись с деревьями, топот множества ног заглушил отголоски далекого артиллерийского огня. Солдат помоложе снова спросил:

— Откуда ты знаешь, что с ними было?

— По многим признакам,— ответил его собеседник.— Дело не в том, что они покрыты грязью и небриты. Такими они могли стать и не на войне. Но взгляни-ка на их лица. Видишь этот сероватый налет на коже? Такого не бывает от сиденья в кафе по воскресеньям. Посмотри,— их нижние челюсти словно отвисли. Это реакция, доказывающая, что они были долго стиснуты. Взгляни-ка на их глаза. Они открыты, но ни на чем не останавливаются. Этим людям порядком попало. Их глаза словно застыли

— Какой это полк?

— Ты задаешь столько вопросов, что тебя можно принять за шпиона. Это 181-й линейный полк, или вернее то, что от него осталось.

— Это полк куда меня направили. Пойдем за ним. Мы избавимся от необходимости плестись 15 километров до Вие и обратно. Забирай свои вещи и идем...

— Постой! Спешить некуда. Положись на меня и все будет в порядке.

— Странно, я видел номера на твоих петлицах, но не обратил на них внимания. Моя фамилия Дюваль. А твоя? Откуда ты идешь? Из госпиталя?

— Нет. Нижний чин 1-го класса Ланглуа. Только что из рая. Иными словами из отпуска.

Рукопожатие. Они в первый раз быстро и внимательно оглядели друг друга, затем улыбнулись. Полк, одетый в шинели небесно-голубого цвета — цвета голубого неба, на котором собираются грозовые тучи — уже исчез из виду за тополями, окаймляющими дорогу. Топот усталых ног замер вдали.

— Что же мы будем делать? — спросил Дюваль.

— Кто-то сказал, что хорошим солдатом считается тот, который знает, когда можно уклониться от выполнения приказа. Этот человек был прав и я хороший солдат. Нам велели присоединиться к нашему полку в Вие. Но они повидимому идут как раз оттуда. Так что нам нечего тащиться лишних тридцать километров туда и обратно. Но вслед за ними мы тоже не побежим. Деньги у тебя есть? Отлично. Тогда мы вернемся к перекрестку и выпьем пару стаканов вина. Там нам скажут, в какую сторону отправился полк, и мы пойдем вслед за ним с таким расчетом, чтобы попасть к ужину. Пошли!

Они подняли ранцы, скинули на плечи винтовки и выбрались через канаву на дорогу.

В штабе дивизии разговаривали двое людей.

Старший из них достиг того возраста, когда человек занимает высокий пост, но, несмотря на зрелые годы, не выглядит дряхлым.

Это было видно по множеству знаков отличия и по его манере носить мундир. Он был тщательно выбрит. На здоровом красном лице выделялась белая черточка усов.

У него были голубые и спокойные глаза. Линия рта и подбородка не свидетельствовали об особой твердости характера, но ни в коем случае не говорили об отсутствии воли. На левой стороне груди красовались два ряда ленточек, на правой — четыре небольших петлицы, к которым можно было прикрепить звезду командора ордена почетного легиона, если того требовали обстоятельства. Этот человек был командующим XV армией.

Второй собеседник, дивизионный генерал Ассолан, не производил на первый взгляд впечатление человека, известного в штабах под кличкой генерал Энсолан¹. Но его лицо выдавало решительность.

— Так вот, произошла досадная ошибка, которую я вам объясню, — проговорил командующий армией. — Вам известно, что за последнее время главнокомандующий выражал недовольство тем, что не был взят Прыщ. Недавно он настаивал на необходимости его захвата по причинам, которые я вам сейчас изложу. Было сделано несколько попыток захватить Прыщ, причем последний раз попытка была сделана стрелками вчера утром. Все попытки окончились неудачей.

— Ничего удивительного нет. Прыщ — Гибралтар в миниатюре.

— Дело в том, что в результате какой-то ошибки было сообщено, что Прыщ взят вчера. Я не хочу, чтобы вы ложно истолковали мои слова. Я хочу сказать, что это не имеет ничего общего с...

— Я отлично все понимаю, генерал. Вы хотите попросить меня захватить штыками то, что чернильная душа из главной квартиры уже успела по небрежности захватить кончиком своего пера...

Ассолан продолжал говорить, все более и более возбуждаясь.

— Так вот до чего дошло дело? Значит главная квартира больше не удовлетворяется атаками для того, чтобы фабриковать свои сводки. Теперь они хотят превратить свою литературу для внутреннего пользования в боевые задания. Должен ли я прочитать коммюнике, чтобы найти в нем все необходимые мне инструкции? Моя репутация боевого командира достаточно прочна в этой армии, чтобы оправдать мой отказ...

— Довольно, генерал! — сухим тоном прервал его командующий армией. — Потрудитесь выслушать меня.

— Простите, генерал, я забылся.

— Хорошо, — сказал более мягким голосом командующий армией, отчасти довольный встыжкой своего подчиненного. Он был восхищен его решительностью, которая, как он знал, поможет ему при выполнении поручаемой ему задачи.

¹ Дерзкий, нахальный.

— Все что я вам сейчас скажу, необходимо держать в полнейшей тайне. Об этом может знать лишь ваш начальник штаба, и то только при условии если вы ручаетесь за его осмотрительность. На этом участке фронта стягивается несколько армий и главное командование решило недели через три прорвать фронт бошей в этом месте. Но прорыв будет невозможен до тех пор, пока Прыщ будет в их руках. Как вы знаете, Прыщ может задерживать и свести на-нет наше наступление в самом его начале. Следовательно, Прыщ нужно взять и удержать. Несколько дней назад я видел главнокомандующего и получил от него формальный приказ взять Прыщ не позднее восьмого, т. е. послезавтра...

— Но...

— Я поручал эту операцию уже двум генералам и, как вы знаете, ничего не вышло. Если в армии кто-нибудь и может выполнить эту операцию, то это вы, Ассолан. Я бы поручил вам это дело с самого начала, но вы были по горло заняты при Суше.

— Надо вам сказать, генерал, что худшего момента для меня вы не могли выбрать. Моя дивизия разнесена, и то, что от нее осталось, совершенно выдохлось. Нет, это абсурд. Ни взять, ни удержать Прыща я не смогу. Об этом не может быть никакого разговора. Неужели главное командование не может поручить это дело свежим войскам, взятым из резерва?

— Я могу вам дать любое количество орудий, конечно, в пределах наших возможностей.

— Орудия не имеют особого значения, когда речь идет о Прыще, генерал. Он соединен с тылом сетью подземных ходов с несколькими выходами. Нет. Снаряды лишь отскакивают от него. Прыщ — это крепость.

— В таком случае, как вы предполагаете его захватить?

— Я предлагаю главному командованию выделить для атаки Прыща известное количество войск из тех, которые предназначены для прорыва неприятельской линии. Почему главное командование не использует марокканцев? Они отлично действуют штыком, а Прыщ может быть взят лишь в рукопашном бою. Кроме того, они чернокожие.

— Об этом не может быть и речи. Как я вам уже сказал, главнокомандующий рассчитывает на широкий прорыв. Вы знаете, на что рассчитывает главное командование? Продвижение на 20 километров в течение первого дня. Из людей, собранных для прорыва, нельзя выделить ни одного человека для «второстепенных» операций — как их называют в штабе. Люди должны быть совершенно свежими, чтобы расширить прорыв. Главнокомандующий полагает, что намеченное наступление будет последним в этой войне.

— Тогда атака на Прыщ будет последней для моей дивизии.

— Ну, ну, Ассолан, у вас ведь отборная дивизия. Возможно, она немножко устала, но ее пополнили только что прибывшими новобранцами.

— Генерал, неужели вы хотите мне сказать, что новобранцы пригодны для такой операции?

— Почему же нет? Они молоды, сильны, здоровы и полны юношеской отваги. Они даже не будут знать, что атака будет несколько — гм — необычной.

Не успел командующий армией отделаться от неприятного чувства, вызванного собственным цинизмом, как Ассолан бестактно напомнил ему о нем.

— Что правда, то правда, им никогда и не удастся это узнать.

— Которая из ваших частей менее всего пострадала?

Командующий армией быстро удалялся от неприятной темы.

— Думается мне, что 181-й полк. Из-за глупости адъютанта им удалось поспать пять или шесть лишних часов, — сказал Ассолан, не сознавая иронии своих слов.

— А, 181-й полк, да, да. Он несколько раз упоминался в приказах по армии. Пусть он начнет атаку, а другие ваши полки поддержат его и закрепят за собой позиции.

— Можно и так, — пробормотал Ассолан.

— Конечно, можно. Во всяком случае, дело должно быть доведено до конца. Прекрасный полк, наполовину составленный из новобранцев и наполовину из опытных старых солдат. Новобранцы бросятся вперед, старики их поддержат. Лучшего сочетания быть не может. Кроме того, в вашем распоряжении будет столько орудий, сколько вы пожелаете.

Командующий армией с удовольствием заметил, что его воодушевление начало передаваться Ассолану, всегда бывшему сторонником наступательных действий.

— Артиллерии я предпочел бы сейчас отдых, генерал. Но если вы предлагаете мне неограниченное количество орудий и снарядов, то об этом стоит подумать. На какое количество газа могу я рассчитывать? Если ветер нам будет благоприятствовать, мне хотелось бы окурить Прыщ газами...

— Позовемте де-Гервилля и вашего начальника штаба — как его имя? Кудерк. Мы все обсудим сообща. Помните, что в присутствии Кудерка не должны вестись никакие разговоры о наших слабых сторонах. Подобные вещи быстро распространяются.

— Не беспокойтесь, генерал, я решился. Ради вас я возьму Прыщ при условии, что вы дадите мне свободу действий, и кроме необходимого числа орудий, неограниченное количество ручных гранат.

— Я дам вам больше, Ассолан, после того, как с Прыщем будет покончено. Я дам вам корпус. Рассчитываете ли вы захватить Прыщ завтра?

— Невозможно, генерал. Но послезавтра вы его получите к завтраку. Можете вписать его в сводку. Ах, нет! Я позабыл. Он уже фигурирует в ней. Ну что ж, я сделаю сводку официальной

Вы, наверное, слышали, генерал,— когда я заявлял, что позиция будет взята, то всегда так и случалось.

— А, вы, может быть, слышали, что если я давал обещание, то оно всегда исполнялось.

— Слышал, генерал. Поэтому могу ли я рассчитывать...

Командующий армией ждал конца фразы, и поняв, что его не будет, поднял глаза, Ассолан глядел не на него, а на четыре маленькие петлицы на его тужурке, петлицы, к которым в торжественных случаях прикреплялся крест командора ордена почетного легиона...

— Возможно... — проговорил командующий армией, подавив в себе чувство презрения. — А теперь за работу! Позовите, пожалуйста, штабных офицеров.

Потом он прибавил про себя: «Вульгарный тип! Карьерист! Но он возьмет Прыщ».

Полковник Дакс шел во главе своего полка. Рядом с ним находился командир 1-го батальона майор Виньон.

Ни Виньон, ни кто-нибудь другой никогда не подозревали, что Дакс, командир 181-го линейного полка боевой ассолановской дивизии, ожидающий производства в генералы и получения ордена почетного легиона, четыре раза упомянутый за храбрость в приказе по армии, — никто не подозревал, настолько искусно Дакс умел скрыть, что он часто находился в состоянии страха, быстро переходящего в панику.

Насколько Дакс понимал, этот страх был идиосинкразией, принимавший все более острую форму, каждый раз когда он должен был вести свой полк в окопы.

Как только люди достигали окопов, страх улетучивался.

Дакс отчетливо сознавал, что его страх был до известной степени необоснованным, но это несколько не помогало ему бороться с ним.

Его мысли упорно сосредоточивались лишь на одном: на компактной, живой массе человеческого мяса, растянувшейся на два километра позади. Он понимал лишь, что через полчаса все эти два километра компактного, живого человеческого мяса попадут в зону огня германских орудий.

Эта мысль приводила его в неопишуемый ужас. Во рту у него пересыхало.

— Мясо. тела, нервы, ноги, мозги, руки, кишки, глаза...

Он чувствовал всю эту массу, которая давила на него, вызывая галлюцинации фантастической бойни.

Какой-то комок образовался в его желудке и начинал медленно подниматься. Он достиг уровня грудной клетки, где остановился и не двигался с места. Он не мог избавиться от этого комка, но понимал, что это приступ тошноты, вызываемой отчаянным страхом.

— Три тысячи людей. Моих людей. Итти по незащищенной дороге с тремя тысячами людей!

— Дольше переносить этого я не в состоянии. Если я дам приказ развернуться, то люди подумают, что я трусил. Когда офицер начинает бояться, солдаты сразу все понимают.

— Мое состояние невыносимо. Какой отчаянный шум они производят. Куда к дьяволу ведут нас эти проклятые проводники? Я бы выглядел дураком, если бы привел полк развернутыми цепями. Только подумать, что я не могу развернуть полк цепью, только потому что это выглядело бы некрасиво... Надо соблюдать внешние приличия независимо от того, скольких жизней это будет стоить.

— Это настоящая пытка и этот дурак Виньон идет рядом, словно прогуливаясь по бульвару. Три тысячи людей, два километра живого мяса.

Его воображение внезапно сосредоточилось на другом мираже.

Он увидел далеко за неприятельской линией — немецких артиллеристов в уродливых шлемах, со спокойной медлительностью возящихся у своих орудий. Он видел, как они подносили и закладывали снаряды, подвинчивали колеса, меняли прицел. Он видел, как дуло орудия, из которого еще вился дымок от предыдущего выстрела, медленно поднималось, останавливаясь как раз под нужным углом. Он видел, как все артиллеристы за исключением того, который оставался у затвора, делали шаг назад, прикладывая ладони к ушам. Он видел, как офицер поднимал к губам свисток. Он видел, как все немного наклоняли головы и слегка отворачивались, видел, как орудие толкало назад...

— Мясо, тела, нервы, ноги...

Все перепуталось у Дакса в уме, который наполнился человеческим мясом, издающим сладковатый запах. Это было его мясо, их мясо, все еще живое, но отмирающее, быстро отмирающее.

— Вперед, вперед, вперед. Медленно, как во сне. Медленным шагом, похоронным шагом.

— Обнаженная дорога. От жужжащих кусков металла даже заяц не может укрыться в узкой придорожной канаве.

— По отчетливо очерченной на карте дороге движется компактная масса людей.

— Немецкий капитан в своей землянке. Немецкие артиллеристы.

— Отскакивающие тяжелые германские орудия.

— Приближающийся визг снарядов...

— Два километра живого, человеческого мяса позади его. Три тысячи людей, шагающих друг за другом.

— Ослепительные разрывы...

— Жужжащие, вертящиеся куски металла...

Потом дым, медленно поднимающийся едкий дым...

Внезапно рядом с Даксом раздался голос и все галлюцинации оборвались.

— Посмотрите, поднимается луна. Сначала я подумал, что это прожектор. Я позабыл про луну. Осторожно, впереди воронка от снаряда!

— Спасибо, старина, спасибо.

Даже Виньону, который не привык замечать настроение полковника, тон Дакса, преисполненный глубокой благодарности и облегчения, показался странным. И Виньон невольно взглянул на полковника. Дакс, чувствуя обращенный на себя взгляд, решил взять себя в руки.

— Прикажите, чтобы люди прекратили курить, майор. Держите наготове противогазы. — Дакс с удовлетворением заметил, что его голос звучит нормально. Он был доволен и тем, что Виньон казался успокоенным решительным тоном своего командира.

Полк продолжал двигаться вперед. Приказ прекратить курение и привести в порядок противогазы был понят слишком хорошо.

Шаг людей зазвучал более твердо и ускорился. На бледных, освещенных луной лицах появилось выжидательное выражение, и люди заспешили, наступая на пятки идущим впереди.

МЕЛОВОЙ КАРЬЕР

Пулеметный огонь по ту сторону холма усиливался. Пока полк вытягивался вверх по дороге, трескотня выстрелов слилась в непрерывный гул.

Очертания верхушки холма все чаще стали обрисовываться в свете разрывов снарядов и в воздухе царило чувство глубокой подавленности, передавшейся людям. Они нервничали: их слова, жесты и мысли стали отрывистыми.

В небо взвились три ярко-красных огня. На секунду они замерли на месте, затем, потеряв равновесие, начали медленно падать на землю.

— Три красных, — проговорил лейтенант стрелков. — Наш тревожный сигнал. Скверная будет ночь». И про себя добавил: «А мне нужно два раза пройти мимо этого мелового карьера».

«Наконец-то люди идут гуськом, соблюдая интервалы. — думал полковник. — Худшее позади, по крайней мере, для меня. Скоро они войдут в соединительную траншею...» Он почувствовал громадное облегчение.

Почти одновременно грохнуло восемь выстрелов. Немного дальше грохнуло еще восемь раз... Еще раз... Ближе... Дальше... еще... Полковник кричал во всю силу легких:

— Интервалы... Меловой карьер... Интервалы...

Меловой карьер представлял из себя большую воронкообразную яму, края которой вплотную подходили к скрещению доро-

ги с узкоколейкой. Если идти вверх по дороге, по направлению к высоте, прозванной Прыщем, то меловой карьер оставался вправо. Он настолько близко подходил к дороге, что в него можно было сплюнуть.

Высоко в воздухе, над идущими людьми, послышался свистящий звук, моментально ставший пронзительным. В мгновение ока этот свист превратился в злобный рев, несущийся с огромной скоростью прямо на идущий взвод.

Все как один бросились на землю, в том числе Дюваль, уверенный, что сейчас его ударит что-то огромное. Ужасающий предмет, казалось, прошел прямо вдоль спинного хребта притаившихся людей, после чего с оглушительным грохотом разорвался позади. Дюваль показалось, что взрыв произошел где-то далеко. Он поднял голову и собрался приподняться.

Он едва успел заметить, что остальные все еще лежали распластавшись, как воздух вокруг него внезапно ожил от летящих и гудящих кусков металла. Дюваль опять припал к земле, пока шум вокруг него вдруг осекся.

— Огненное крещение, — пробормотал он.

Как только дождь металла прекратился, люди поспешно поднялись и двинулись вдоль дороги, не оборачиваясь. Обернулся лишь Дюваль. Он хотел взглянуть на место, где он только что лежал, словно желая запечатлеть его в памяти. Потом он побежал за взводом. Он чувствовал, что стал словно другим человеком. Но потребовалось время, чтобы понять причины этой перемены, и лишь гораздо позднее он понял, что там на дороге он потерял молодость.

Лейтенант Паолацци, временно командующий второй ротой, приблизился со своими людьми к меловому карьру.

Среди солдат он пользовался репутацией строгого, но храброго начальника. Офицеры считали, что его добросовестность при исполнении приказов доходит до безрассудства. Он гордился тем, что никогда не кланялся перед огнем, разве только в крайних случаях. Он гордился также своими заботами о солдатах.

В то время, как большинство офицеров удовлетворялось лишь отдачей необходимых приказаний, предоставляя людям пробираться мимо карьера одним, Паолацци считал своей обязанностью лично находиться в опасном месте и руководить своими людьми.

Став у края карьера и подвергаясь ежеминутной опасности, он благополучно пропустил три взвода под артиллерийским обстрелом.

Предыдущий снаряд разорвался по ту сторону рельс, немного в стороне от дороги. Паолацци заметил, что снаряды не долетали до рельс, и поэтому велел последнему взводу подойти ближе в ожидании команды. Люди лежали в один ряд. Лейтенант ждал.

— Все приготовились? После следующего снаряда, когда я крикну, бегите вперед.— Снаряд взорвался прямо над рельсами.

— Вперед,— заорал Паолацци.

Шеренга поднялась и бросилась бежать, низко пригибаясь к земле. В тот же момент вторая половина взвода поднялась, чтобы подойти поближе к рельсам.

Высоко в воздухе послышался свистящий звук. Он приближался с невероятной быстротой, переходя в оглушительный рев.

Предчувствуя попадание, люди сначала заметались, потом сгруппировались в кучу, инстинктивно желая укрыться за телом товарища. Паолацци, остолбенев, смотрел на людей. Он видел, как некоторые бросились со всего размаха на землю, другие согнулись, пряча головы, третьи повернулись и бросились бежать враспынную. Он знал, что через несколько секунд снаряд разорвется среди кучки обезумевших людей.

Два взрыва почти слились в один. При их блеске у лейтенанта в уме отпечатались фантастическая картина всепоглощающего хаоса. Бесформенный кусок кружащегося металла летел прямо на Паолацци. Он пробил ему таз, вырвал все правое бедро и сбросил лейтенанта в меловой карьер.

Когда дым рассеялся, не осталось никого, кто бы мог заметить, что на месте, где топтался полувзвод, образовались две воронки, в которых тлели разбросанные обрывки одежды.

Смена подошла к полнучи и окопы наполнились свежим потоком людей. Тридцать два человека из 181-го полка были убиты по дороге к Прыщу и семнадцать человек по дороге в тыл.

Это было немного, принимая во внимание сильный артиллерийский обстрел, да и кроме того несколько не повлияло на ход войны. В течение каждой минуты, днем и ночью, в среднем гибло четыре человека.

Ничего не изменилось — ни мундиры, ни снаряжение, ни лица, ни фигуры, ни люди. Солдаты стояли на тех же постах, слышали те же звуки, вдыхали те же запахи, думая то же самое и повторяя те же слова. Сорок девять человек были убиты и один набор номеров на петлицах сменился другим. Крыс не интересовали номера на петлицах и для них также ничего не изменилось.

Около часу ночи, когда артиллерийский огонь немного ослабел, капитан Шарпантье послал за Паолацци. Четверть часа спустя в землянку капитана вошел лейтенант Роже и доложил, что Паолацци нигде не могут разыскать.

— Да, — сказал Шарпантье, — я слышал, что один из его взводов нарвался у мелового карьера. Когда я проходил, то видел несколько трупов. Он, наверное, отправился туда, чтобы посмотреть, что случилось. Так или иначе, у нас нехватает офицеров и я не могу ждать. Придется довольствоваться вами. Кстати, вы ходили когда-нибудь в разведку?

— Только однажды, капитан, когда был нижним чином.

— Тогда возьмите с собой Дидье. Он мастер на это дело. Полковник приказал выслать разведку. Передайте мне с койки карту. Так. Взгляните, вот здесь Прыщ. Здесь наша передовая линия. Вот проволочные заграждения бошей, метрах в пятистах от нас. Вы должны выйти слева, пробраться к нашему правому флангу и войти через наш пост, номер восемь. Штабу дивизии нужно знать глубину германских проволочных заграждений и их состояние. Карта устарела и секреты передают, что немцы укрепляют заграждения. Ваша основная задача — разузнать все о состоянии проволочных заграждений, но не забудьте узнать и расположение передовых постов бошей. Это крайне важно, нам нужно знать, где снять их перед атакой.

— Луна светит ярко и вам нетрудно будет разглядеть германские посты. Захватите светящийся компас и ориентируйтесь от верхушки Прыща. Не забудьте номера частей на немецких трупах.

— Слушаюсь, капитан. Но как я узнаю место, где смогу пройти через нашу линию?

— Сейчас сообразим. Разведка будет продолжаться часа два. Через два часа с поста номер восемь начнут пускать красные ракеты. Одна ракета каждые пять минут, пока не вернетесь.

— Сколько мне взять людей?

— Двоих, кроме вас. Помните, что это самая обыкновенная разведка. Во что бы то ни стало избегайте стычки и не дайте себя заметить бошам. Разузнайте все как следует, возвращайтесь и доложите. Можете положиться на Дидье. Он знает толк в разведках.

— Если вы не возражаете, капитан, то я возьму кого-нибудь другого.

— Почему не Дидье?

— Видите ли... ну, если вам все равно, я лучше возьму кого-нибудь другого.

— Нет, мне не все равно. Скажу вам прямо, Роже, что если бы не требовалось, чтобы донесение было сделано офицером, то я с радостью назначил бы начальником разведки Дидье. Что вы имеете против него?

— Я? Ничего. Но мне хотелось бы знать, что он имеет против меня.

— Что же он, наконец, имеет против вас? — Шарпантье давно уже пытался разгадать, почему все солдаты и офицеры (и он в том числе) не любили этого лейтенанта.

— Почему мне знать? Наверное потому, что меня произвели, а его нет. Вы ведь знаете, мы валялись на одной койке, и после производства меня вернули в прежнюю роту, что обычно никогда не делается. Не знаю как это произошло. Он, наверно, злится, что я стал офицером. Дидье мрачен и завистлив. Если бы вы...

— Все может быть. Но он прекрасный разведчик и вы захватите его с собой. Этой ночью вам не придется раскаиваться. А теперь взгляните в карту.

Луна поднималась все выше, пригибая книзу тень над стеной карьера, куда свалился лейтенант Паолацци.

Дно мелового карьера оставалось погруженным в темноту.

Паолацци начал чувствовать боль в плече. На лопатки давила какая-то тяжесть. Он понял, что ему хочется подняться и выбраться из карьера и стал ждать, пока его желание станет более настойчивым.

Его правая рука начала медленно двигаться. Пальцы прикоснулись к какому-то предмету, прислонившемуся к щеке. Он толкнул, предмет отодвинулся, оставив за собой запах конского навоза. Паолацци осторожно повернул голову, чтобы взглянуть на предмет. Это был его ботинок, сомнений быть не могло.

Но как он очутился перед его лицом? Воля подсказала, что нужно пошевелить ногой — никакого результата. Рука медленно сползала вниз, ощупывая тело. Он чувствовал свое тело, но ниже третьей или четвертой пуговицы мундира его тело, повидимому, не чувствовало руки. Он ущипнул себя, но между пальцами ничего не оказалось. Он стал искать бедро, но не мог его найти. Вместо бедра рука вошла во что-то клейкое, в огромное отверстие с какими-то острями по бокам.

Постепенно с мучительной терпеливостью и настойчивостью, поминутно прерываемой приступами горячего бреда, Паолацци разобрался в хаосе мыслей. В него попал тот снаряд. Одна рана в левом плече и другая, гораздо хуже, в правом бедре. При падении в меловой карьер его нога подвернулась под ним таким образом, что он лежал на ней, прижавшись левой щекой к каблуку.

— Я наверно стоял в конском навозе, — сказал Паолацци вслух. Голос, который он не признавал своим, показался ему страшно громким, но его удивление продолжалось только мгновение, ибо смерть быстро подкрадывалась. Начался жар, физически успокаивающий тело и неизъяснимо умиротворяющий мысль. Ужас одиночества и беспомощности прошел. Он закрыл глаза, чтобы лучше оценить всю прелесть галлюцинаций.

Немного позднее глаза его открылись, челюсть отвисла.

Спустя еще немного времени, когда тень, бросаемая луной, вновь поползла вверх по стене мелового карьера, из-за балки, поддерживающей вход в шахту, бесшумно выползла крыса и некоторое время наблюдала за Паолацци. Потом она приблизилась, легко вскочила на грудь к лейтенанту и поднялась на задние лапы. Она быстро оглянулась два или три раза, сначала вправо, потом влево, затем наклонила голову и принялась грызть нижнюю губу Паолацци.

РАЗВЕДКА

Лейтенант Роже отправился вдоль окопа искать Дидье. Он нашел его у бойницы. Его винтовка лежала в углублении парапета. С одной стороны громоздилась кучка ручных гранат, с другой лежал револьвер Версея. Рядом с Дидье сидела закутанная фигура, закашлявшаяся при появлении лейтенанта, вместо того чтобы окликнуть его.

— Вы что, оба спите? — спросил Роже.

— Да, — сказал Дидье, узнав голос лейтенанта.

— Лейтенант, — поправил Роже.

— Лейтенант, — повторил Дидье с подчеркнутой неохотой.

Закутанная фигура ответила новым приступом кашля.

— Ну, сейчас вы проснетесь. Вы отправитесь со мной в разведку.

— Только не он, — заметил Дидье.

— Почему?

— Потому, что он кашляет.

— Плохо дело. А у тебя наверно болит задница?

— Да, болит. Но это совершенно другое дело.

— Как другое?

— Потому что мою боль никто не слышит, а его кашель услышат все.

— Ну, мне безразлично, у кого что болит, вы оба пойдете в разведку. Скорее собирайтесь. Нечего терять времени.

— Слушай, Пьер, мы оба отлично знаем...

— Скажи еще раз Пьер и ты пойдешь под арест. С меня довольно, понял?

— Хорошо, лейтенант. Я только хотел вам напомнить. Вы не забыли, как был убит Маршан?

— Нет, не забыл. В разведке. И поделом, он был почти таким же нахалом, как ты.

— Да, в разведке. Но почему? Потому что он кашлял. И он кашлянул в лицо бошам, понятно? Ну, больше он не кашлял. Бош вылезил его на месте. Его кашель стоил нам еще двух раненых и одного убитого.

— Хорошо, пусть будет по-твоему. Но двигайся и перестань болтать. Возьми кого-нибудь другого, безразлично кого.

— Я возьму Лежэна. Он надежный парень.

Дидье снял винтовку с парапета и спустился в окоп. Его место занял кашляющий солдат.

— Вот здесь ракеты, — сказал Дидье. — Не трогать их без приказа офицера. Мы пришлем кого-нибудь на мое место.

Слово мы укололо Роже. Дидье нужно было как-то проучить, но каким образом?

Роже никак не мог отделаться от чувства, что его производство несколько не поставило его выше Дидье.

Оставив кашляющего солдата у бойницы, Роже и Дидье пошли вдоль окопа к своим землянкам. Впереди шел лейтенант, на ходу бросая через плечо:

— Разведка. Только трое. Германские проволочные заграждения и пулеметные посты. Осмотреть трупы немецких солдат. Выйти с левого фланга. Вернуться через пост номер восемь. Пустят красные ракеты. Отыскать Лежэна и приготовиться. Пойти на пост восемь и все растолковать. Доложить мне. По пути предупредить всех постовых, что выходит разведка. А теперь, шевелись. И не забывай, что я офицер, особенно когда вокруг находятся люди. Никаких Пьеров, понятно?

— Да, Пьер, то-есть, лейтенант.

— Без дураков. Я теперь говорю серьезно. Тебе же будет хуже. Вот моя землянка. Придешь сюда с докладом.

Три человека подвигались вдоль окопа. Впереди шел Роже, за ним Лежэн, позади Дидье.

Обогнув один угол, Роже внезапно остановился, сжал кулаки и принялся бешено ругать часового, чей штык уперся в грудь лейтенанта.

— Калэ, Калэ, — произнес Дидье, сразу поняв положение.

— Хорошо, — ответил часовой, — проходите.

Роже снова пошел вперед. Спустя несколько минут он встретил офицера и заговорил с ним.

— Вот они, — сказал Роже. — Дидье, поищи-ка, где можно пробраться сквозь проволоку.

— Может быть капитан знает такое место, — начал Дидье.

— Да, знаю. Идемте, я вам покажу.

Они зашагали обратно и прошли две поперечные траншеи. В третьей они наткнулись на нескольких солдат, стоявших возле пулемета.

— Вот тут можно пробраться через проволоку, дальше будет проход, — сказал капитан. — Пулемет направлен как раз на то место, где можно пройти.

— Спасибо, Санси, — бросил Роже. — Эй, вы, отойдите от этой кофейной мельницы, пока мы не пройдем. Ну, вы, оба, пошли.

Все трое взяли револьверы, расстегнули пуговицы на сумках с бомбами и один за другим, с Роже во главе, перелезли через парашет и, пригибаясь к земле, быстро двинулись к проволочному заграждению. Пробравшись под проволокой, они проползли несколько метров по проходу. Но едва им показалось, что они сейчас выберутся из проволоки, как проход внезапно оборвался. Они попали в западню. Роже начал ругаться.

— Молчите, — прошептал Дидье. — Ничего страшного нет. Ползите за мной. Вот здесь можно пробраться.

Извиваясь под проволокой, он пополз под горку, аккуратно освобождая от шипов свой мундир. Выбравшись на свободное

место, Дидье стал на колени, оглянулся и двинулся к близлежащей воронке. Спустившись в нее, он внимательно оглядел местность, отмечая в памяти лес позади и направление германских окопов. Когда подползли Роже и Лежэн, Дидье внимательно смотрел на луну.

— Кто эти двое? — спросил Роже, указывая на фигуры, раньше их устроившиеся в воронке и казавшиеся спящими.

— Не чувствуете запаха? Они мертвы.

Лежэн пополз к трупам.

— Наши стрелки, — доложил он.

— Пошли вперед, — сказал Роже. Он поднялся и быстро шагнул, как он думал, по направлению к немецким окопам. Он чувствовал себя храбрым и сметливым. Коньяк придал ему уверенности. Ему хотелось бы держать в руках винтовку, броситься в штыковую атаку при лунном свете. Такая перспектива наполнила его восторгом.

— Эй! Не туда! — сказал Дидье. — Сейчас ты наткнешься на наши проволочные заграждения. Надо идти вот туда. Луна должна оставаться справа. И ползком. Мы не на Елисейских полях.

— Ну, эти-то двое там, — засмеялся Роже, радуясь своей шутке.

— И мы там скоро будем, если не перестанем шуметь, — добавил Лежэн, бросив взгляд в сторону лейтенанта.

Роже выполз из воронки. Вслед за ним выполз Дидье и Лежэн. Роже пробирался вперед настолько быстро, что Дидье дважды нагонял его и хватал за ногу. В третий раз он нагнал его и прошептал на ухо:

— Надо медленнее. Мы приближаемся к их проволоке. Вот она. Взгляните. Тише. Если они чинят проволоку, то где-нибудь поблизости у них выдвинут пост.

Роже икнул.

— А ну-ка, перестань. Ты поднимаешь дьявольский шум. Смотри, куда ты идешь, и не цепляйся за консервные коробки.

— С кем ты разговариваешь, как ты думаешь?

— С тобой. Если ты не можешь как следует командовать разведкой, то командовать ею буду я. Я знаю что надо делать и рисковать своей башкой ради тебя я не намерен.

— Мы с тобой еще поговорим.

Дидье ничего не ответил и Роже опять пустился вперед, двигаясь слегка вправо. Дидье подождал, пока к нему не подполз Лежэн. Вокруг валялись трупы. От них шел нестерпимый запах.

— В чем дело? — прошептал Лежэн?

— Роже пьян и ему на всех наплевать... Наше счастье, если мы выберемся отсюда живыми.

— А что если его...

— Нет. Может быть он протрезвится.

Роже пробирался вдоль немецких проволочных заграждений. Дидье и Лежэн ползли вслед за ним, немного в стороне. Слева от них возвышался Прыщ, выглядевший огромной горой. Создавалось впечатление, что люди ползут вдоль основания Прыща, в то время как они находились от него на расстоянии 400 или 500 метров.

Роже снова икнул.

Тотчас же брызнул поток света настолько близко, что казалось они сами пустили ракету. Раздался грохот пулемета и все трое замерли, прижавшись к земле как трупы. Ракета разорвалась прямо над ними, над головами засвистели пули, и людям казалось, что они лежат голыми на голой земле. Они задержали дыхание, мысли испарились из головы.

Ракета погасла, и пулемет, выпустив еще несколько очередей, умолк. Дидье уловил шум полета нескольких снарядов, проносящихся где-то высоко, высоко.

Линия немецкой проволоки начала выпирать, оттесняя людей обратно к французским окопам. Дидье заметил, что земля была только что взрыта и удивился, как это не заметил Роже. Немного дальше они наткнулись на груды трупов французских солдат. Роже снова начал икать и двинулся вперед, не обращая внимания на производимый им шум.

Дидье нагнал его и схватил за ногу.

— Перестань,— прохрипел Роже.

— Еще одно слово — и я тебя убью,— прошептал Дидье.

— Тогда не подкрадывайся так ко мне. Выберемся скорей отсюда, от этих трупов. Мне плохо.

— Молчи! Мы прямо против германских окопов.

Послышалось негромкое бульканье. Роже выблевывал свой коньяк. Они отползли от германской проволоки и укрылись в воронке, чтобы дать возможность Роже прийти в себя.

Потом они снова поползли. Дидье слева от лейтенанта, Роже справа. Храбрость покинула Роже вместе с коньяком. Он стремился только к одному: покончить с разведкой и вернуться в свою землянку. Он чувствовал себя беспомощным и одиноким. Действие алкоголя проходило и он с трудом владел своими нервами.

Перед ними внезапно возникла грудa чего-то похожего на щепень. Роже обернулся и начал бросать куски земли в Дидье и Лежэна — сигнал приблизиться. Все трое лежали на животе, приблизив головы друг к другу. Роже дышал какой-то кислятиной.

— Что это такое, как вы думаете? — спросил Дидье.

— Развалины каких-то домов.

— Хорошо. Лежэн, обогни кучу справа. Мы с Дидье обогнем ее слева. По ту сторону мы встретимся.

— Ни за что в жизни,— сказал Дидье.— Раз'единиться? Ты с ума сошел.

— Молчать. Делай то, что тебе приказано, Лежэн.

— Стой Поль, это безумие.

Роже незаметно повернул руку и в глаза Дидье глянуло дуло револьвера. Лежэн заметил движение Роже и поглядел на Дидье, пытаясь понять выражение его глаз.

Дидье между тем уставился в дуло револьвера. Лежэн был сбит с толку. Он решил, что лучше всего повиноваться, и пополз вправо, чтобы обогнуть кучу щебня.

Как только Лежэн исчез, Роже опустил револьвер и зло усмехнулся. Потом он пополз влево.

Вслед за ним пополз Дидье, взбешенный двойной ошибкой лейтенанта: раз'единить разведку и ввести ее в пространство между развалинами домов и неприятельской проволокой. Роже вскоре также почувствовал, что совершил ошибку, пустившись в этот опасный коридор.

Он остановился, взял у Дидье несколько бомб, сунул их в карманы тужурки и пополз вперед, тщательно избегая задевать кучки щебня. Но кругом все было погружено в тьму и невзирая на все предосторожности невозможно было избежать шума.

При каждом шорохе сердце лейтенанта уходило в пятки. Дидье не переставал думать о том, что окажется по ту сторону развалин. Все говорило о том, что они натолкнутся на неприятельский пост.

Дидье был удивлен и обеспокоен тем, что шорох падающих кирпичей и кусков дерева не привлек внимания неприятеля. Не западня ли это? Почему Лежэн не подавал никаких признаков жизни? Может быть он и пытался их подать, но лежал с пробитой штыком грудкой?

Они выбрались из тени после долгих, как им показалось, часов. На самом деле потребовалось пятнадцать минут, чтобы обогнуть развалины трех или четырех домов. Они продвинулись еще на несколько метров. Роже остановился.

Лежа в нескольких шагах от лейтенанта весь в поту, Дидье ждал.

Как устроить, чтобы Лежэн вновь к ним присоединился? Разведка, которая была обороняющейся единицей, теперь превратилась во двойне опасную нападающую единицу.

Соединение должно было произойти при самых волнующих обстоятельствах. В течение нескольких секунд, когда Лежэн попытается дать о себе знать людям, которых он не может как следует разглядеть, напряжение будет ужасающим. — «Это научит его раз'единять разведку», — сказал про себя Дидье. — «Куда, черт его побери, девался Поль?» Справа слышался шум падающих досок. Дидье встрепетнулся и поднял револьвер. Он видел, как Роже встал на колени. Он видел, как его рука поднялась.

Дидье прицелился в голову лейтенанта и выстрелил.

Он промахнулся. В то же мгновение какой-то круглый предмет описал в воздухе дугу.

Раздался взрыв, крик удивления и боли, затем наступила тишина, продолжавшаяся ровно четыре секунды. Дидье слышал, как кто-то позвал его по имени.

Затем воздух наполнился оглушающим ревом и вся местность кругом осветилась тремя одновременно разорвавшимися зажигательными снарядами.

Дидье видел, как Роже вскочил на ноги, что-то закричал и, дико жестикулируя, побежал к французским окопам. Лейтенант исчез за развалинами и Дидье пожелал ему смерти.

Внезапно кругом наступила тишина, потом грохот возобновился, усиливаясь или ослабевая в зависимости от того, куда поворачивали ручку пулемета.

Дидье осторожно оглянулся и заметил вспышки пулемета. Он находился среди развалин, всего в нескольких десятках шагов от пулемета. Лежа на открытом месте, Дидье пытался врасти в землю. Над развалинами вспыхнули два зеленых огня. Дидье осторожно пополз обратно к куче щебня и спрятался в глубокую воронку.

Он стал ждать. Пулемет продолжал грохотать. На несколько секунд огонь прекратился, пока вкладывалась новая лента. Потом грохот возобновился.

Через пять минут перед пулеметом начали ложиться французские снаряды. Дидье лежал, не двигаясь, наблюдая за падением снарядов. Потом он тихо пополз, чтобы отыскать Лежэна.

Приблизительно через час после восхода солнца машина генерала Ассолан остановилась у позиции номер пять. Прошлой ночью полковник Дакс встретил здесь проводников. На месте, где стоял Дакс, зияла свежая глубокая воронка от снаряда.

— Дальше ехать нельзя, генерал...

— Хорошо... Подожди нас здесь. Пойдемте, Сент-Обан, придется идти пешком.

Адъютант вышел из машины, открыл дверцу для генерала и оба направились в обход воронки. Офицер, стоявший по ту сторону, стоял на вытяжку и, по мере приближения генерала, поворачивался к нему лицом, не отнимая руки от козырька.

— Хорошо, капитан, можете опустить руку и отправляться дальше.

— Полковник Дакс приказал вас встретить, генерал, и проводить до его штаба. Лейтенант 181-го полка. Эрбион, генерал.

— Дакс думает, что я заблужусь в моих собственных окопах?

— Нет, генерал. Все знают, что генерала всегда можно найти в окопах.

Это не было ответом на вопрос, но самым подходящим, что можно было сказать.

— Если ты будешь продолжать так, то станешь когда-нибудь адъютантом, — сказал про себя Сент-Обан.

Стояло свежее и безоблачное весеннее утро. Обстрел прекратился, оставив о себе на память свежие воронки, которые шли непрерывной цепью.

Генерал пошел по дороге, вдыхая прохладный и бодрящий утренний воздух. Время от времени до него доносились менее приятные запахи, но генерал не морщился. Трупы составляли неотъемлемую часть войны.

Там где не было трупов — не могло быть войны. Смешно было бы, если бы при таком боевом командире не было бы убитых. Трупный запах успокоил на этот счет генерала.

— Как произошла смена, Эрбион?

— Отлично, генерал. Мы потеряли только около тридцати человек. Прямое попадание. Не досчитываемся одного офицера.

— Результаты обстрела?

— Донесения еще не получены, генерал.

— Что обнаружила разведка?

— Ничего нового. Проволочные заграждения бошей в порядке, людей, повидимому, достаточно. Разведка обнаружила пулеметный пост в развалинах справа от нашего центра. Лейтенант находится в штабе полка. Если вы желаете, он может доложить вам обо всем лично, генерал.

— Пусть орудия сметут пулемет. А, вот там, кажется, находится знаменитый меловой карьер. Да, неважное место. Наверное, для его обстрела у них имеются специальные орудия.

— Да, генерал. В этом месте как раз наварлся взвод. Посмотрите, вон там разбросаны трупы.

Не замедляя шага, Ассолан взглянул на обрывки одежды. Он отметил, что на некоторых трупах были одеты мундиры линейного полка, на других, числом поменьше, мундиры стрелков. Большие, синие мухи жужжали над кучей трупов, усердно копошась в ранах, вокруг ноздрей и глазных впадин.

— Гибельное проявление стадного инстинкта.

В словах генерала послышалась нотка презрения. Эрбион подумал, что замечание было как раз к месту. Это замечание более чем что-либо другое мирило его с тем, что Ассоланы были генералами, а Эрбионы простыми офицерами.

Сейчас же после смены Дидье отправился вдоль окопа к своей роте. Он спустился в землянку, зажег спичку и увидел свои вещи. Спичка потухла и он нащупал складной нож, кусок хлеба и коробку сардин.

Забрав флягу, Дидье выбрался из землянки и, усевшись на верхней ступеньке, начал открывать ножом коробку с сардинами. Вскрыв коробку, он откупорил флягу, глотнул кислого красного вина, сделал гримасу и начал есть.

Он ел торопливо, ловко орудуя лезвием, то как вилкой, то как ножом.

Дидье запивал каждый кусок глотком вина. Он был голоден и пища казалась ему вкусной. Вокруг копошились люди. Они также ели и обменивались короткими фразами.

— Эй, чернорожий! Как было в разведке?

— Хорошо. А в землянке?

— Будь она проклята. Я носил всю ночь гранаты.

— Где обещанная мне каска боша?

— Завтра достанешь ее сам.

— Где?

— Там, на Прыще.

— Это верно?

— Да.

— Что случилось с Лежэном?

— Убит.

— Как это случилось?

— Ручная граната.

— А лейтенант?

— Не знаю.

— Хороша разведка.

— Да, не плохая.

— Я недавно здесь видел лейтенанта.

— Ну? Когда он вернулся? — Дидье начал проявлять признаки интереса.

— Откуда я знаю. Он появился на минуту и ушел до начала обстрела.

— Скажи, Дидье, почему ты думаешь, что будет атака?

— По всем признакам.

— Как, все-таки, был убит Лежэн?

— Не мешай мне есть.

— Свинья.

— Лежэн был неплохим парнем. Плохо только что от него во- няло.

— Скажи, Дидье, ты уверен, что он убит? Ты знаешь, он был мне должен три франка.

— Ладно, получишь их завтра. Когда отправишься к нему на тот свет.

— Спасибо. Надеюсь, что ты будешь присутствовать при рас- чете.

— Наверное буду.

— Брось эти разговоры, а то нарвешься.

— Дидье обязательно нарвется. Посмотри, у него уже траур- ное лицо. Ха, ха, ха...

— Перестань каркать, а то накличешь беду.

— Чорт с ней.

— Когда мы пойдем в атаку, боши не успеют оглянуться, как мы их перебьем.

Дидье поднял голову и заметил, что это замечание сделал, как он и ожидал, один из новичков.

— Брось говорить глупости,— сказал Дидье.

— Мальчонка прав,— проговорил один из старых солдат.

— Нет, не прав,— возразил Дидье.

— Много ты знаешь.

— Больше чем ты, во всяком случае. Я видел проволоку бошей и видел, что они сделали со стрелками.

Дидье встал и начал собирать вещи.

— Скажи, Дидье, относительно этих трех франков. Покжжи мне, где вещи Лежэна.

— Не покажу,— ответил Дидье, не скрывая своего презрения.

Затем он снова спустился в землянку, чтоб пообчиститься после разведки. Землянка была полна людьми, спавшими тяжелым сном. Дидье старался никого не разбудить. Почистившись он ушел в штаб, чтобы доложить о разведке.

Когда Дидье вошел в штабную землянку, Роже сидел один за столом, перечитывая свое донесение. Чтение, видимо, доставляло ему большое удовольствие, почерк и текст казались отличными.

Роже почувствовал присутствие человека, но некоторое время не отрывал глаз от донесения. Дидье терпеливо ждал. Обстоятельства говорили в его пользу и Дидье чувствовал, что мог позволить себе быть терпеливым. Он с любопытством ожидал объяснений, и его забавляло удовольствие, с каким лейтенант читал свое произведение.

— Ну,— сказал наконец Роже, не поднимая головы.

— Ну? — повторил Дидье.

Роже вздрогнул при звуке голоса и быстро поднял голову. На его лице отразилось выражение злобного удивления.

— Будь я... откуда ты явился?

— А ты как думаешь?

— Будь я... я думал, что ты убит. В докладе я написал, что...

— Но ты не проверил, Роже?

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты убежал, убив Лежэна.

— Ты с ума спятил? Что ты говоришь?

— Ты прекрасно знаешь. Ты бросил бомбу.

— Конечно, я. Ты хотел бы, чтобы я бросил букет цветов?

— Твоя бомба убила Лежэна. И если бы ты не был пьян...

— Молчать, с меня довольно.

— Не сомневаюсь. Ты влип, Роже.

— Ты так думаешь? Тогда ты влип еще хуже.

Дидье на секунду замолчал.

Потом он спросил:

— Каким образом?

— Вот в чем дело, я все вспомнил. Во-первых, неповиновение приказу. Во-вторых, угроза убить своего офицера. Это называется бунт. В-третьих, подстрекательство других к неповиновению приказу. Это тоже бунт. В-четвертых, стрельба в своего офицера. Это попытка к убийству и снова бунт. Как тебе понравятся эти обвинения, изложенные на бумаге?

— Ну, раз ты начал, то я за тебя закончу,— отвечал Дидье.— Пьяный во время исполнения служебных обязанностей подвергает опасности жизнь своих людей. Отказ выслушивать советы. Умышленное убийство одного из своих солдат. И, наконец, Роже, трусость! Не забудь, что ты удрал. Как ты объяснишь все это в донесении?

На некоторое время в землянке воцарилась тишина, потом на лице Роже появилась неприятная улыбка.

— Понятно. Вот оказывается в чем дело. Я этого не объяснил в донесении. Но я объясняю тебе кое-что другое и посоветую тебе внимательно все обдумать. Дело очень простое. Я офицер, а ты нижний чин. Как ты думаешь, кому скорее поверят? Ты пробова! когда-нибудь обвинять офицера? Подумай обо всем хорошенько.

ПЕРЕД АТАКОЙ

— Хорошо, я все обдумую,— ответил Дидье через некоторое время. Дело в том, что в его практическом уме промелькнула мысль: «Я у него в руках. Ничего нельзя сделать». Дидье лишь оттягивал свой ответ, инстинктивно рассчитывая, что чем дольше он будет раздумывать, тем лучше скроет свое поражение.

— Вот в чем дело. Если ты будешь молчать, то промолчу и я. Тогда мы сговоримся о донесении. С разведкой будет покончено. Что ты скажешь на это?

Тон Роже был почти любезным. Он говорил с видом делового человека, только что закончившего темную, но выгодную сделку.

— Хорошо,— сказал Дидье.— Но ты знаешь что я о тебе думаю?

Вслед за полковником Дакс генерал Ассолан и его адъютант пошли вдоль Траншеи Зуавов, извивающейся у внешней стороны низкого холма, откуда прошлой ночью полковник наблюдал за сигнальными ракетами.

Дакс и Ассолан развернули карты, сняли каски и противогазы и расположились поудобнее, чтобы наблюдать за открывшейся перед ними местностью. Сначала они смотрели невооруженным глазом, потом взяли за бинокли.

Они увидели то, что хотели увидеть: Прыщ. По размеру и очертаниям он походил на океанский пароход после спуска в воду, т. е. на судно с надстройками, но еще без труб.

Словно носовая часть судна, Прыщ вклинивался во французский фронт между окопами 181-го и 183-го полков.

В бинокли было видно, что поверхность Прыща изрыта бесчисленными воронками от снарядов и плотно опоясана проволочными заграждениями.

— Вот каким он кажется — зловещим. Может быть потому, что я знаю что он таков? — пробормотал Дакс.

Он попытался представить себе, как этот холм выглядел до войны, но ничего не выходило.

Лучи утреннего солнца весело освещали холм, но тем не менее на него нельзя было смотреть без дрожи. Его окружала едва заметная дымка.

«Если бы эту дымку заметил священник, — подумал Дакс, — то он сказал бы, что это души людей, погибших на склонах. Наверное это испарения, поднимающиеся из подземных ходов. Но если это души, то завтра в это время число их изрядно увеличится».

Ассолану Прыщ представлялся обыкновенным холмом: топографическим препятствием, которое служит предметом нападения или защиты. Он увидел изрытое пространство между германскими и французскими проволочными заграждениями и коричневую линию немецкой проволоки у подножия холма.

Склоны холма показались Ассолану достаточно гладкими, хотя он знал, что пройти их не так уж легко. Отмечая в уме особенности местности, он подсчитывал возможный процент потерь.

Подсчитав количество людей, которым удастся достичь вершины и укрепиться на ней, он с удовлетворением отметил, что их будет больше, чем тех, которые погибнут при атаке. По мере того, как росла его уверенность в этом расчете высота холма уменьшалась в его глазах, так же как и его неприступность. Если бы ему дали достаточно солдат и патронов, он овладел бы любой позицией.

Все дело заключалось в проценте. Конечно, много и даже очень много людей должно было погибнуть.

Они вбирали в себя пули и шрапнель, давая, таким образом, другим возможность пробраться. Пять процентов, скажем, погибнет под французским заградительным огнем (это максимум). Десять процентов при перебежке между французскими и германскими проволочными заграждениями и двадцать процентов — пробираясь через неприятельскую проволоку. Остается шестьдесят пять процентов, чтобы захватить вершину.

Рассуждения генерала были ошибочными и проценты были взяты наугад, но все это стушевывалось перед радостью предвкушаемой победы.

Генерал мыслил следующим образом: после атаки он прикажет, чтобы на карте были точно отмечены места, где обнаружены убитые. Он и его штабные офицеры составят затем соответствующую реляцию. Она попадает в руки главного штаба и обратит на себя внимание. Генерал Ассолан решил начать атаку без промедления

с тем, чтобы как можно скорее проверить свою теорию на практике.

Генерал отмахнулся от мысли, что в то время как операция в стратегическом смысле должна гарантировать победу, в тактическом отношении она может вылиться в ряд независимых друг от друга роковых случайностей.

— Атака начнется в семь часов утра,— сказал Ассолан, словно рассуждая сам с собою.— Я выбрал это время, потому что мы не можем начать наступления во время утреннего обстрела. Атака должна произойти при дневном свете так, чтобы мы могли видеть, что мы делаем. Кроме того, у нас будет еще одно преимущество. После утренней бомбардировки боши подумают, что до наступления темноты атаки не будет. Мы застанем их врасплох.

— Сомневаюсь, генерал,— сказал Дакс.— Судя по собственному опыту и по тому, что я слышал, немцы здесь всегда настороже. Они знают, что Прыщ так же важен для них, как и для нас. Их артиллерия немедленно откликается на сигналы.

— Кроме того,— продолжал Ассолан, не обращая внимания на замечание Дакса,— раз здесь утренний обстрел вошел в привычку, то артиллерия заблаговременно может снести проволочные заграждения.

— Вы думаете, генерал, что боши этого не заметят?

— Ну так что же? Они не смогут починить их до наступления темноты, а к тому времени они будут нашими.

— Да, но они могут сосредоточить на прорывах пулеметный огонь.

— Так или иначе, проволочные заграждения должны быть снесены. Или вы предпочитаете снести проволочные заграждения ураганным огнем перед атакой? Огонь продолжится всего пять минут. Наше нападение будет неожиданным. Немцы вряд ли будут рассчитывать так скоро на новую атаку.

Дакс не мог знать, чего ожидают или не ожидают немцы, но он знал, что проблема снесения проволоки всегда ставила его в тупик.

Если проволока будет сметена заблаговременно, то неприятель будет знать, что атака будет произведена не позднее чем через 24 часа. Если же поручить артиллерии разрушить проволоку перед самой атакой, то вставала опасность, что работа будет исполнена плохо, особенно в тех случаях, когда обстрел продолжается всего несколько минут.

— В общем, генерал, я думаю, что вы правы. Пусть лучше проволока будет разрушена заранее. Тогда артиллеристы смогут сосредоточить огонь на бошах, когда мы пойдем вперед.

— Об этом я и говорю. Артиллерия примется за проволоку во время утреннего обстрела. Несколько прицельных снарядов могут быть пущены после обеда. Пусть какой-нибудь офицер кор-

ректирует попадания с этого поста. Мне думается, что отсюда я смогу прекрасно наблюдать за атакой. Сент-Обан!

— Что прикажете, генерал?

— Отправляйтесь в штаб полка и вызовите Кудерка. Прикажите ему соединить этот пост с моей штаб-квартирой прямым проводом.

Отличный вид на склон Прыща внушил Ассолану новую мысль — лично руководить атакой с наблюдательного поста.

— Подождите минуту, можете ли вы соединить меня с 75-миллиметровками там, позади холма?

— Так точно, генерал.

— Отлично. Передайте Кудерку, что после ураганного огня этими двумя батареями командовать буду я. Они должны быть готовы обстрелять все те места, на которые я укажу во время атаки.

Обстоятельства складывались в пользу Ассолана и генерал был доволен. Он сам будет руководить артиллерийским огнем и наблюдать за разрывами снарядов. Местность как нельзя больше помогала планам генерала и он начал чувствовать уверенность, что за новый, выработанный им, метод атаки он получит давно ожидаемый крест. Ассолан вновь взялся за бинокль. Когда он обернулся, то Дакс заметил на его лице выражение жадности, смешанное с любовью, выражение человека, наблюдавшего за своей жертвой.

Ассолан сказал:

— Я хочу обойти вашу передовую линию.

— Слушаюсь, генерал. Но предупреждаю вас, что там будет небезопасно.

Оба достигли передовой линии и повернули влево.

За углом окопа был установлен на своем треножнике траншейный перископ. Дакс, как он и намеревался, дошел до него первым и начал осторожно поднимать его над окопом. Провозившись с перископом некоторое время, он навел его на желаемое место и, отступив шаг в сторону, жестом пригласил генерала взглянуть.

Ассолан прижался к стеклам, но сначала не выказал никакого удивления при виде картины, которую подготовил ему Дакс. Стекла словно упирались в кучу тел. Трупы были настолько перемешаны, что трудно было отличить один от другого.

Обезображенные и гниющие, они лежали друг на друге или висели в отвратительных позах на проволоке, куча вздувшегося и обесцвеченного человеческого мяса. То тут, то там отчетливо виднелись номера стрелкового полка.

Ассолан круто повернулся к Даксу, взбешенный дерзостью полковника, которую он, наконец, понял. Гневные слова готовы были сорваться с его языка.

Послышался треск, звон разбитого стекла, и перископ, разнесенный в куски, свалился в окоп.

— Я вас больше не задерживаю, полковник. Всего хорошего. И Ассолан исчез за поворотом.

Сержант Пикар, который накануне ночью командовал постом № 8, вошел в землянку капитана Ренуар и вытянулся, приложив руку к козырьку.

— Простите, капитан, правда что завтра утром будет атака? Об этом говорят все.

— Да, это правда, сержант. Соберите после ужина всех унтер-офицеров.

— Слушаюсь, капитан. Разрешите мне навестить людей? Я сменился.

— Конечно.

Сержант порылся в кармане и вытащил узкую и длинную полосу алого сукна. Он поцеловал ее и набросил на плечи.

— Сын мой,— сказал он и его голос внезапно смягчился,— хотите ли вы примириться с богом?

— Да, отец,— ответил капитан.— Куда мы пойдем?

— Выйдем из землянки,— предложил сержант. Он повернулся к людям, находившимся в землянке: нескольким офицерам, вестовым и телефонистам и добавил:— Когда капитан вернется, желающие могут подняться ко мне. Я буду ждать.

Сержант встал на приступку у бойницы. Капитан Ренуар опустился на колени на дне окопа и начал свою исповедь. Мимо прошел солдат, сделав вид, что не заметил происходящего.

Получив отпущение, капитан встал, отряхнул грязь с колен и вернулся в землянку.

Сержант стал ждать, сидя на приступке. Он прождал минут десять, затем поднялся, повернулся лицом к входу в землянку и широким жестом благословил всех в ней находящихся. Потом он поднял винтовку и пошел вдоль окопа.

АТАКА

Для большинства солдат 181-го полка день перед атакой прошел быстро.

В 6 час. 30 мин. на следующее утро вся дивизия от генерала до последнего солдата была на своих местах. Все подготовились к атаке. Орудия были наведены. Часы сверены. Карты, границы и намеченные пункты выучены наизусть. Телефонные провода приведены в порядок. Сигнальные ракеты проверены.

Фронт погрузился в тишину, обычную после утренней бомбардировки.

Ассолан и артиллерийский капитан Никола находились на наблюдательном посту. У обоих в руках были сильные бинокли и оба изучали карту, разделенную на бесчисленное множество маленьких занумерованных квадратов. Сидя на корточках и стара-

ясь не задеть колени артиллерийского офицера, унтер-офицер-телефонист попеременно говорил приглушенным голосом то в одну, то в другую трубку.

— Штаб-дивизии генерал, — сказал телефонист. — Полигон, — добавил он секунду спустя условное обозначение для 75-миллиметровок.

Николя и Ассолан ничего не ответили. Генералу было не до разговоров. Его душила злоба, увеличившаяся от того, что кроме погоды ее не на ком было выместить.

Ночью поднялся северо-восточный ветер, пригнавший дождевые тучи, время от времени разражавшиеся сильным ливнем. Теперь дождя не было, но почва оставалась мокрой и скользкой.

Тучи неслись так низко, что казалось своей темной, готовой ежеминутно разразиться потоками воды массой они вот-вот заденут вершину Прыща.

Сумрачный день не без основания повлиял на настроение генерала. От газовой атаки пришлось отказаться из-за направления ветра. Если снова начнется дождь, он будет хлестать в лицо наступающим.

Кроме того почва превратилась в жидкое месиво. Ассолан знал, что дождь и грязь нередко срывали наступления. Но больше всего генерала злило то, что внезапный ливень помешает осуществлению его заветной мечты — лично руководить артиллерийским огнем.

Пропитанный испарениями воздух сильно уменьшил видимость. Если пойдет дождь, то видимость станет еще хуже и поле зрения сузится до 400—500 м. за передовой линией.

— Последнюю сводку погоды, — раздражительным тоном приказал генерал. С момента прибытия Ассолана на наблюдательный пост телефонист получал это приказание в третий раз.

— Северо-восточные ветры и дожди в течение ближайших шести часов.

Но генерал уже позабыл о своем приказании. Он внимательно смотрел в бинокль.

— Без пятнадцати семь, — об'явил телефонист, повторяя слова, передаваемые из штаба дивизии. — Все спокойно. Части готовы к бою.

Передовая линия кишела людьми. Мысли солдат были так же серы, как и их пропитанные сыростью шинели.

Молча и почти недвижимо люди прижались к передней стенке окопа. Каждому было выдано двойное количество патронов и небольшая сумка с гранатами. Кое-где виднелись солдаты без винтовок, нагруженные сумками, придававшими им вид ждущих поезда, пассажиров. Сумки были набиты динамитными патронами, предназначавшимися для землянок и подземных ходов на Прыще. Эти солдаты казались выше других, но то был обман зрения, вызванный тем, что винтовки с неестественно длинными штыками придавали людям вид карликов.

«Страшная вещь, этот штык,—подумал Ланглуа.—И самым страшным из них был французский штык, потому ли, что он был наиболее изящным, наиболее совершенным по своим линиям и форме. Потому ли, что он наносил самые ужасающие долго незаживающие четырехугольные раны».

Ему никогда не приходилось прибегать к штыку и он решил пустить его в ход, только когда расстреляет все патроны и столкнется лицом к лицу с немцем. Он спросил у стоящего рядом лейтенанта Бонье,—который час.

— Без двадцати семь,—ответил лейтенант. Он командовал ротой и чувствовал легкие приступы тошноты.

Ланглуа взглянул на лица окружающих его людей. Некоторые из них в течение ближайших тридцати минут станут трупами, возможно и он в том числе.

Эта мысль промелькнула у него в голове так, словно она исходила не от него, а была вычитана где-то в книге. Он заметил необычное самообладание обреченных людей, но он видел его раньше, всегда считая, что так этому и следует быть.

Мозг, избавившись от мыслей, которые он не в состоянии был выносить, обратился к более простым вещам, к самосохранению.

Ланглуа боялся ранений двух видов: в глаза и в ноги.

— Без пятнадцати семь,—проговорил, ни к кому не обращаясь, Бонье.

— На этот раз мне крышка,—решил про себя Дидье.—Семь раз ходить в атаку и возвращаться без царапины — это слишком.

Эта мысль не давала ему покоя и он чувствовал, что судьба к нему несправедлива. Ланглуа смог бы объяснить Дидье, что его шансы были одинаковыми при каждой атаке, независимо от того, сколькими шансами он пользовался раньше. Дидье отлично понял бы основательность этого рассуждения, но тем не менее пошел бы в наступление, чувствуя себя обреченным.

Дидье взглянул на часы, и ничего не увидел. Его сосед спросил о времени и Дидье вынужден был посмотреть снова.

— Еще пятнадцать минут.

У капитана Шарпантье был нарыв на ноге, причинявший сильную боль и заставлявший его хромать. Он стоял в окопе и не переставая, на все лады проклинал свой нарыв. Он проклинал также погоду, мешавшую ему ходить именно тогда, когда требовалась абсолютная свобода движений.

Капитан в двадцатый раз взглянул на часы, но опять не увидел стрелок, зато вспомнил свой нарыв, проклятый нарыв, боль от которого заставляла забыть об окружающей обстановке. Шарпантье был в бешенстве.

Без десяти минут семь снова начался дождь, косой, противный дождь, пронизывающий, выводящий из себя.

«Теперь конец,—подумал Дакс с горечью.—Погода всегда на стороне бошей. Дело кончится плохо». Он зевнул, маленьким, нервным, зевком.

Генерал Ассолан нервничал. Его часы, казалось, остановились. Он сравнивал их с часами артиллерийского офицера. Нет, они шли как следует. Глаза болели от сильных стекол бинокля, но генерал не мог от него оторваться больше, чем на несколько секунд. Он сгорал от нетерпения.

Николя перестал ежеминутно взглядывать на часы. Опыт научил его, что время надо оставить в покое. Он знал, что как только время брали под наблюдение, оно замедлялось.

— Семь без одной минуты,—проговорил телефонист.

Ассолан схватился за бинокль, но должен был тотчас отнять его от глаз, так как стекла запотели. Он протер их носовым платком и немного отодвинул от глаз.

Местность стала прыгать перед глазами, но все же это было лучше чем не видеть ничего и генерал движением кисти мог в нужный момент прижать стекла к глазным впадинам. Николя, который хотел дать отдохнуть глазам, взялся за бинокль, предварительно отсчитав по биению пульса три четверти минуты.

Внимание генерала и Николя настолько сильно сосредоточилось на том, что им предстояло увидеть, что они не слышали громового раската первого оружейного залпа.

Перед стеклами внезапно встала удивившая обоих стена темного дыма. Николя рассмеялся про себя своему удивлению перед тем, что он сам разрабатывал и обдумывал в течение последних 36 часов.

— Вот оно... — сказал он.

— Вот оно,—сказал капитан Шарпантье, когда воздух позади наполнился пронзительным визгом бесчисленных снарядов. Грохот залпа, напоминающего огромную, долго сдерживаемую силу, вырвавшуюся из оков, вытеснил все мысли из головы.

Пока перезаряжали орудия, на несколько секунд воцарилась тишина. В тот же момент в двухстах метрах от окопов раздался грохот разрывающихся снарядов. Земля задрожала. Клубы гемного дыма подскочили вверх, потом осели под напором ветра.

Воздух сразу наполнился едким запахом пороха. Кучи грязи взметнулись высоко вверх. Повсюду завизжали и запели куски летящего металла. Люди слегка пригнулись и пододвинулись друг к другу.

Шарпантье бросил взгляд на часы. Стрелки показывали уже семь часов сорок секунд.

Землетрясение продолжалось. Заградительный огонь бушевал в одинаковой страшной мере для тех, кого он должен был уничтожить, и для тех, кого он должен был защитить. Вдоль линии неприятельских окопов взвивались сигнальные ракеты, опускались

с раздражающей медленностью, словно в неведении хаоса, происходящего внизу.

По верху французских окопов, разбрызгивая грязь, свистели пули. В семь часов в три минуты к окружающему грохоту присоединился заградительный огонь немцев, сметая проволочные заграждения и перемещаясь то вправо, то влево вдоль французской передовой линии. В окопах уже были раненые, но их криков никто не мог услышать. По всей линии вступили в действие германские тяжелые пулеметы и свинцовый дождь осыпал гребни французских окопов.

В семь часов пять минут снова наступило внезапное затишье. Французские орудия меняли прицел для беглого огня.

Вдоль передовой линии французов раздались свистки.

Шарпантье влез на дымящийся гребень окопа, жестом и криком зовя людей следовать за ним. Крича и махая руками, он стоял над окопом, словно фигура на мобилизационном плакате. Но героем себя он не чувствовал. Он ощущал только боль от нарыва и опьянение окружающего грохота.

Скользя, срываясь и тяжело дыша, люди начали выбираться из окопа. Шарпантье повернулся, чтобы вести за собою людей. Мгновение спустя его обезглавленный труп свалился в окоп.

За ним рухнули еще четыре человека, увлекая за собою вниз несколько солдат, вылезавших из окопа. Трижды солдаты второй роты пытались продвинуться вперед и каждый раз смертоносный пулеметный огонь сносил их с гребня. Продвинуться было невозможно, вот и все. Люди решили ждать.

Первая рота добралась до своих проволочных заграждений, но, натолкнувшись на стену заградительного огня немцев, вынуждена была залечь. Дальнейшее продвижение стало невозможным, и люди один за другим поползли обратно под прикрытие своих окопов. Последним отполз капитан Ренуар. Он перестал кричать «вперед». Это было бесполезно.

Вначале остальные две роты левого фланга имели немного больше успеха. Около пятидесяти солдат четвертой роты пробрались за линию своей проволоки, но в живых осталось всего двое.

Третья рота, во главе с лейтенантом Бонье, сравнительно благополучно выбралась из окопов. Но люди не разглядели прохода и запутались в своей собственной проволоке. Там они и попали под пулеметный огонь немцев. Все кричали, не слыша друг друга. Пытавшиеся выпутаться из проволоки люди напоминали пляшущих сумасшедших.

— Ложиться! Ложиться! — кричал Бонье, запутавшийся по пояс в проволоке. — Ложиться! Ложиться!..

Его крики перешли в хрипение. Из рта брызнула кровь, ноги подкосились. Окружающий грохот для него внезапно смолк. Тишина. Тьма. Лейтенант Бонье сел в проволоку. Он сидел, словно внимательно читал книгу. Пулеметная очередь пробила ему грудь.

К семи часам тридцати пяти минутам была отбита третья атака на Прыщ.

Ад'ютант Эрбийен почти угадал, прикинув в уме, что после атаки число солдатских пайков сократится на пятьдесят процентов.

ПОЛК ПОД АРЕСТОМ

Унтер-офицеру-телефонисту было о чём порассказать. Предчувствуя захватывающие новости, телефонисты при штабе дивизии усадили товарища на почетное место у стола, пододвинув к нему бутылку и кружку.

— Ничего подобного я не мог себе представить, — начал телефонист, захлебываясь от удовольствия. — Нашу акулу оборвали. И подумать кто: простой капитан! Я слышал все от слова до слова.

— Ну-ка, выкладывай.

— Так вот, я сидел на земле. В одной руке я держал трубку к 75-миллиметровкам, в другой — трубку к штабу дивизии. У конца второго провода сидел Эрнест. Ну вот, я передавал сводки о погоде. Все время одно и то же. В последний раз, когда он спросил меня — было без пятнадцати семь. Эрнест каждую минуту передавал мне время и я повторял его генералу. Он не обращал внимания на мои слова, смотря попеременно — то на часы, то на Прыщ. Один глаз туда, один — сюда. Вдруг Эрнест заявляет: «Время». Я это прекрасно знал.

— Акула и Николя — артиллерийский офицер, прилипли к биноклям. Эрнест говорит — «семь часов пять минут» и пока перезаряжались орудия, слышно было, как огонь на минуту ослабел. Эрнест начал мне что-то рассказывать, как вдруг Акула заорал:

— Где они?

— Вон там, слева, генерал, — орет Николя в ответ.

— Но ведь их всего горсть! Где остальные? Семь часов шесть минут, а они еще не выбрались из окопов...

Через несколько минут Акула кричит:

— Есть какие-нибудь сообщения?

Эрнест отвечает, что никаких сообщений нет. Да и откуда они могли быть? Я начинаю передавать все это Николя, но Акула дико орет:

— Проклятые трусы! Они не идут вперед. Заградительный огонь уходит все дальше от них... Клянусь богом, что если они не будут подвигаться вперед за огнем, то они зашевелиятся под огнем! Капитан, прикажите открыть огонь по окопам. Это заставит их выползти.

— Что сделал капитан?

— Он выглядел так, словно по нему дали залп.

— А что сказал Акула?

— Он крикнул: «Вы слышали что я сказал, — и бросает на капитана взгляд, который заклепал бы оружие. Тогда Николя схва-

тывает карту и трубку к 75-миллиметровкам и говорит: — Полигон? Генерал приказывает обеим батареям открыть огонь по квадратам 32, 58 и 73. Все. Повторить». Это были номера квадратов, отмеченных на карте. Парень с той стороны повторяет все правильно. Я слышал, как он передал приказание дальше. Прошло несколько минут. Раздался чей-то голос:

— Здесь полигон. Командир батареи говорит, что произошло какое-то недоразумение. Указанные квадраты — наша собственная линия. Пожалуйста, проверьте. Все.

Николя передает все Акуле и тот кричит:

— Скажите им, что никакого недоразумения нет и чтобы они немедленно выполняли распоряжение. Войска бунтуют, отказываются идти вперед. Стреляйте по указанному месту до особого распоряжения. — И он выругался почище любого солдата.

— Прошло еще немного времени. Затем голос говорит: «Командир батареи почтительнейше докладывает, что не может исполнить такой приказ, не имея на руках формального предписания, подписанного генералом».

Акула выхватывает трубку из рук Николя. Он ревет как бык:

— Немедленно позовите к аппарату командира батареи. Говорит генерал Ассолан.

— Я слышу, как тот парень у конца провода чуть не повалился от страха. Скоро заговорил другой голос:

— У аппарата командир батареи, генерал.

— Намерены ли вы подчиняться моему приказу? — рявкает в трубку Акула.

— Покорнейше прошу извинения, генерал, не могу, не имея на то письменного предписания. — Это он говорит совсем спокойно, вот как я.

— Спрашиваю в последний раз, вы подчинитесь моему приказу?

— Покорнейше прошу извинить меня, нет. Если не буду иметь на то письменного предписания за вашей подписью.

Акула, казалось, сейчас лопнет от злости. Затем голос снова начинается:

— Прошу прощения, генерал, вы не имеете права приказывать мне открывать огонь по собственным людям, если не готовы взять на себя полную ответственность за ваши действия. Я должен иметь письменное предписание. Предположим, что вы будете убиты, генерал, что со мной будет тогда?

— Завтра утром вы будете стоять у стенки, вот что с вами будет. Я руковожу боем, а не банком. Вы думаете, что у меня под боком находится канцелярия? Ваша фамилия?

— Пеллетье, генерал.

— Сдайте командование младшему офицеру и явитесь ко мне завтра в штаб дивизии.

— Слушаюсь, генерал. — Он опять говорит спокойно, словно немного упавшим голосом.

— Было около семи часов тридцати минут и Эрнест начал жужжать в другое ухо: — Согласно первым сообщениям атака, очевидно, не удалась по всей линии...

Но Акула перебивает меня: — «Передайте начальнику штаба, чтобы он позаботился о немедленной смене 181-го полка. Пошлите их в Шато де Л'Эгль. Передайте ему, чтобы он созвал к 12 часам полевой суд». Потом он обращается к Николя:

— Если эти мерзавцы боятся немецких пуль, то они получат французские.

— Что вы собираетесь делать, генерал? — говорит Николя. Он был настолько потрясен всем происходящим, что осмеливался расспрашивать, но Акула, повидимому, был рад поговорить с кем-нибудь.

— Расстреляю по взводу от каждой роты за бунт и трусость перед лицом неприятеля, вот что я собираюсь сделать.

— По взводу от каждой роты! Да ведь вам придется действовать пулеметом!

— Прекрасная идея, мой мальчик! — говорит Акула. Он был так доволен своим решением, что начал чувствовать себя гораздо лучше. Он даже не обратил внимания на то, что Николя не прибавил «генерал», разговаривая с ним, словно со своим товарищем.

— Пойдемте, — говорит генерал, — здесь делать нечего. Но я дам им урок, которого они не забудут. Выкинуть со мной такую штуку! Я тоже умею выкидывать штуки.

Некоторое время спустя полк собрался у Шато де Л'Эгль и один из ротных командиров зачитал следующий приказ:

— Весь полк находится под арестом вплоть до особого распоряжения. Лагерь охраняется, и всякий, пытающийся выйти из него без пропуска, будет застрелен.

Когда около полудня генерал де-Гервилль, начальник штаба XV армии, прибыл в штаб дивизии и вошел в кабинет Ассолана, в первый момент у него создалось впечатление, что он помешал заседанию военно-полевого суда.

Генерал Ассолан сидел за отдельным столом. Слева от него находился начальник штаба дивизии полковник Кудерк, справа стоял незанятый стул. Перед столом стояла кучка офицеров в той же позе, в какой сам Ассолан стоял накануне перед командующим армией, объясняя причины неудавшейся атаки. Все замолчали, когда Ассолан поднялся, чтобы приветствовать де-Гервилля. Все щелкнули каблуками и взяли под козырек.

— Доброе утро, генерал. Доброе утро, господа, — любезным тоном проговорил де-Гервилль, усаживаясь на незанятый стул, подвинутый полковником Кудерк. — Скверный день. Прошу не обращать на меня внимания.

Ассолан представил начальнику штаба армии присутствующих офицеров.

— Полковник Кудерк, вы его, кажется, знаете. Полковник Дакс, командир 181-го линейного полка. Полковник Лябушер, один из моих штабных офицеров. Капитан Эрбийон, адъютант полковника Дакса.

— Прошу не обращать на меня внимания, — повторил де-Гервилль. Дакс поймал его на слове и, обращаясь к Ассолану, кивнувшего ему головой, продолжал прерванный разговор.

— Я повторяю и настаиваю, генерал, что бунта не было.

— Я приказывал наступать, а ваши люди отказывались. Чем это назвать как не бунтом?

— Мои солдаты наступали, генерал, не они не могли продвигаться.

— Потому что они и не пытались. Я все видел с наблюдательного поста. Три четверти полка даже не выбрались из окопов. Как я уже говорил, ваш первый батальон не выполнил приказа выйти из окопов и я требую, чтобы было расстреляно по взводу из каждой роты. Я нахожу, что это немного. По настоящему следовало расстрелять весь батальон.

— Немного? Вы говорите серьезно, генерал? Люди шли вперед, мы потеряли почти половину убитыми.

— Да, в наших собственных окопах, Дакс. При таком числе убитых мы должны были находиться по ту сторону Прыща.

— Мне кажется, Ассолан, — заметил де-Гервилль, — что процент убитых доказывает, что люди были под сильным огнем.

— Да, — сказал Ассолан, — но дело в том, что люди отказались выйти из окопов. Вместо того, чтобы дать себя убить в окопах, они должны были погибнуть перед окопами.

— Они не выбирали себе места, где быть убитыми, — проговорил Дакс. — Немцы выбирали за них.

— Они не шли вперед. Неужели вы не можете этого понять? — сказал Ассолан.

— Понимаю, генерал, — ответил Дакс. — Но вы говорите, что люди отказались идти вперед, а я заявляю, что они не могли идти вперед. Это было физически невозможно. Несмотря на это многим удалось продвинуться на несколько метров. Некоторые из них были, буквально, сметены обратно в окопы.

Дакс, думая, что он нашел в де-Гервилле союзника, повернулся и закончил свою фразу, глядя на начальника штаба армии.

— О! — сказал де-Гервилль, поспешно отводя глаза от Дакса, — для острастки необходимо принять кое-какие меры.

— Обязательно, — согласился Ассолан, — по взводу от каждой роты.

— Мне думается, что это, пожалуй, слишком много, — сказал де-Гервилль.

— Хорошо, что вы предложите, генерал?

— Ну, скажем, десять человек из каждой роты, итого сорок.

— При теперешнем составе батальона, это почти взвод, — сказал Дакс.

— Вы не преувеличиваете, полковник? — приятно улыбаясь, проговорил де-Гервилль.

— Если вам нужен пример для острастки, генерал, — продолжал Дакс, — то расстреляйте одного человека, это равносильно расстрелу сотни людей. Но я не знаю, кого выбрать. Придется предложить себя. В конце концов я отвечаю за часть.

— Ну, ну, полковник, — сказал де-Гервилль, — вы, кажется, переутомлены. Разговор идет не об офицерах.

— А почему бы и нет? — спросил Дакс. Он заметил, что де-Гервилля смутили его слова, и продолжал настаивать. Но, делая вид, что он не расслышал слов Дакса, де-Гервилль повернулся к Ассолану и сказал:

— Возьмем, скажем, двенадцать человек. Мы не назовем это дело бунтом. Мне кажется, что этого неприятного слова не стоит упоминать. Назовем это трусостью перед лицом неприятеля.

— Я говорил о четырех взводах, — ответил Ассолан, — а теперь разговор идет об одном отделении.

— Господа, умоляю вас, — вмешался Дакс, переставший себя сдерживать после того, как он почувствовал, что де-Гервилль идет на уступки. — Двенадцать человек! Слово двенадцать голов скота. Это чудовищно! Виноват либо весь батальон, либо я один. Но подумайте о прежних боях, через которые прошел полк. О том, что мы пережили под Суше. Подумайте о состоянии людей, о дожде, об убийственном огне бошей. Генерал сам мог вчера убедиться, каков был огонь. Если вам важен пример, то неужели вам мало одного человека? Но двенадцать! Как узнать, кто из них будет расстрелян? Откуда они? Какие у них связи? Бедные черти, они пытались продвинуться. Но это было невозможно. Честное слово, господа, они не были трусами. Напротив, они были героями.

Снова де-Гервилль прервал Дакса. Он обратил внимание на одно из замечаний полковника: «Кто знает, какие у них могут быть связи». Де-Гервиллю не нравились возможные последствия этого замечания. Среди солдат были члены палаты депутатов. Запрос в палате мог....

— Мне думается, Ассолан, что лучше всего было бы взять по одному человеку из каждой роты, — это будет четыре.

— Но, генерал, — начал Ассолан.

— Никаких «но» генерал... Я сказал свое слово.

— Если вы настаиваете, генерал, я вынужден повиноваться. Но только потому, что вы говорите от имени высшего командования.

— Да, я настаиваю, Ассолан, не больше четырех.

— Отлично, тогда мне придется удовольствоваться четырьмя. Завтра будет расстреляно по одному человеку из каждой роты.

— И эти люди будут расстреляны без суда, генерал?

— О, нет. Полевой суд соберется в замке сегодня в три часа дня. Это время вас устраивает, Лабушер?

Дакс сначала повернулся к стоящему рядом Лабушеру, затем обратно к Ассолану.

— Я не совсем понимаю, генерал, — проговорил он. — Разрешите мне считать себя устраненным от командования полком? Полковник Лабушер...

— Ничего подобного, — сказал Ассолан. — Полковник Лабушер назначается председателем полевого суда. Вот и все.

— Тогда разрешите мне заявить формальный и решительный протест против назначения полковника Лабушера, после его присутствия при этом обсуждении, — произнес Дакс.

— Не забываете, Дакс, что здесь распоряжаюсь я...

— Так точно, генерал. Но почтительнейше осмелюсь вам напомнить, что вы неправы, назначая Лабушера председателем полевого суда.

— Молчать! Без замечаний!

— Разрешите спросить, генерал, — проговорил Дакс, стиснув зубы, — кого из людей вы желали бы видеть расстрелянными?

— Для меня это безразлично. Все чего я желаю, это четырех человек, по одному из каждой роты, для того чтобы показать остальным, что такое дисциплина.

— У меня нет кандидатов для такой чести, генерал.

— Тогда распорядитесь, чтобы кто-нибудь другой наметил людей.

— Каким образом? Все одинаково невиновны...

— Господин полковник! Вы, кажется, пытаетесь помешать мне? В таком случае вы ставите себя в очень скверное положение. Пусть ротные командиры выбирают, э... э... виновных. Это приказание и приказание окончательное. Вы свободны, господа. Надеюсь, генерал, вы остаетесь у меня завтракать.

— С большим удовольствием, — отозвался де-Гервилль.

Полчаса спустя после того как де-Гервилль объяснил Ассолану, почему следовало уменьшить число расстрелов, оба генерала покинули кабинет. В приемной их ожидали два капитана. Один из них выглядел очень молодым, очень усталым и очень грязным.

— Чем могу служить? — спросил Ассолан неприветливым тоном.

— Вы приказали мне явиться к вам, генерал, — начал офицер, у которого еще не прошла дрожь и бледность. — Пеллетье, командир батареи номер...

Ассолан не дал ему продолжать.

— Да, да. Я хотел с вами поговорить о нескольких снарядах, попавших в наших людей. Командир 181 полка сделал мне об этом устный доклад и возможно, что придется назначить следствие. Сейчас у меня нет времени вдаваться в подробности. Ждите дальнейших распоряжений.

На лице Ассолана выражалось полнейшее бесстрашие и нежелание продолжать беседу. Пеллетье взглянул на де-Гервилля, заметил на его рукаве штабные нашивки и шагнул в сторону, пропуская генералов. Отойдя несколько шагов, де-Гервилль начал:

— Обстрелять собственную пехоту, это ведь дело серьезное. Вы должны наказать за такие вещи со всей строгостью, Ассолан.

— Я совершенно с вами согласен, — ответил Ассолан, — и худшее наказание для него было бы откомандировать его, скажем, в Македонию или куда-нибудь в колонии. Он беспокойный, честолюбивый человек. Я сейчас же отдам приказ. Вы позаботьтесь, чтобы приказ был утвержден при первой возможности?

— Конечно, если вы того желаете. А что же относительно следствия?

— Видите ли, я всегда пытаюсь избежать следствия, когда дело идет об обстреле собственных войск. Это разносится среди солдат и производит плохое впечатление. Самое лучшее это избавиться от него. Я сегодня же пришлю вам приказ об откомандировании и прошу вас утвердить его немедленно.

— Пожалуйста, Ассолан, вы наверное знаете больше...

— Да, генерал, в интересах дела...

Де-Гервилль заметил, что объяснение Ассолана было невразумительным; и ему показалось странным, почему генерал так хлопочет об откомандировании простого артиллерийского капитана. Но он промолчал.

Люди разговаривали. Они всегда разговаривали. Казалось, что они разговаривают даже тогда, когда молчат, во время смотра, в походе, на часах, в окопах. Вернее, они не разговаривали, а сообщались.

Взгляд, движение руки или ноги, выражение лица, сдвинутые кепи часто означало, что люди заняты оживленной беседой.

— О чем они разговаривали?

Главным образом, конечно, о себе: но также и обо всем касающемся своего отношения к другим и наоборот. По необъяснимым причинам разговор был всегда одним и тем же, а между тем всегда новым. Казалось, что он составляет часть какого-то более пространного разговора, начатого когда-то давно-давно и собирающегося монотонно продолжаться в будущем, до момента, никому неизвестного.

Этот разговор создавал впечатление, что он никогда не прекратится. Чувствовалось, что некоторые могут уйти или уме-

реть, но что разговор никогда не заглохнет. Найдутся новые люди, которые оживят его, мимоходом брошенным словом.

Дождь перестал и люди собрались около походной кухни, стоя проглатывая свой обед...

— Драгуны!

— Сволочная банда, нечего сказать. Можно подумать, что мы в плену у бошей.

— Это было бы неплохо. Мы были бы в безопасности.

— Ну, и здесь мы в безопасности, разве только налетят ночные бомбардировщики.

— Все это пустяки. Меня беспокоят офицеры. В безопасности ли мы от них?

— Что ты хочешь сказать?

— Ходят слухи, что будут расстрелы.

— Здесь не кино.

— А вот увидишь.

— Конечно, он прав. Почему мы под арестом? Весь полк. Целый полк, неслыханное дело!

— Почему нет? Они могут делать все, что им хочется.

— Будет тебе сходить с ума.

— Почему?

— Ты спятил с ума, вот и все.

— А те, которые послали нас в атаку, думаешь не спятили с ума?

— Атака — это другое дело.

— Ну, во всяком случае, все это мне не нравится. Здесь слишком спокойно. Замышляется какое-то грязное дело.

— Так всегда бывает, когда тихо кругом.

— А где же все офицеры?

— Они даже не приходят, чтобы попробовать кашу.

— Они прочитали приказ и ушли.

— У них своя каша.

— Будь я проклят, если мы не попадем в эту кашу.

— Один из драгунов говорил, что будет полевой суд.

— Полевой суд то же, что расстрел.

— Ну, еще неизвестно, кому придется рыть ямы.

— Все вы несете чепуху. Скажу вам....

Мейер, который не принимал никакого участия в разговоре, доел обед и направился к своей землянке.

Он убрал грязный котелок и остановился раздумывая. Его глаза, точно так же как и мысли, начали разбегаться. Скоро его тело пришло в движение. Он вынул записную книжку и проверил ее содержимое: пять франков и три порнографические открытки.

Из вещевого мешка он вынул нож и плитку шоколада и положил их в карман. Потом он начал искать пару носок, но, не найдя их в своих вещах, начал рыться в рядом лежащих мешках, пока не нащел сухую пару. Он неторопливо переменил носки. Его взгляд остановился на тужурке, висящей на гвозде в глубине землянки. Он подошел к тужурке и начал рыться в карманах. Кроме письма он ничего не нашел.

Кто-то вошел в землянку и Мейер обернулся. Он сразу заметил, что вошедший был в тужурке, и невозмутимо продолжал заниматься своим делом. Мейер действовал спокойно. Этому спокойствию его научила армия.

Его обучающий всегда подчеркивал: «Если у тебя что-нибудь не в порядке, молчи и не двигайся, не привлекай к себе внимания». Это был неплохой совет и он всегда действовал так. Вошедший вышел из землянки, не обратив никакого внимания на Мейера, который вернулся к своим вещам. Он подумал не захватить ли ему с собой шинель. Она бы пригодилась при ночевке в поле. Но потом он решил ее оставить. Лишняя тяжесть, которая может вызвать подозрение. В это время года одевали шинель только когда шел дождь.

Мейер вышел и начал бродить по лагерю, главным образом, около его краев, откуда видны были драгуны, караулившие полк. Он пытался завязать с ними разговор, но особого успеха не имел. «Угрюмые свиньи», сказал он про себя, ошибочно приняв за угрюмость чувство стесненности простых людей, на долю которых выпала противная роль тюремщиков.

Мейер подходил все ближе к верхнему концу лагеря, упирающегося в густой лес. Он вынул папиросу, затем спрятал ее, приберегая на будущее. Расстегнул тужурку, вложил кепи в задний карман и напустил на себя вид абсолютной безразличности.

Драгун не было видно, и он пошел к лесу неторопливо, словно гуляющей походкой.

— Стой!

Мейер сделал вид, что не слышит.

— Стой! Или я буду стрелять!

Мейер обернулся и увидел в нескольких шагах спешенного драгуна. Дуло винтовки было направлено на него.

— Так вот в чем дело...

— Да, приказ есть приказ. Возвращайся в лагерь.

— Слушай, старина, я хочу зайти в деревню, чтобы выпить. Вернусь через час. Никто не заметит моего отсутствия.

— Его заметишь ты, если двинешься шаг вперед. Мне приказано стрелять...

— В чем дело? Зачем эта стрельба?

— Вы все под арестом. Завтра будет сколько угодно стрельбы...

— Из-за чего, господи? Что я сделал?

— Ты должен знать. И наконец, ты стараешься сбежать.

— Я не убегаю, я только вышел прогуляться...

— Любитель природы, так сказать?

— Да.

— Похоже на то. Вот что, отправляйся-ка собирать свои маргаритки вон туда.

Драгун кивнул головой в сторону лагеря. Мейер заметил, что дуло винтовки оставалось направленным на его грудь.

Мейер стал соображать, не удастся ли ему удрать. Рядом с ним росло дерево, но оно было слишком тонким, чтобы за него можно было спрятаться. Недалеко в стороне находилось толстое дерево, за которое можно было бы укрыться. Но до дерева было не меньше четырех шагов. Мейер заметил, что драгун носил шпоры и проклял себя за то, что спрятал папиросу. Он мог бы швырнуть ее в драгуна, и воспользовавшись его замешательством, броситься к дереву, спрятаться за него, а затем пуститься в глубь леса. Трудно бежать со шпорами, особенно по лесу. Но руки Мейера были пусты.

— Хорошо, — сказал он и, оглядываясь, зашагал обратно к лагерю.

Драгун не упускал из виду Мейера, пока тот не скрылся.

«Штаб 181-го линейного полка № 13934—СД—19. Секретно. Срочно.

Капитану Ренуар, командиру 1-й роты.

Капитану Санси, командиру 4-й роты.

Лейтенанту Роже, врид. командиру 2-й роты.

Сержант-майору Жоннар, врид. командиру 3-й роты.

С получением сего вам предписывается выбрать и арестовать по одному человеку в каждой из ваших рот и доставить его на гауптвахту при замке не позднее 14 ч. 30 м. для предания военно-полевого суда по обвинению в трусости перед лицом неприятеля.

Полковой адъютант капитан Эрбийон».

— Как это вам нравится, полковник, — спросил Эрбийон, передавая бумагу полковнику Даксу.

— Гм, — сказал Дакс, — этим приказом как будто дело исчерпано. Впрочем не совсем. Мне хотелось бы, чтобы люди поняли, что от них требуется. Они ведь будут выбирать человека не для того, чтобы отправить его в суд, а для того, чтобы он был расстрелян.

— Почему вы не созовете людей и не объясните им в чем дело?

— Не могу, Эрбийон. Я не сумел бы раскрыть рта. Я не желаю продолжать роль Ассолана. Я не вынес бы упреков людей,

- Они не посмели бы, полковник....
- Нет, я говорю о тех, которые будут молчать....
- Я не в состоянии больше рассуждать об этом деле. Приказ есть приказ.

ЖРЕБИЙ

Капитан Ренуар вскрыл конверт, вынул тонкий листок бумаги, взглянул на часы и написал сверху справа: «Получено 12—48” и подписал — «Ренуар».

Капитан настолько привык разбираться в официальных бумагах, что понял содержание приказа в то время как подписывал его. Он сразу заметил слова: «Ренуар... арестуйте одного человека... гауптвахта... 14.30... полевой суд... трусость...»

— «Выбрать и арестовать человека», — он громко произнес эту фразу и повторил ее еще раз, машинально пропустив слово «арестовать».

Решение начало обрисовываться где-то вдалеке. Но в то же мгновение оно надвинулось на него как нечто огромное и бесповоротное.

— Нет. Он не может и не хочет исполнить приказ.

— Ему слишком хорошо известно что такое полевой суд. Пусть расстреляют сначала его самого.

Ренуар достал бумагу и начал составлять ответ.

Лейтенант Роже, врид командира 2-й роты, прочитав приказ, обнаружил, что ему приходит на ум имя Дидье, но тотчас же отбросил эту мысль.

Но так или иначе нужно же было выбрать человека! Приказ был получен непосредственно от генерала. Да и помимо этого, приказ был приказом, от кого бы он ни исходил.

Роже хлебнул коньяку.

— Я должен выбрать человека, который предстанет перед военно-полевым судом. Это наверняка расстрел. Во время атаки Дидье не был ни убит, ни даже ранен. Где же он тогда находился?

— Во всяком случае, не на гребне окопа, ибо все выбравшиеся из окопа были убиты или ранены. Это одно делает Дидье кандидатом. Кроме того, своим поведением во время разведки Дидье трижды заслужил расстрел. Если будет нужно, то я расстрелю об этом перед судом. Если он начнет говорить, то ему же будет хуже. Суд поймет, что он пытается выпутаться из положения, возводя дикие обвинения на других. Это создаст скверное впечатление. Слава богу, что убит Шарпантье. Он никогда не любил меня и мне не понравилось его отношение ко мне. Мне здорово повезло и было бы верхом глупости пытаться изменить ход событий. Позднее может быть мне удастся перевестись в

другой полк. Хорошо было бы как-нибудь улизнуть отсюда... Вестовой!

- Что изволите, лейтенант?
- Где сержант Гуно?
- Сейчас отыщу, лейтенант.
- Скажи, чтобы он немедленно явился ко мне.
- Вы желали меня видеть, лейтенант? — спросил Гуно, оставившись у двери и взяв под козырек.
- До, Гуно, подойди сюда. Прочитай вот это. Понял?
- Так точно, лейтенант.
- Ну, смотри, не ошибись.

Сержант-майор Жоннар принадлежал к той категории людей, о которых говорят, что они составляют костяк армии. Он не любопытствовал, был лишен воображения, действовал всегда методически.

Приказ полковника Дакса несколько не удивил Жоннара и он тотчас же приступил к его выполнению. Достал именной ротный список, уже проверенный после утренней атаки, и подсчитал, что наличный состав роты сто одиннадцать человек. Потом послал за тремя сержантами, прочитал им приказ и сообщил свои намерения.

— Вы соберете всю третью роту в унтер-офицерской столовой. Понятно?

— Смирно! — крикнул сержант, входя в унтер-офицерскую столовую. Разговоры моментально прекратились. Быстрыми шагами, не глядя никому в глаза, Жоннар дошел до середины столовой, взобрался на стол и скомандовал: — Вольно! Но без разговоров. Я должен прочитать вам приказ.

«Штаб 181-го линейного полка один три девять четыре С. Д. девятнадцать капитану такому и сержант-майору Жоннару, исполняющему должность командира 3-й роты с получением сего вам предписывается согласно приказу командира дивизии выбрать и арестовать по одному человеку из каждой роты и доставить их на гауптвахту при замке не позднее 14.30 сегодня, для предания их военно-полевому суду, по обвинению в трусости перед лицом врага».

Вдруг гробовую тишину нарушил чей-то смех, раздавшийся из глубины.

— Молчать! — крикнул один из сержантов. Смех оборвался.

— Тут не до смеха, ребята, — сказал Жоннар и нотка участия в его голосе заставила тревожно встрепетать многих из присутствующих. — Дело серьезное. Все вы знаете — что такое полевой суд. Это означает, что одному из вас останется недолго жить после выхода отсюда.

— Кому?

— Они с ума сошли!

— Не верю всему этому!

— Я не был трусом!

— Довольно! — крикнул Жоннар. — Молчать! Каждый из вас имеет полное право желать остаться в живых. Но приказ — есть приказ. И один из вас должен быть жертвой. Вы будете тянуть жребий. В этой комнате находится сто одиннадцать солдат. Я приготовлю сто одиннадцать кусочков бумаги, на одном из них будет нарисован крест. Тот, кто вытянет эту бумажку, предстанет перед полевым судом.

— Бумага тонкая. И мы разглядим через нее крест.

— Ерунда. Бумажки будут свернуты и сложены в мое кепи.

— Но ведь тот, кто вытянет бумажку с крестом, сможет заметить ее другой бумажкой?

— Хорошо, — согласился Жоннар, — мы поступим по-иному, хотя это и займет больше времени.

— Мы не торопимся, — отозвался голос.

— Дард, вот тебе бумага и карандаш. Разорви каждый листок на четыре ровные части и напиши на них номера от 1 до 111. Выведи цифры аккуратно, но не свертывай бумажек, пока я не прикажу.

Сержанту Дард потребовалось около двенадцати минут, чтобы написать цифры. Жоннар провозился на пять минут дольше. Солдаты наблюдали за обоими, как бы зачарованные их работой.

— Кончил, Дард? — спросил Жоннар, справившись с необычным делом. — Теперь я буду громко говорить номера, свертывать бумажки и класть их в свое кепи, то же самое будешь делать и ты. Один.

— Один, — сказал Дард.

— Два.

— Два...

— Скажите, могу ли я получить номер тринадцать?

— Нет, не можешь, — сказал Жоннар. — Только если ты его вытащишь. 62.

— 62...

— Мне хотелось бы номер один, — сказал чей-то голос.

— Почему один?

— Потому что я никогда не слышал, чтобы в лотереях вытаскивали номер один.

— Какой ты хитрый! Тогда я возьму номер сто....

— Вы возьмете то, что вытащите, — сказал Жоннар. — 103.

— 103...

— Разрешите мне выйти покурить?

— 111...

— 111...

— Конец, — сказал Жоннар.

— Нет, — выходить из помещения нельзя. Все останутся

здесь пока мы не покончим с этим делом. Когда все номера будут разобраны, Дард вытащит из своей фуражки один номер и будет выбран тот, кто уже вытащил этот номер. Где именной список? Ага, вот он. Первый. Аббовильль. Подойди, Аббовильль, не так быстро. Теперь тяни из моего кепи номер. Осторожно, не бери двух сразу. Какой у тебя номер? Дай-ка я посмотрю. 22.

— Аббовильль, 22. Нашел, Дард? Следующий. Кто следующий? Ажалъбер. Двигайся веселее. Не тащи больше одного. Покажи-ка.

— Ажалъбер, 59...

— Лалянс; 103..

— Осторожно, они прилипают к пальцам. Лавгад, 76...

— Равари, 47.

— Рише... Рише...—Жоннар затнулся над цифрой, внезапно сообразив, что он что-то забыл и что будут неприятности.—Чорт!—проговорил он про себя.—Как я не догадался написать цифры прописью. Но все еще может сойти благополучно, если мне удастся запомнить уже вытасканные номера.

— Рише, 6...

Солдаты подходили один за другим, вытаскивая номера. Они шутили, ломались, спорили, напускали на себя вид кажушегося безразличия, или же брались за бумажки, словно дотрагивались до горящих углей. Все делали то, что им было указано, но каждый чувствовал, что он имел право выполнять приказ так, как ему нравилось. Все как один испытывали странное чувство своей силы, всегда появляющееся, когда человек тянет жребий.

Вытаскивание и отметка номеров заняли почти три четверти часа. Затем сержант-майор Жоннар взял именной список и громко прочел имена и номера. Пока его память работала отлично.

— Теперь, Дард, — сказал он, — хорошенько помешай бумажки в твоём кепи, потом повернись спиной и вытащи один номер.

— Если разрешите, г-н начальник, то мне не хотелось бы быть тем...

— Делай, что тебе приказывают.

— Слушаюсь, но мне это противно.

— Ты думаешь, кому-нибудь это может быть приятно? Скорей.

Дард мешал бумажки в своем кепи. Он мешал их обеими руками, словно перебирая зерно. Он мешал, мешал и мешал...

— Тяни! — раздался придавленный голос из толпы.

Дард перестал мешать. Он сделал это с явной неохотой.

— Повернись спиной к людям, — сказал Жоннар. — И положи руку за спину.

— В помещении воцарилась гробовая тишина — напряженная тишина ожидания. Дард повернулся и уставился глазами в сте-

ну. Жоннар протянул сержанту его кепи. Не отводя от стены глаз, Дард опустил руку, взял свернутый кусочек бумаги, опустил его, взял другой и снова опустил...

— Тяни, тяни, — снова прозвучал чей-то сдавленный голос.

Пальцы сержанта сомкнулись. Он почувствовал, что захватил две бумажки и отпустил одну из них. Другую он вытащил и высоко поднял над головой.

Жоннар взял бумажку из рук Дарда, развернул ее и разгладил ладонью на столе.

— 68. — сказал он.

Он потянулся к списку, но не успел даже найти имя, как какой-то солдат начал пробираться к столу.

— Фаскелль.

Все присутствующие вздохнули свободнее.

Стоя перед столом, Фаскелль взглянул сначала на кусок бумажки, затем на Жоннара.

— Почему вы думаете, что здесь стоит 68, сержант-майор? — спросил он спокойно.

— Взгляни как следует, разве ты не умеешь читать? — ответил Жоннар резким голосом, пытаясь скрыть свое смущение.

— К моему счастью умею, — сказал Фаскелль. — Я вижу цифру 89, а не 68.

— Но ты ведь видишь, что 68 стоит на строчке, между тем если смотреть с другой стороны, то 89 будет под строчкой.

— Выходит хотите меня отдать под полевой суд из-за строчки, сержант майор? — продолжал Фаскелль также спокойно.

— Нет, нет, я этого не собираюсь делать, — сказал Жоннар. — Очевидно тебе придется еще раз тянуть жребий с тем, кому достался 89. У кого 89? Пужад. Подойди сюда, Пужад. Ты должен тянуть жребий с Фаскеллем.

— Ничего подобного, — заявил Пужад. — У Фаскелля ясно написано 68.

— По моей бумажке не видно, чтобы это было непременно 68, — сказала Фаскелль.

— Так или иначе, — заявил Пужад, — я отказываюсь тянуть с тобой жребий.

— Чтобы я больше не слышал слово — «отказываюсь», — сказал Жоннар.

— Ну, если вы попытаете заставить меня тянуть жребий один на один в то время, как я имею право тянуть его вместе со всеми, то вам придется услышать отказ. Кроме того, на бумажке Фаскелля ясно написано 68 и жеребьевка кончена. Я делал то же самое что и все и не вступал ни в какие разговоры. Дело идет о моей шкуре и я буду отстаивать свое право.

Жоннар был поставлен в тупик и злился на себя, что не предусмотрел того, что произошло. Он был убежден, что цифра была 68, но не хотел отправлять человека на расстрел из-за одного

лишь убеждения. Он этого не хотел тем более потому, что внутренне одобрил поведение Фаскелля. Внезапно в его уме промелькнула мысль.

— Дард, разверни все бумажки в твоём кепи и достань мне 89.

Но это ничему не помогло. Цифра 89, когда ее нашли, была написана так, что не опиралась на строчку, как бы ее не поворачивали. Она могла быть и 89 и 68.

— Остается одно, — сказал Жоннар, — начать жеребьевку сначала.

Моментально раздался хор протестующих голосов.

— Сколько же раз?

— Мы уже раз тянули...

— Довольно...

— Пусть жребий тянут между собой эти двое.

— Это издевательство.

— Я раз тянул и больше не буду.

— Молчать все! — заревел Жоннар. — Вы сделаете то, что будет приказано. Никаких замечаний, или я прибавлю несколько номеров. Я позабочусь на этот раз, чтобы цифры были понятны каждому.

Жоннар внимательно пересмотрел все номера у Дарда, изучая их со всех сторон и подчеркивая карандашом номера.

6, 9, 69, 96 66, 99, 89, 98.

Одновременно Жоннар, дабы избежать недоразумений с единицами в таких цифрах как 18 и 81, вывел единицы двумя четкими штрихами, так что относительно их не могло быть никакого сомнения.

— Все в порядке. Внимание. Мы готовы. На этот раз не будет никаких сомнений. Дард снова смешает бумажки. Все номера, могущие вызвать сомнение, подчеркнуты. Все они будут над линией.

— Г-н сержант, — раздался чей-то голос, — я хотел бы поменяться номерами с товарищем...

— Нельзя, — сказал Жоннар.

— Зачем это вам, — спросил Дард.

— Мы подумали, что нам уж раз повезло на наших номерах и нам не хотелось бы испытывать их вновь...

— Если вам повезло с ними в первый раз, — возразил Жоннар, — то лучше держитесь за них. Готово, Дард?

Дард снова повернулся спиной к людям. Снова положил руку за спину и снова почувствовал, как его рука погрузилась в бумажки. Его пальцы захватили несколько бумажек, которые он выпустил за исключением одной, которую он высоко поднял над головой. Жоннар развернул бумажку.

— Номер 76.

Толпа расступилась, чтобы пропустить владельца номера 76, но в этом не было необходимости. Ланглуа все время не отходил от стола.

ПОЛЕВОЙ СУД

На пороге служебного помещения, занимаемого полковником Кудерк при штабе дивизии, вырос сержант.

— Полковник Дакс у телефона, — отрапортовал он, — соблаговолите взять трубку.

Кудерк кивнул головой и потянулся за трубкой.

— Кто у телефона, Дакс?

— Дакс.

— Говорит Кудерк. Относительно людей для полевого суда. В присланной вами бумажке значатся только трое, а нужно четвере. Где четвертый? Кто он?

— Не знаю.

— Не знаете? Вы обязаны знать.

— Я лишь выполнил инструкцию, Кудерк. Я передал ротным командирам приказ генерала, чтобы каждый из них выбрал одного человека для полевого суда. Один из них этого не сделал. Вот и все.

— Вы сказали, что один из них этого не сделал? Почему? Он отказался?

— Нет, он не отказался. Он просто заявил, что в его роте нет такого человека, которого можно было бы обвинить в трусости.

— Это равняется отказу. Вы обратили его внимание на это? Его имя?

— Капитан Ренуар, командир 1-й роты.

— Отлично. Немедленно арестуйте его. Позднее я вам сообщу, что с ним делать. Полковник Лабушер там?

— Простите, мне кажется, вы не совсем понимаете... Ренуар не из той породы людей, которые будут молчать. Он человек твердых убеждений и будет бороться за них до последнего издыхания. Я только предупреждаю, Кудерк, что вы имеете дело с человеком, который доставит вам больше неприятностей, чем вы думаете.

— Ну, об этом мне нечего беспокоиться, Дакс. Я не начинал этого дела. Но отказ повиноваться приказу не пройдет безнаказанно для офицера этой дивизии. Вы должны его арестовать. Ничего другого не остается.

— Дело в том, что вы забыли об одной вещи, — о том, что в члены комиссии палаты депутатов по вопросам армии входит один сенатор по имени Ренуар. Я не знаю, родственники ли они, но полагаю, что об этом следовало бы навести справки перед тем как...

— Ну, это меняет дело. Почему вы мне не сказали раньше? Вы совершенно правы, Дакс, мы должны быть осторожны. Я

вам скажу, что надо сделать. Пришлите мне копию вашего приказа, отправленного к Ренуару, и его ответ в оригинале. Я посоветуюсь с генералом. Я очень рад, что вы указали мне на это, хотя быть может они не имеют друг к другу никакого отношения. Будьте любезны, передайте, если можно, трубку Лябушеру.

— Вот он.

— Говорит Лябушер.

— Как хорошо, Лябушер, что мне удалось вас поймать. Вы слышали мой разговор с Дакс?

— Да, слышал.

— Тогда вы знаете, что судить будут троих. Как председатель суда, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы вопрос о четвертом человеке не всплыл во время суда.

Гостиная замка была просторной комнатой с выходящими на запад окнами, под которыми расстился обширный газон, ровный и пушистый, как ковер, залитый лучами заходящего солнца. В этой старинной комнате в свое время побывало не мало военных. Наполеон провел здесь две ночи и в честь его замок был назван Шато де Л'Эгль¹.

Но в настоящий момент старшим по чину, среди находившихся в комнате офицеров, был капитан 181-го линейного полка Этьен. Вошел сержант-майор и кивнул головой часовым, чтобы они открыли дверь.

— Смирно! — проревел он, — винтовки на караул!

Послышался скрип стульев, щелканье каблуков и шпор. Церемониал соблюдался в точности.

Один за другим вошли три офицера во главе с полковником Лябушером. Шедший сзади лейтенант вошел не в ногу, но дойдя до середины комнаты поправился. Полковник прошел прямо к судейскому столу. Капитан и лейтенант стали справа и слева от него. Лябушер отдал честь группе стоявших перед ним военных искомандовал: «вольно».

— Считаю заседание военно-полевого суда открытым, — произнес полковник. — Введите обвиняемых.

Крики команды раздались за дверями и в зале появились арестованные.

— Дело будет рассматриваться ускоренным военно-полевым судом, — начал Лябушер, когда в комнате снова наступила тишина. — Следовательно, мы отбросим большую часть формальностей. Но я считаю необходимым зачитать приказ о назначении судей. Секретарь, зачитайте, пожалуйста, приказ. — Лейтенант, сидящий у края судейского стола, встал и начал читать.

— Генерал, командующий дивизией, приказывает: ускоренный военный суд, собравшийся в Шато де Л'Эгль для рассмотре-

¹ Сглиный замок.

ния дела о четырех нижних чинах, обвиняемых в трусости перед лицом неприятеля, назначается в следующем составе: председатель — полковник Лябушер, судьи: капитан Танон, лейтенант Мариньян, прокурор — капитан Ибельс, секретарь — лейтенант Мерсье. Подпись: Дивизионный генерал. Ассолан.

Полевой суд сказал свое слово.

На дворе замка, перед конюшнями, выстроилась небольшая группа людей. Солнце опустилось за крышу конюшни и голуби нежно ворковали в тени карнизов. Три солдата без оружия, без шапок, стояли навтыжку. Перед ними стоял прокурор, позади них выстроилась стража с винтовками на караул. Рядом с прокурором стояли секретарь суда и сержант-майор. Капитан Ибельс читал приговор.

— «Именем французского народа. Сего числа ускоренный военно-полевой суд, собравшийся в Шато де Л'Эгль, совещался при закрытых дверях...

— «Председатель задал вопрос:

— Виноваты ли в проявлении трусости перед лицом неприятеля во время атаки 181-м линейным полком части неприятельской линии, известной под названием Трыц, солдаты упомянутого полка Феролль, Ланглуа и Дидье?

«Голоса были собраны, согласно закону поочередно и, начиная с младшего по чину, причем председатель суда объявил свое мнение последним.

«На заданный вопрос военно-полевой суд единогласно ответил: «Да, обвиняемые виновны».

«Затем, по предложению прокурора, председатель поставил на голосование вопрос о мере наказания.

«Голоса были собраны согласно закону поочередно и, начиная с младшего по чину, причем председатель суда объявил свое мнение последним».

«Исходя из этого, ускоренный военно-полевой суд, руководствуясь двумя голосами против одного, приговаривает солдат Феролль, Ланглуа и Дидье к смертной казни через расстрел, как предусмотрено сводом военных законов.

«Ускоренный военно-полевой суд предлагает прокурору незамедлительно прочесть решение суда обвиняемым в присутствии вооруженного караула.

«Подпись: Лябушер, — председатель суда;

Танон, судья.

Мариньян судья».

Сидя в своем служебном помещении, полковой сержант-майор Буланже давал точные инструкции группе унтер-офицеров из 1-го батальона.

— Как вам известно, — говорил он, — полевой суд признал обвиняемых виновными и приговорил их к расстрелу. Обвиняемые будут расстреляны завтра утром, ровно в 8 часов.

— Полковник требует, чтобы все произошло без всяких помех и, по возможности, скорее. Не надо чересчур торопиться, но и не копаться. Дело поручено мне и я спрошу с вас, если вы не исполните в точности моих приказаний. Ваши обязанности не сложны. Достаньте ваши записные книжки и запишите, все что я вам скажу.

— Сержант Гуно, вам поручается сопровождать арестованных от гауптвахты до места казни. В вашем распоряжении будет двенадцать солдат, по четыре для каждого арестованного. Штыки должны быть примкнуты, винтовки заряжены.

— Каждый из четырех солдат персонально отвечает за конвоируемого им арестованного. В случае, если возникнут какие-либо беспорядки и арестованные будут сопротивляться, застрелить их на месте или прикончить штыками. Но нужно приложить все усилия, чтобы избежать применения оружия. Понятно?

— Нет, руки арестованных будут связаны только на месте казни. Полковник не желает ненужных жестокостей. Кроме того, им будет труднее идти со связанными руками.

— Конвоирам строго запрещается говорить с арестованными. Каждый из вас получит литр коньяку.

— Когда вы придете за арестованными, пусть каждый из них хорошенько приложится к фляге и дайте им, если они попросят, по папиросе. Но смотрите, чтобы они не хлебнули через край. Не забудьте, что они выпьют на пустой желудок, очень пустой, как мне думается. Когда вы дойдете до опушки леса, где дорога поворачивает к учебному плацу, дайте им еще раз хлебнуть. Понятно?

— Сейчас же после того, как мы кончим наш разговор, Гуно отправится на гауптвахту, а оттуда пройдет немного замедленным шагом до учебного плаца, тщательно отметив на своих часах затраченное им время. Руководствуйтесь им с таким расчетом, чтобы конвой с арестованными прибыл на учебный плац ровно в 8 часов. Все понятно?

— Хорошо. Сержант-квартирмейстеру будет поручено заблаговременно отрядить два наряда людей. Первый поставит столбы на месте, которое я укажу, второй выроет в лесу могилу, достаточно широкую, чтобы в нее поместились три трупа.

— Оба наряда будут присутствовать при казни. Сержант позаботится о ноже, веревке и повязках для глаз. Руки арестованных будут связаны за спиной. Арестованные будут привязаны к столбам достаточно крепко, чтобы не дать им упасть в случае обморока. Это возьмет на себя третья рота.

— Теперь о самой казни. Приказано, чтобы наряды состояли исключительно из молодых солдат. Почему? Не знаю, но полагаю для того, чтобы показать им, что такое дисциплина, а мо-

жет быть для того, чтобы избежать неприятностей, если старые солдаты вдруг откажутся стрелять в своих товарищей.

— Да, я знаю, что согласно уставу наряды должны назначаться из других полков, или, в крайнем случае, из других батальонов. Но приказ остается приказом и он получен из штаба дивизии.

— Они знают что делают, а если и не знают, то это не наше дело. Кроме того, полковник хочет, чтобы люди одной роты не расстреливали своего товарища. Таким образом, первая рота отрядит наряд для расстрела Ланглуа, четвертая — для Дидье, вторая — для Феролль.

— Каждый наряд будет состоять из двенадцати человек и сержанта. Они выступят к плацу каждый по отдельности и будут ожидать у конца поля. Я распоряжусь, чтобы они вышли, когда будет нужно.

— Весь полк должен выстроиться у восточного края плаца в 7.15. В 7.30 я приму командование и построю людей в трехстенное карре.

— В 7.45 придут офицеры и займут свои места. Я сдам команду старшему офицеру.

— Когда арестованные будут приведены и привязаны к столбам, я выведу наряды и доложу старшему офицеру, что готово. По его команде забьют барабаны и адъютант прочтет приговор полевого суда. После окончания чтения приговора снова забьют барабаны. Один из офицеров скомандует. Я еще не знаю, пройдет ли полк церемониальным маршем мимо тел расстрелянных или нет...

— Вопросов нет?

— Нет, никаких церемоний разжалования не будет. Очевидно, в штабе дивизии об этом позабыли и полковник воспользуется их оплошностью. Все?

— Хорошо. Разойтись!

— Именем французского народа, — сказал Ланглуа.

— Он должен был бы сказать: «именем французских палачей» — отозвался Дидье.

— Подумать только, — сказал Ланглуа, — что мы, в конце концов, все-таки французы, ты, я и Феролль и миллионы других.

— Не принимайте все так близко к сердцу, — отозвался Феролль. — Я в третий раз попадаю под полевой суд и отделялся всякий раз несколькими месяцами тюрьмы. А тюрьмы не такое уж плохое место, особенно во время войны. Сидишь спокойно, получаешь еду три раза в день и никто тебя не беспокоит. Сиди и жди, вот и все, что от тебя требуется. Иногда может быть заставят немного поработать. После алжирских лагерей, это настоящий рай. Послушать вас, так можно подумать, что настал конец мира.

— Ну, для нас-то он действительно настал, — сказал Дидье, — один ты ни о чем не догадываешься.

— Откуда ты знаешь? — спросил Феролль.

— По всем признакам. Когда приходится тянуть жребий, то можешь писать завещание. Во-вторых, меня выбрал Роже. Ловко он убрал меня с дороги, хитрый чорт. У меня никогда не являлось желание убить человека, кроме как на войне, конечно, но я многое бы дал, чтобы взять на мушку Роже. Знаете, что я бы с ним сделал? Я зарядил бы свой револьвер пятью холостыми и одним боевым патроном и выпустил бы в него не торопясь сначала холостые, чтобы заставить его умереть пять раз перед настоящей смертью.

— А, это не плохая мысль, — проговорил Феролль и глаза его засверкали от восхищения. — Как ты до этого додумался? Когда я выберусь отсюда, то...

— Дурья твоя голова, Феролль, неужели ты не понимаешь, что на этот раз ты отсюда не выберешься? — сказал Ланглуа.

— Ну, ты, могильщик!

— Разве полевой суд, если его можно назвать судом, не убедил тебя, что нет никаких шансов на спасение?

— Говоря по правде, ребята, я был очень невнимателен. Я соблажился, не удастся ли мне добраться до окна, близ которого я стоял, и выскочить на двор. Я было уже совсем решился, когда капитан начал свою речь. Я югланул на караульных и увидел, что один из них придвинулся к окну и уставился на меня рачьими глазами.

— Ты с ума спятил, — сказал Дидье. Ланглуа молча согласился с ним.

Оба отлично все понимали, но между тем не испытывали настоящего страха. Крайнее нервное напряжение, вызванное судебной процедурой, улеглось. Их нервы пришли в нормальное состояние и сухость во рту прошла.

Они доказывали друг другу, что расстрел неминуем, но в то же время были убеждены, что останутся живы.

Повинуясь какому-то странному инстинкту, они выдвигали аргументы один безнадежнее другого, чувствуя, что этим доставляют себе облегчение.

Они знали, что умрут, и в то же время не верили в слово смерть.

Вернее, они знали, что будут казнены, между тем как сама мысль о казни не укладывалась в их сознании.

Дидье сидел на нарах, кончая писать письмо жене. Слова давались ему с трудом.

Он оборвал письмо словами: «Боже мой, как я тебя люблю! И как мне хочется плакать!»

И Дидье заплакал, беззвучно, отвернувшись к стене, чтобы товарищи не заметили его слез.

Письмо Ланглуа:

«Действующая армия.

Милая женушка! Как мне начать, чтобы рассказать тебе, что со мной случилось? Это будет слишком жестоко с моей стороны, но когда ты прочтешь это письмо, то я буду мертв, расстрелян французскими солдатами. Каким я себя чувствую одиноким! Прости мне эти несвязные фразы. Я не поспеваю за нахлынувшими на меня мыслями и чувствами.

Если сержанту Пикар или капитану Этьени удастся когда-нибудь увидеть тебя, то все что они расскажут будет верно. Оба были моими друзьями и Пикар, священник, обещал мне, что это письмо дойдет по адресу. Полковник Дакс, кажется, также был мне другом, только далеким. Они тебе расскажут, как все произошло. Короче, дело вот в чем. Мы не смогли взять немецких позиций сегодня утром. С тех пор, как мне кажется, прошли года. Мы не были виноваты. Ни одно человеческое существо не могло бы пробиться через этот огонь. Кому-то захотелось показать несколько примеров другим и вот я среди них. Кроме меня еще двое. Мы осуждены военно-полевым судом и будем расстреляны завтра утром. Нас обвинили в трусости и суд был неумолим. Клянусь тебе, что я не был трусом. Но им нужны примеры. Я не говорю, что не боялся. Нет такого человека, который бы никогда не боялся.

Только вчера, перед атакой, я разговаривал с людьми. Я говорил, что не боюсь умереть, но боюсь быть убитым. Это было и остается правдой, хотя я знаю, что сумею без дрожи взглянуть в дуло наших винтовок. Но теперь я знаю, что страх перед смертью, которая заранее предрешена, — страшная вещь. И только мысль о тебе, моя любимая, придает мне силу, чтобы пережить эти часы. Несправедливость всего происшедшего настолько очевидна, что я не хочу на ней останавливаться. Конечно, я глубоко возмущен. Но то, что сводит меня с ума, — это несправедливость по отношению к тебе.

Дорогая и бесконечно любимая, я продолжаю свою путаницу. Я не говорю, и не могу передать словами то, что думаю. Если бы мы с тобой могли обняться и взглянуть друг другу в глаза, — все было бы понятно. Я не могу кончить письмо, оно — единственная возможность разговаривать с тобой. Когда я кончу писать, а мне придется это сделать, опустится тьма. Ты ведь не будешь упрекать меня за то, что я цепляюсь за разговор, который никогда не возобновится? Ты не упрекнешь меня за то, что я пытаюсь отсрочить расставание навсегда. Ты не упрекнешь меня за то, что из бессвязного я стараюсь сделать связное?

Я так тебя люблю!

Я вытащил жребий. Сержант-майор все перепутал и жребий пришлось тащить вторично. Я вытащил жребий, когда все тянули второй раз. Кто-то спутал несколько цифр и вот мы оба преданы пытке. Я не даю себе труда разобраться во всем этом.

Моя единственная, как ты мне дорога! Я держу в руках записную книжку, которую ты мне дала. Я дотрагиваюсь до нее, это вещь, которую ты трогала. Я перешлю ее тебе. Я зацеловал ее всю, грустная попытка передать тебе несколько поцелуев. Бедный, изношенный, грязный кусочек кожи! Как бесконечно дорога мне эта единственная вещь, которая связывает меня с тобой. В глазах появляются слезы и я не могу их сдержать. Они каплют на книжку, и она становится мокрой. И еще более безобразной. Как я рад, что не взял с собой твою последнюю карточку. Помнишь, когда ты мне ее дала, я плакал перед твоим прекрасным и таким печальным лицом. Эта карточка, имей я ее с собой, убила бы меня, но я бы не мог оторвать от нее глаз.

Я с трудом сдерживаюсь. Меня душит горе и жалость к тебе. Феролль все курит, Дидье кончил свое письмо, и я должен также кончить, не то при мысли о тебе я не выдержу.

Прощай, моя дорогая, моя любимая жена. Не падай духом. Время придет тебе на помощь. Теперь я взял себя в руки. Я больше не боюсь. Я встречу французские пули, как француз. Как я тебя люблю и как ты нужна мне.

Милая, я всегда тебя любил и всегда нуждался в тебе. Ты всегда доставляла мне лишь радость. Прощай, прощай. Мне теперь все равно, какой у нас будет ребенок. Чтобы не огорчать тебя, буду стараться надеяться, что это будет мальчик. Твой навсегда...»

Сержант Пикар, священник, возвратился в помещение для арестованных вскоре после полуночи. Он взял письма и аккуратно спрятал их во внутренний карман.

— А у тебя разве нет письма? — спросил он Феролля.

— Нет.

Священник хотел приступить к исповеди и к причастию, но не знал с чего начать. Да и люди, казалось, не выказывали особой готовности принять таинство.

Он повернулся к Фероллю.

— Сын мой, не хотите ли вы исповедываться?

— Нет, не хочу.

Священник приблизился к Ланглуа.

— Не надо, отец, прошу вас, — сказал Ланглуа, — это совершенно бесполезно.

Беспомощный и смущенный священник отошел от Ланглуа и остановился посреди комнаты. Он опустился на колени на каменный пол и громко начал читать отпущение грехов.

Некоторое время Дидье молча наблюдал за священником, потом встал, и медленно и спокойно подошел к коленопреклоненному человеку. Ланглуа, шагавший назад и вперед, обернулся как раз в тот момент, когда Дидье с силой ударил Пикара ногой в живот.

— Замолчи, — взвизгнул Дидье и набросился на согнувшегося на полу Пикара. — Вон отсюда с твоими бормотаниями, черная свинья.

Ланглуа пришел в себя и прыгнул на спину Дидье.

Оба повалились на расprostертое тело священника, перевернув в своем падении ушат. Дидье освободился от Ланглуа и, стоя на коленях, со страшной силой ударил его по челюсти. Ланглуа снова упал, широко раскрыв рот, из которого шла кровь, и замолк. Ферольль встрепенулся и начал вызывать интерес к зрелищу. Его интересовало, что будет дальше.

Дидье все еще продолжал кричать: «откройте двери, свиньи, и вытащите отсюда эту трещотку». Он установился у двери, держа ушат высоко поднятым.

В комнату ворвалась стража. Дидье пустил в нее тяжелый ушат и свалил двух солдат. Он был похож на сумасшедшего и действовал как сумасшедший, бросившись на проталкивавшихся в комнату солдат, не обращая никакого внимания ни на дула винтовок, ни на штыки.

Солдаты, наверно, получили соответствующее распоряжение, потому что подняли штыки так, чтобы Дидье не мог на них наткнуться, затем оттеснили его в глубь комнаты, избивая прикладами.

Дидье дрался, как бешеный, кусался, бил руками и ногами.

Внезапно он почувствовал резкую боль выше колена и потерял сознание. Ему переломили ногу и пробили голову.

Покончив с Дидье, солдаты сначала привели себя в порядок, затем подхватили священника, все еще бывшего в бессознательном состоянии и унесли его, не обратив внимания ни на Ланглуа, неподвижно лежавшего на каменном полу, ни на Ферольля, сидевшего на нарах и сожалевавшего, что драка кончилась.

РАССТРЕЛ

Без десяти четыре Дидье начал приходить в сознание. К четырем он пришел в себя настолько, чтобы зареветь от боли.

Вошедший сержант увидел, что дело с ногой у Дидье обстоит неладно. Даже совсем неладно, ибо казалось, что между бедром и коленом появился отросток. Сержант вышел и послал вестового за врачом.

45 минут спустя появился врач. Он был молод, заспан и раздражен. Он взглянул на Дидье и сразу увидел, что у него был перелом берцовой кости.

Ферольль и Ланглуа подошли ближе, наблюдая, как доктор начал разрезать штанину. Он взялся за дело так грубо, что Дидье вновь начал реветь. Врач бросил ножницы и начал рыться в своем чемодане. Он вынул шприц, нащупал на груди Дидье место помягистее и впрыснул ему что-то.

Затем он вытащил из кармана химический карандаш, послунывил его и что-то отметил на лбу Дидье. Таинственные знаки означали для посвященных, что Дидье было впрыснуто четверть грамма морфия.

— Как это все произошло? — спросил врач у сержанта.

Сержант рассказал.

— Гм, — проговорил врач. — Найдите-ка мне что-нибудь, что могло бы заменить лубок.

Когда сержант вернулся с лубком, то штанина была отрезана и доктор кое-как соединил концы переломленной берцовой кости. Он взял лубок и прибинтовал его к ноге обмотками Ланглуа.

— Придется довольствоваться этим, — сказал врач, поднимая и собирая свои инструменты. — Конечно, он не может стоять со сломанной ногой, и я доложу обо всем полковнику.

Пока с санитарной двуколки снимали носилки с Дидье, осужденные и их конвой остановились под деревьями около входа на учебный плац. Гуно снова вытащил свою флягу, но к ней приложился только Феролль.

— Отходит, — проговорил один из солдат, указывая на тяжело дышащую фигуру на носилках. Гуно подошел к Дидье и начал щипать его за щеки, пока тот не пришел в себя.

Гуно чувствовал себя неважно, это объяснялось, главным образом, присутствием среди осужденных Ланглуа. Всякий раз, когда он взглядывал на него или слышал его голос, его охватывало чувство ужаса. Гуно не смог бы определить, что происходит вокруг него, но он чувствовал, что, наблюдая за Ланглуа, он видит человека, который перестает понимать окружающее. Человеческую жизнь, которая постепенно проваливалась в страшное и неведомое.

Группа людей медленно вышла на плац. Феролль шел за носилками и сыпал не переставая похабные ругательства, заглушая слова священника, по адресу которого была направлена значительная часть ругательств. Он был пьян, но не настолько, чтобы предметы двоились в его глазах. Махнув рукой приближавшимся солдатам, он крикнул: «убийцы, смотрите, как умирает герой!»

Ланглуа шел, уставившись в землю, не поднимая глаз.

— Знаешь, — проговорил Ланглуа, — мне пришло на ум, что как раз сейчас я не чувствую особого страха. Смешно, не правда ли? Это наверно оттого, что я увидел столбы, столбы, отмечающие конец моей жизни. Не многим людям, думается мне, придется увидеть заранее отмеченный конец их жизни. Может быть мне не страшно потому, что я нахожусь в движении. Ты не замечал, что, стоя на месте, боишься гораздо больше? Минуты, предшествующие началу атаки, гораздо страшнее, чем потом.

Ждать, ждать, это невыносимо. Теперь я вижу столбы и стоящих около них солдат. Это наверное те, которые будут нас расстреливать. Значит ожидание подходит к концу. Это значит, что кусок того твердого льда, застрявший во мне, скоро распустится...

Ланглуа внезапно замолк. Слезы подступили к его глазам, он слегка пошатнулся; наткнулся на одного из караульных, затем оправился.

— Вот и пришли,— проговорил Гуно.— Бодрись, старина! Покажи-ка им, как нужно умирать. Скоро многие из нас будут вместе с тобой. Эта война...

Ланглуа сложил губы, чтобы засвистеть, но вместо свиста у него вырвался глубокий вздох. Кто-то схватил его за рукав.

— Дайте мне снять тужурку,— сказал Ланглуа. Кто-то отнял у него тужурку, немного грубо, потому что люди нервничали.

Когда Ланглуа поднял глаза, то перед ним была стена небесно-голубого цвета, стена плотно сомкнувшихся людей, отрезавшая его от внешнего мира.

Ланглуа вздрогнул. В то же мгновение его схватили за кисти рук, соединили их за спиной и связали.

Вокруг него суетились люди, дыша ему в лицо, неловкие, скверно пахнувшие, но в то же время нежные. Ланглуа было приятно чувствовать, как они прикасались к нему.

Его отвели на несколько шагов и он почувствовал, что прислонился к столбу, что его обмотали веревками вокруг груди и пояса. Потом его притянули к столбу так крепко, что стало больно.

Чей-то голос сзади спросил хочет ли он, чтобы ему завязали глаза.

— Нет,— сказал Ланглуа.

Люди отошли. Ланглуа остался один, задыхавшийся, вспотевший. Неподвижность его фигуры придавала ему вызывающий вид, которого он сам не замечал. Он смотрел на стоящую перед ним голубую стену, но лица людей расплывались.

Кто-то подошел, попробовал веревки, снял с Ланглуа кэпи и отбросил его в сторону.

— Бодрись,— проговорил сержант-майор Буланже и исчез так же незаметно, как появился.

Тишина внезапно была нарушена барабанным боем. То был дикий и зловещий грохот. Но он немного подбодрил Ланглуа, заглушив острую боль в его лихорадочно-бьющемся сердце.

Барабаны замолкли и послышался чей-то голос. Ланглуа различал некоторые слова, показавшиеся ему знакомыми. Он их слышал где-то, когда шумела вода или это было воркование голубей?

Теперь можно было разглядеть лица стоявших перед ним людей. Вон тот с краю, где Ланглуа видел его раньше? А, новобранец, собиравшийся получить медали.

Феролль, привязанный к соседнему столбу, что-то бормотал.

Последний глоток коньяка отуманил его сознание и Феролль видел перед собой не двенадцать человек, а двадцать четыре.

Для Феролля время не имело никакого значения.

Для него вообще больше ничто не имело значения. Он дошел до такого же состояния безразличия, какое переживал его сосед слева.

Дидье висел на носилках, прислоненных к столбу. Верхушка столба, выпиравшая через полотно носилок, сгибала голову Дидье немного вперед. Последним усилием он расправил руки, но они тотчас же согнулись в локтях. Рот Дидье был широко открыт, язык высунулся. Он дышал с трудом, всхлипывая и задыхаясь.

Чтение приговора окончилось.

Снова загрохотали барабаны.

— Да совершится правосудие! — раздался чей-то громкий ясный голос.

— Взвод...

Винтовки выпрямились.

— Пли!

Сабля опустилась. Разорвался залп, брызнул дым, 36 плеч одновременно подались назад. Дым сначала отполз в сторону, потом быстро исчез. Неподвижные до сих пор тела у столбов начали заметно сжиматься.

Носилки Дидье пришли в медленное движение, — так сначала казалось — потом наклонились влево и упали, прикрыв его тело. Дидье стал похож на вялое животное, свалившееся от истощения и подохнувшее под своим грузом.

Феролль, по мере того, как расходились его веревки, перебитые пулями, начал медленно опускаться. Он повалился на то место, куда капала его кровь. Его обезображенная голова ударилась о землю. В течение нескольких секунд он походил на мулу, погруженного в молитву, потом потерял равновесие и свалился как мешок.

Одна из пуль попала Ланглуа в ногу, и он начал клониться в ее направлении. Пули, которые изрешетили его живот, не перебили всех веревок и его руки остались привязанными к столбу. Его тело, приняв уродливое и жалкое положение, качнулось, словно умоляя его развязать, потом немного соскользнуло книзу, словно обнимая и о чем-то прося.

Сержант-майор Буланже подходил к столбам, держа револьвер наготове. Прежде чем найти ухо Дидье и выстрелить, он должен был перевернуть носилки.

Легче было с Фероллем, но трудно было найти его ухо. Буланже наклонился и выстрелил куда-то в голову. Куда именно, он не знал, так как две пули уже пробили голову.

Надо отдать справедливость, что Буланже сохранил кое-какое понятие о благопристойности, ибо, подходя к Ланглуа, первым делом освободил его от безобразной и позорной позы, и только потом прикончил жизнь, которая возможно еще теплилась в человеке.

Первым выстрелом Буланже перебил веревку, после чего тело Ланглуа отделилось от столба и упало на землю. Второй выстрел был направлен уже в мертвую голову.

Перевод с английского Н. КОТОВА

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ОТВЕТ ЧИТАТЕЛЯМ

Я БЫЛ в Москве на четырнадцати читательских конференциях, посвященных моему роману «Не переводя дыхания». Я выбрал из стенограмм те места, где я отвечал на выступления либо значительные, либо часто повторявшиеся и следовательно показательные для многих читателей.

Я думаю, что судьба писателя трагична. Это относится не к социальным условиям, а к специфике ремесла. У нас писатели поставлены в исключительно благоприятные условия, но я сейчас говорю не об этом. Писатель вбирает в себя значительно больше эмоций, нежели другие люди. Он этим занят, как другие заняты прокладыванием дорог или литьем стали. Его одаренность предполагает особенную чувствительность, восприимчивость к эмоциям других людей. Эмоция для него — сырьё. Он придает им форму. Поскольку он занят этим делом, он — мастер и он господствует над формой. Это скульптор, который делает статую. Потом начинается период подчинения созданным статуям, точнее зависимости от них. Чувства, которым придана форма, которые снабжены именем, куда сильнее чувств хаотических и анснимных. После дождя вода растекается, но если провести желобки она в них соберется. Внутри писателя множество желобков: это формы чувств. Принято думать, что в книгах можно найти справки о прошлом писателя. Это конечно верно. Но сейчас я хочу отметить другое: в книгах имеются данные и о будущем писателя. То, что он приписывает своим героям, по всей вероятности, приключится с ним. Не надо понимать это буквально: события могут развернуться в ином плане, утратить внешнее сходство, из области общественной перейти в личную или наоборот. Заметив это на моем опыте, я задумался над жизнью писателей, биографии которых стали давно общественным достоянием. Здесь смешно говорить о «совпадении». Это сила однажды созданной формы и это, если угодно, опасности ремесла.

Говоря: «Опишите то-то. Напишите так-то», вы льстите писателю и вы обманываете себя. Возможности писателя ограничены его индивидуальным опытом, строем его чувств, его природой. Если писатель знает о чем ему надлежит писать, вы его не пере-

убедите: он не придумал тему, он заболел ею, как заболел художник Кузмин темой горя. Если писатель не знает о чем ему писать, оставьте его «вкушать хладный сон». Книга рождается внутренней необходимостью или она не рождается вовсе. Я могу из десяти объективно одинаково интересных жизней увлечься одной, пройти мимо других. Мало того, что приходит от внешнего мира, надо обладать миром внутренним. Тема рождается от органического слияния наблюдений и переживаний.

Вы спрашиваете меня, как я писал этот роман. «Откуда вы взяли материалы»? Я мог бы ответить: у меня были письма и дневники, я встречался с людьми, я ездил на Север. Дело, однако, не только в этом. Вас не удивит, что многое в Ляссе я писал по своему опыту: Лясс мой ровесник. Но возможно вы удивитесь, узнав, что многие переживания молодых героев романа относятся к жизни сорокалетнего автора. Я говорю это только для того, чтобы пояснить вам, как рождается книга.

Даже фотограф старается изменить перспективу, заснять под углом, освещением сместить планы. Если писатель сначала что-то записывает в книжечку, а потом кроит роман, его произведение не способно никого взволновать. Литература описательная это прежде всего литература равнодушная. Когда на съезде писателей различные делегации говорили: «Опишите нас», я воспринимал это как дружеское приветствие, но не как заказ.

На заводе «Шарикоподшипник» один товарищ говорил, что надо описать именно этот завод, а никак не автомобильный. «Почему вы выбрали Кузнецк, а не Магнитогорск»? — говорили мне товарищи с Магнитки. Конечно, я не написал бы «Дня второго», если бы не увидел стройки. Там я нашел потрясение, страсть, пафос для той темы — рождения человека, которая давно меня мучила. Но к специфике Кузбасса прямого отношения это не имеет. Лясс — агроном, но он мог быть и химиком.

Литература не описывает существующего мира. Андре Жид прекрасно определил социальную функцию писателя: он дает ответы на еще не поставленные вопросы. Было время, когда у нас товары красовались только в витринах, магазины были пусты. Это время миновало. Но в литературе мы все еще видим витрины: несколько поступков выставлено, а позади ничего.

Увудав картину Кузмина, Мезенцев смутился: разве такие планы? разве река такая? Он испуганно подумал: откуда Кузмин это взял? Один из товарищей здесь сказал: «Подавайте действительность, как она есть». Но может быть и река на картине Кузмина была такой, «как она есть»; художник увидел то, чего не разглядели люди, прожившие всю свою жизнь на берегу этой самой реки? Реализм отнюдь не натурализм. Конечно, художник создает свой мир из элементов мира существующего, но он вкладывает в него свое содержание и новый мир начинает жить. Дело не в точности деталей. Чтобы написать портрет, незачем измерять сантиметром нос или изучать морщины.

Одни товарищи говорили, что комсомольцы в моем романе напоминают их самих, их товарищей. Другие возражали: «Это наше недавнее прошлое». По моему это наше недалекое будущее. Чувства Мезенцева и Вари опережают жизнь. Если я ошибаюсь, вы зря потеряли время на чтение моего романа. Писатель должен быть впереди жизни: это не его амбиция, это его место. Если ему кажется, что он идет с жизнью в ногу, он неминуемо плетется за нею в хвосте.

«Почему у вас нет вредителей»? «Почему мало показаны производственные процессы»? Писатель не универмаг. Я уже говорил о том, что писатель отнюдь не волен в выборе темы. Разве мало производственных романов? Среди вас имеются люди, которые, прочитав книгу, думают об одном: «А чего в этой книге нету»? Конечно, и такие мысли полезны; они помогают человеку понять все многообразие мира. Но вряд ли стоит рассказывать человеку о том, как разводят хлопок, только для того, чтобы он ответил: «А где домны»? или «А где кенгуру»?.

Один товарищ сказал: «У вас люди чересчур много переживают — мало событий». Я думаю, что бутафория нашего мира давно описана. Существуют также живописные сценарии с нагромождением множества событий. В тени остался автор, режиссер и актер этой эпопеи — человек. Но я отнюдь не говорю: пусть все писатели пишут психологические или лирические романы. Литература начинается с вариантов. Она жива тем, что не похожи друг на друга ни люди, которых писатели показывают, ни сами писатели.

«Непонятно для среднего читателя! Пишите понятней!» Один товарищ здесь хорошо сказал: «А если мне книга с самого начала понятна, я ее и читать не стану»... Нельзя говорить писателю, чтобы он опустил до так называемого «среднего читателя», надо стараться поднять этого читателя до уровня литературы. Сколько раз упрекали Маяковского в том, что он труден для понимания. Ему предлагали писать, как Жаров. Что было бы, если бы он послушался этих советов? У нас было бы два Жарова, а Маяковского у нас не было бы. Имеются писатели, которые норовят приспособиться к уровню среднего читателя. У них — только белое и черное. Однако в итоге они проигрывают: читатель растет и круг их читателей не расширяется, но суживается. Нарочито непонятно пишут только литературные шулера. Но это не означает, что роман можно написать, как букварь. Усложняются чувства людей, их мысли, их поступки, появляются красочность и глубина. Нелепо подавать этих людей плоскими или писать их только черным и белым. Авторы, которые думают о доходчивости своих книг, на словах уважают читателя. На самом деле они его обкрадывают: они хотят лишить его сложности не потому что он, читатель, жаждет букваря, но потому, что они, писатели, ничего кроме букварей написать не могут.

Меня упрекают в том, что «Не перевода дыхания» — роман без

сюжета. Вспоминая мое выступление на с'езде писателей, говорят, что я сторонник бессюжетной литературы. Мне кажется, что здесь смешивают два понятия: сюжета и интриги. На с'езде писателей т. Ясенский сказал, что Лев Толстой «по барски» презирал сюжет. Ни «Войну и мир», ни «Анну Каренину» нельзя назвать бессюжетными произведениями. Очевидно речь идет об отсутствии интриги. Я еще раз должен напомнить, что писатели друг на друга не похожи. Т. Ясенский написал роман, в котором он связал интригу детективного романа с советской действительностью. Я этого делать не хочу. Интригу я, если угодно, презираю, но не «по-барски», а по-советски. Мне кажется, что природа того эмоционального сырья, которым мы располагаем, исключает возможность занятой фабулы. Возможно, что я ошибаюсь. Но нельзя убедить т. Ясенского, чтобы он писал, как Эренбург. Нельзя убедить и Эренбурга, чтобы он писал, как Ясенский.

Товарищи похитрее меня спрашивают: «Почему же вы не пишете, как Толстой»? Здесь искушение сильнее. Однако, я убежден в зависимости формы от содержания. Изменилось содержание нашей жизни, чувства людей, их движения, их язык. Может ли при этом остаться неизменной форма классического романа? Писать так, как писал Толстой, сейчас нельзя. А заниматься плагиатами вряд ли стоит.

Я не собираюсь из «Дня второго» или из «Не перевода дыхания» выкроить литературную программу. «Почему у вас двадцать действующих лиц»? Мне кажется, что тема — моя и эпохи — требует сочетания различных жизней. Жизнь каждого из героев я показываю в ее соотношении с другими жизнями. Однако, я представляю себе роман, посвященный одному герою, в котором будет сосредоточено все многообразие нашей жизни. Я только боюсь, что его автору вы скажете: «А почему у вас один герой — не двадцать»?....

«Почему в вашем романе нет концов? Ни один из ваших героев не показан в завершенном виде. Почему вы не показали, что будет дальше с Генькой или с Лидией Николаевной»? «Концы» для писателя вещь скорее соблазнительная. Они позволяют прикрыть многие прорехи. Но я все же не прибег к этим «концам». Возможно, что мои книги — плохие книги. Старался я писать хорошо, но самому писателю не видно, как он сделал книгу. В одном я убежден: я не прибег ни к одному из разрешений, которые я считал художественно фальшивыми. «Концов» в моем романе нет, потому что их нет в нашей жизни. История Мезенцева или история Геньки еще не дописаны историей. Представим себе, что писатель общества сформировавшегося, более того — окостеневшего, — встретил бы Мезенцева и Варю. Я беру это в плане буржуазного общества. Варя «девушка с прошлым». Это прошлое она скрыла от жениха. Драма. Потом драма изжита. Роман кончен и кончен он всерьез: все, что может приключиться в дальнейшем с этими персонажами не способно заинтересовать ни автора, ни читателей. Писатель ус-

тановившегося общества описывал отклонения от нормы, катастрофы, «казусы». Поскольку конфликты разрешались, благоприятно или неблагоприятно, наступал естественный конец романа. У нас читатель видит «конец», но ему кажется, что «продолжение следует». Он прав. Искусственно приделанный «конец» может быть и успокоит любопытство читателя, но он отнимает у всего предшествующего достоверность и глубину.

Я расстаюсь с моими героями в минуту их наибольшего под'ема. Это обстоятельство, а не «счастливые концы» позволило некоторым критикам говорить об оптимизме романа. Кроме биографических развязок существуют развязки поэтические: они не в событиях, а в голосе. Кто знает, что сегодня делает Лидия Николаевна? Может быть она терзается, играя в халтурном театрике перед равнодушными зрителями. Однако, я думаю, что никогда в своем отчаянии она не дойдет до той безысходности, которая обступала ее, как речной туман, накануне вечера в колхозе. Внешне ее жизнь не изменилась. Она не стала великой актрисой. Она и не вышла замуж. По всей вероятности она очень одинока. Но вечер под'ема был переломом, а следовательно и «концом».

Когда Лидия Николаевна уезжала, она даже глаза закрыла от страха: ей показалось, что все ее счастье осталось на пристани. Потом она приоткрыла глаза и рассмеялась: счастье было в ней. Здесь смутно намечаются новые чувствования, возможность преодоления горя, разлуки, смерти.

Нельзя подписать слово «конец» под историей Геньки. Это не история поколения, но это история изнанки поколения. Некоторые товарищи говорят: «Генька переделался». Другие возражают: «Слишком быстро». Я не думаю, чтобы Генька вернулся с Вайгача Мезенцевым. Мезенцевым он никогда и не станет. Он написал Варе умное честное письмо. Но одно дело написать письмо, другое — подтвердить свои мысли жизнью. Вряд ли в будущем жизнь Геньки будет столь же самозабвенна и чиста, как его письмо. Что же в таком случае переменялось? Процесс перерождения человека (я предпочитаю «перерождение» — «переделке», как термин более соответствующий процессу) происходит не быстро и не гладко. Генька уже что-то понял. Он увидел пустоту и скуку жизни без любви к людям. Остальное?... Об остальном можно написать еще много книг. Я мог бы на других персонажах — на Варе, на Мезенцеве, на Ляссе показать то же самое: отсутствие биографических эпилогов при наличии развязки психологической или же лирической, но, пожалуй, приведенными примерами можно ограничиться.

Одни говорят, что я несправедлив к Геньке. Другие наоборот упрекают меня в том, что я Геньку люблю и покрываю. В конечном счете, подобные разговоры очень интересны, но к книге прямого отношения не имеют. Читатели часто думают, что они говорят о романе, на самом деле они говорят о себе. Генька занимает их и они спорят: отрицательный это тип или положитель-

ный? Скверная привычка заносить всех людей либо на красную доску либо на черную: люди сложнее. Автор имеет дело не только с поступками героев, часто случайными, но с их естеством. Поэтому он не может согласиться на упрощенное деление: положительный тип и отрицательный.

Бесспорно в Геньке много привлекательного. Трудно себе представить, что Леля, Красникова и Вера могли бы полюбить холодного и бездушного карьериста. Он невыносим, но не гнусен. Его хочется одернуть, но не уничтожить. В нем есть горение и вот это горение подкупает многих. Об эгоизме, жесткости и презрении к людям незачем говорить. Но зачем надо было Геньку делать трафаретным носителем всех пороков? Мне говорят: «У вас нет ненависти». Ненавидеть можно чувства и поступки даже любимого человека. Генек у нас очень много. Скажем в той книге дана эссенция, в жизни они разбавлены: пол-Геньки или осьмушки. Сколько их сейчас здесь? Ненавидеть Генек нелепо и преступно. Мне сорок четыре года и я помню о том, что Геньке двадцать два. Я не могу ненавидеть наших детей. Я ненавижу эгоцентризм Геньки. Мне кажется, что эта ненависть доходит и до читателей. Почему? Потому, что Генька написан не одной черной краской. Стоит ненавидеть тот или иной поступок человека, который заранее предусмотрительным автором вывален в дегте?

«У Эренбурга Генька исправляется без помощи коллектива». Пожалуй это самый распространенный из упреков. Он напоминает условный рефлекс. Я не думаю, чтобы, говоря это, товарищи задумались над тем, что такое коллектив. Геньку «переделывают» люди, товарищи, среда. Вера — последний удар. Он хочет жить жизнью в основе ложной и пустой. Все вокруг говорит ему: так жить нельзя — Голубев и Мишка, старый землекоп и жена, Красникова и секретарь. Но очевидно некоторые из вас огорчены, что в романе нет протокола: «слушали — постановили». Слово «коллектив» они понимают только механически — бюрократически: «А что делала ячейка? А что делал местком?» и т. д. Упасть человеку нетрудно. Но падает каждый человек по своему, по своему и подымается.

Почему я послал Геньку в Арктику к моржам, вместо того, чтобы послать его на производство? Скажу откровенно: я его никуда не посылал. Я не исправительное заведение; я писатель и я обязан считаться с художественной правдой. Генька живет на ходулях. Он любит театр для себя. Лясс, пережив глубокую драму немолодого и одинокого человека, говорит только одно: «Что-то расчихался я — холодно»... Легко себе представить, сколько иступленных монологов произнес бы на его месте Генька. Генька хочет искренне расквитаться с жизнью, он ищет для себя узкого пути, но его природа подсказывает ему романтический исход. Завод для него был бы будничным эпизодом. Это не мысли Эренбурга, это чувства Геньки.

Надо сказать, что любовь к ходулям, к пышным декорациям, к

пафосу арифметики, к «Магнитогорску любви», о котором мечтал Генька, достаточно распространены среди нашей молодежи. Они не позволяют многим понять Мезенцева. Для Геньки Мезенцев прежде всего дурак и баран. Многие из вас говорят: «Мезенцев рядовой тип, это середняк, это бледный человек, он куда глупее Геньки...» Мезенцев обладает одним свойством, которое у нас еще недостаточно ценится: скромностью. У нас часто думают, что скромность это посредственность. Надо ли говорить о том, что можно быть стахановцем и остаться при этом скромным человеком? Вспомните «беседу» Мезенцева с сыном: его мысли о поколении, о товариществе, об искусстве, вспомните любовную драму Мезенцева, вспомните, как он ощущал что «жизнь подробно». Конечно, он не только честнее, он умнее, тоньше, глубже Геньки. Но он не пестр, не криклив, и вот тысячи Генек смотрят на него в лучшем случае покровительственно. Для меня он черновой набросок человека будущего.

Один товарищ очень обижен на меня за происхождение Вари. Несколько раз он повторял: «У нее кулацкая кровь». Когда мы говорили о социально враждебных элементах, мы учитывали корысть, воспитание, среду, которые восстанавливали против Октября представителей некогда привилегированных классов. Но мы не гитлеровцы и анализом «крови» мы никогда не занимались. Варя связана с нашей жизнью и с нашим трудом. Говорить здесь о «крови» по-моему не только жестоко, но и бессмысленно.

Другой товарищ сказал: «Конечно, она у вас кулачка не настоящая. В конечном счете и драмы тут нет. Все легко кончается. Вот если бы она оказалась настоящей кулачкой, тогда была бы и драма». Драм в жизни много и драмы бывают разные. Вы говорите об одной из них: о борьбе долга с чувством. Я рассказал о другой: о недоверии, которое подтачивает любовь. Я не искал легкого разрешения. В «Дне втором» я показал драму кулацкого сына. Здесь у меня были иные задания. Нельзя мерить емкость сосуда метром или определять литрами длину пути.

Одна девушка упрекнула меня в том, что мои героини «чересчур легко сходятся!» Она спрашивала: «Где же счастливая семья?» Роман не лавка чудес да и не наставление для малоопытных комсомолок. «Счастливая семья» дается не легко. Любовь Мезенцева и Вари окрепла в дни испытаний. Конечно, тормоза полезная вещь, но с одними тормозами далеко не уедешь. Мораль нашего общества едва намечается. От мерзкого «стакана воды» молодежь теперь естественно кидается к несколько упрощенному пуританизму. Долг писателя помочь ей. Для этого нужны не прописи, но правда о человеческих судьбах, о слезах Лели, о равнодушии Геньки, о трудной любви Вари и Мезенцева.

«У вас недостаточно полно показан труд». Мне хотелось показать труд в его органической связи со всей жизнью. Варя на запани работает так, как она любит Мезенцева, как она дышит и спит. У нас были романы, где люди исключительно работали.

Это деформация не только человека, но и труда. Задача писателя не описать литье стали или сплав леса, но показать мир человека. В этот мир входит и труд. «Бревно вылетело, как птица» — это сказано глазами Мезенцева. Это связано с Варей и, однако же, это работа на лесостоянке. Разумеется, по моей книге нельзя изучить сплав леса. Но для этого лучше всего взять не роман, а хотя бы «Памятку сплавщика».

Меня спрашивают, почему художник Кузмин хотел «включить» в нашу жизнь горе. Горе в капиталистическом обществе было уродливым и приниженым: власть денег, борьба человека с человеком, спесь касты, безысходность подневольного труда. В социалистическом обществе горе не умирает, но оно становится глубоко человеческим. Оно может стать живительным. Оно перестанет убивать людей, оно даст им новые творческие возможности. Об этом мечтал Кузмин и тема его картины будет еще долго волновать художников и писателей. Отрицание горя, мысль о том, что от него можно отмахнуться это — капитуляция. Проблема смерти была когда-то трагедией. В эпоху борьбы за новый мир мы должны были отвергнуть ее трагичность. Мы не сделали из нее комедии, но мы издевались над теми, которые продолжали настаивать на исключительности этой темы. Мы проходили мимо нее: одна тема вытесняла другую. В новом обществе тема смерти снова встанет перед нами. Мы не станем отрицать ее трагичности, но мы захотим эту трагичность преодолеть. В основе нашей культуры лежит не отрицание трагедии, но стремление ее разрешить. В этом мы видим задание возмужавшего человечества.

Теперь разрешите мне сказать несколько слов о читателях. Некоторые товарищи хотят подражать критикам. Но критики бывают разные. Белинский не ставил отметок, он творил. Критик вовсе не может писать о любой книге, как и писатель не может писать о любой жизни. Книга должна быть для критика тем, чем является реальная жизнь для писателя: одним из элементов, из которых рождается внутренняя тема. Критическая статья это художественное произведение, конгениальное разбираемой книге. Вместо этого некоторые критики просто пишут «отзывы», то есть равнодушно говорят о равнодушных (или неравнодушных) книгах.

Минутами мне казалось, что я не то на экзамене, не то в суде. Писатель не преступник и вряд ли криминальный подход к литературе может дать что-либо кроме курьезов. Что касается экзаменов, то экзаменатор должен отличаться большей квалификацией, нежели экзаменуемый.

Один из товарищей здесь выступил, как специалист по художественному языку. Лично я никогда не решился бы выступить на конференции об яровизации с маленьким докладом о ячмене. Когда я прихожу на завод, я не учу, но учусь. Мне никогда не придет в голову обвинить машину в том, что она чересчур

сложна и что ее ход нельзя понять с первого взгляда. Товарищи, которые думают, что они разбираются в сюжете или в композиции романа, по большей части относятся еще к малоподготовленным читателям. Когда человек узнает азы, ему кажется, что он знает все. Год спустя он начинает видеть, как скудны его знания: это означает, что за год он многому научился.

Буржуа, не понимая художественного произведения, винит в этом художника. Это связано с его культурной ограниченностью. Для рабочего культура не рента, но творчество. Поэтому, если он не понимает сразу книги или картины, он должен задуматься: может быть виноват в этом я?..

Я записал наудачу несколько фраз: «Несмотря на недостаточную сочность языка, задача разрешена Эренбургом вполне удовлетворительно», «Необходимо пред'явить счет к писателю, чтобы он выявил роль коллектива». «При всех отмеченных недочетах, роман является существенным вкладом». Это не только штампованные слова, это штампованные мысли. Я знаю, что, говоря между собой о романе, вы находите куда более искренние мысли и куда более живые слова.

Многих сбивает с толку слово «отзыв». На всех книгах значится: «Пришли отзыв!» В основе это слово хорошее и означает оно «ответ». Писатель вправе ждать от читателя ответа. Одни отвечают на книгу жизнью, другие исповедью. Но первоначальное значение слово «отзыв» забыто. Под отзывом понимают небольшую критическую статью, рецензию. Никто не просит «Читатель, пришли рассказик или стихотвореньице!» Но почему-то издательства и библиотеки настаивают: пришли критическую статью. Даются указания: «Напишите ваше мнение об языке — сочный или несочный, о композиции» и т. д. Конечно, огромное большинство читателей не поддается на этот соблазн, но некоторых подобные призывы увлекают и они становятся дилетантскими критиками.

Чтение книги требует большого внутреннего подъема. Мы не раз говорили, что книга меняет человека. Можно сказать, что и человек меняет книгу. Читатель вкладывает в книгу всю глубину своего жизненного опыта, всю силу своей фантазии. Как бы ни было заполнено художественное произведение гением автора, в нем всегда остается свободное мнение для обязательного партнера: чтение не только познавательный процесс, это творчество, и вы должны быть не третьестепенными рецензентами, но подлинными творцами.

Слушая читателей, писатель обогащается. Не потому что он встретил людей, которые наконец-то могут объяснить ему, что такое сюжет и что такое композиция, но потому что люди, взволнованные темой писателя, неизбежно говорят о своих личных темах. Для меня вы не судьи написанной мною книги, но персонажи той книги, которую я еще не написал.

ЕВГ. КРЕКШИН

О ВЫСОКОЙ ТЕМЕ И БОЛЬШОМ СТИЛЕ

(Письмо о литературе товарищу по поколению)

ДАТИРУЕТСЯ письмо одной из ночей первого месяца четвертого года второй пятилетки (до ночной смены осталось 28 минут). Место отправления письма — социалистический город большого завода. Проходная будка, похожая на подъезд новаторского театра, смотрит на просторную площадь. От сквера и асфальтового круга площади, носящей гордое имя Первой Пятилетки, расходятся радиусы улиц уже существующих и только запланированных.

Это — письмо провинциала столичному товарищу. Звание провинциала на обычный фонетический вкус звучит не особенно гордо. Но, ведь, в конечном счете для миллионов провинциалов и издаются журналы и книги, и именно они создают им тиражи.

Гудок раскрывает заводские ворота и завод после семи часов труда уходит в город, заполняя тротуары улиц, толпясь у прилавков магазинов, поднимаясь по лестницам новых домов. Скинута спецовка, вымыты руки — можно отдыхать, слушать радиопередачу, обедать, читать...

Кузнец Левандовский, работающий на механическом молоте в кузнечно-прессовом цехе, один из первых на заводе не согласился со старыми нормами. При выдаче зарплаты он расписывался в ежемесячном получении свыше тысячи рублей. Сотрудник заводской газеты посетил Левандовского и решил поведать миру о его зажиточной жизни. Читателям с упоением было рассказано, сколько новых костюмов у Левандовского и платьев у его жены и какая в их квартире будет вечеринка 7-го ноября. От газетных столбцов поднимался запах хороших вин и сытной закуски. Автор был твердо убежден, что он льстит Левандовскому.

Однако, кузнец обиделся и пришел в райком партии с жалобой на газету:

— Я ведь больше книги покупаю, — сказал он, — почему об этом не написали?

Претензия кузнеца законна. Она характерна для нашей страны, в которой трактористки имеют собственные библиотеки по полторы тысячи книг. Этой стране свойственна жадность не столько на пельмени, сколько на культуру.

После семичасового рабочего дня — вечером, после пятидневной рабочей недели — в выходной, страна хочет читать.

Хочется книг. Таких, о которых говорят: «настольные книги». Которые должны лежать под подушкой у замечательных девушек нашей родины. Таких, чтобы парашютистка и комбайнер читали их с волнением, как библию нашего времени.

Я припоминаю свой отъезд на Восточный Памир пять лет назад. Мне предстояло проработать полтора года на высоте 3580 метров над уровнем моря. Эту местность (кишлак Мургаб, он же Пост Памирский) от свежих газет и журналов, от новых книг отделяли зазубренные и заснеженные стены гор. Горы загораживали горизонт. Только пять месяцев в году снега отступали и пропускали по горным тропинкам караваны верблюдов, разукрашенных цветными помпонами. Верблюд звенит колокольчиком, привязанным к его шее, раскачивает груз на горбу и вышагивает в день 15 километров. От последней станции железной дороги до меня верблюд шел ровно месяц. Грузить его книгами тогда сочли бы преступлением. Это значило забросить на Памир меньше чая, керосина, сахару, ситца, муки. Большой Памирской дороги, давшей сейчас проход зисовским грузовикам от Оша до Хорога, еще не было.

Говорят, что теперь в столицу Памира — Хорог — книги забрасывают на аэроплане. Но тогда передо мной стояла задача взять книг немного, чтобы не утяжелять выюка, но таких, которые можно перечитывать в течение полутора лет с неослабевающим интересом.

Была мечта — собрать библиотечку из 100 книг — лучших в мировой литературе. Но классиков тогда издавали мало и ста книжек не получилось. Полугодовой запас выразился в нескольких случайных томиках Бальзака, Шедрина и растрепанной «Легенде о Тиле Уленшпигеле, Ламме Гоодзаке и их деяниях достойных и храбрых во Фландрии, Фламандии и других странах». Этого хватило с избытком.

Я не навязываю своих литературных вкусов. Допускаю существование человека, в аналогичном случае уложившего в переметные сумы Гладкова, Панферова или Леонова. Нет желания опорачивать эту или любую иную комбинацию современных и соплеменных нам писательских имен, делающих в меру сил большое и важное дело. Но вряд ли, думается мне, такой читатель сможет полтора года поддерживать интересный разговор со своими литературными собеседниками.

Впрочем, с тех пор прошло пять лет. Написано, издано и прочитано много нового. Если просмотреть критические отделы периодики (в них-де подведены все итоги и всему дана оценка), то глаза ослепнут от сияния иконописных венчиков славы и блеска литературных орденов Льва и Солнца, розданных за это время щедрой на похвалы и скупой на критику критикой.

За эти годы наскоро узнавались, а некоторыми поспешно ка-

нонизировались иностранцы самых разных мастей. Дос-Пассос, Луи Селли, Хэмингуэй, Хозе Эустасио Ривера, Пэрл Бак, Агнеса Смэдли. Мне лично вспоминаются Эллен («Только вчера») и Броквэй («Голодная Англия»): Две последних, правда, не из области художественной литературы, но не уступают ей по интересу и читабельности.

Кроме этого мы заново открывали классиков и снова убеждались, что Бальзак звучит почти как современный писатель.

Это не обывательская тяга к «товару с импортной маркой». Это отнюдь не отсутствие литературного патриотизма и любви к своей литературе. В стремлении все познать мы тянемся ко всему, что этому познанию помогает, — будь это даже американская миссионерша в Китае. А если мы браним своего отечественного писателя, то ведь потому что любим, потому что идеи его, а не импортных произведений волнуют нас. Потому что обидно когда он, зачастую, делает свое писательское дело не на уровне страны, поднявшейся выше всяких отметок. И потому сильнее чувствуешь боль от фальши, иногда замеченной у Эренбурга или Соболева, чем восхищение от самой утонченной фразы Хэмингуэя.

Наша литература взрослеет и начинает оглядываться, учитывая пройденное расстояние и скорость хода. Это не «гамбургский счет» при закрытых дверях, это назревшее ощущение того, что скоро начнет (и уже начинает) считать по качеству многомиллионный читатель, в сапогах-скороходах пятилеток проходящий все более высшие ступени лестницы культуры. Этот читатель не даст скидки на молодость, бедность, честность и благие намерения. Он потребует не законспирированного «гамбургского счета», а сдачи литературной продукции с отметками качества, как на заводе имени Менжинского, где подсчитывают, сколько деталей сделал рабочий на «отлично» и сколько на «хорошо». И горе бракоделам!

В первой книге журнала «Знамя» читал я статью Мунблита «Мой спутник». Это необязательная статья на обязательную тему о новых требованиях к нашей литературе. Так как требования все настойчивее и отвечать все обязательнее, то пока ты получишь это письмо, может вылупиться уже большое количество статей, написанных от имени читателя (хотя и без его доверенности на сей предмет).

Ведь о том, что вместо работы над новыми произведениями, писатели только переиздают старые, поют уже все куплетисты¹.

Мне не очень нравится спутник Мунблита, наделенный всеми

¹ А. Ильф и Петров спокойно печатают в «Крокодиле» № 14 за 1933 г. на 4—5 стр. и в № 13—14 за 1935 г. на 4 стр. один и тот же фельетон, лишь изменив старое название «Честное сердце болельщика» на новое «Милые люди». И даже забывают изменить цифру вместимости стадиона «Динамо». Он у них и в 1935 г. попрежнему вмещает 20.000 ч., а не 60.000 как в действительности.

добродетелями. Он читает газеты только в поезде. Как же он руководит заводом? Или он все время в командировках? Тогда каково же качество его директорства? Недаром тов. Орджоникидзе запрещал директорам заводов выезд в Москву без ведома и вызова наркома.

Директору, разговаривающему в статье Мунблита, некогда читать газеты, потому что он едет в поезде со станции 1-й Пятилетки и не замечает, что время в стране другое, чем в том купе, где он беседует с критиком. Я припоминаю этого директора. Он был славный парень. Он сделал большие дела. Он знал, что такое пафос стройки. Умел лезть в котлован и хвататься за лопату во время строительных «штурмов» и «авралов». Стране было некогда и директору тоже. Часто это призывное слово «некогда!» выворачивалось наизнанку и мы слышали «только бы сдать в срок...», «закончить хотя бы в основном...», «выстроить любой ценой...».

Это было далеко не то, что требовалось. Но ведь было, действительно, некогда! Некогда было даже бриться.

Как изменилось время! Травильщик в цинкографии, разглядывая поступившее к нему в работу фото старика Кучешева (опытного формовщика, справившегося с формой для чугунной отливки в 54 тонны), сказал:

— Этот человек не бреется... Он не может делать тонкие детали...

А тонкая деталь — «штука тонкая» — и многое решает. Ведь всего несколько лет назад мы дискутировали по вопросам культурной революции, и молодых людей в юнгштурмовках волновала мысль: «не является ли галстук изменой заветам Маркса—Энгельса—Ленина»? Тогда это было схоластикой чистейшей воды. Наличие или отсутствие галстука осознавалось, как личное, а не рабочее качество человека. Жизнь заставляла сомневаться в галстуке и одеколоне. Они не имели под собой базы. У нас тогда еще не было ни автотракторной промышленности, ни тяжелого машиностроения. Мне рассказывали, что сейчас на одном из ленинградских заводов зуборезное отделение, требующее исключительной точности в работе и тщательного ухода за станками, расположено в комнате с мягкими диванами, где за столом, нагруженным иностранными техническими журналами, занимается инженер в выходном костюме, а рабочие, обслуживая станки, обязаны ходить в белых рубашках.

И я знаю, что директор уже аккуратно читает газеты и выговаривает инженерам за небрежность в одежде, дающую плохой пример рабочим.

Нам попрежнему некогда. Но мы учимся «спешить не торопясь». И стахановцы перевыполняют планы и нормы, не в бессонные ночи «штурмов», а в 7 часов, отведенных в нашей стране для труда.

Давайте читать газеты ежедневно! Они дают все-таки больший

материал для ориентировки в нашей действительности, чем очень многие произведения художественной литературы.

Но вернемся к спутнику Мунблита.

Так как адреса, имени и отчества он не имеет и проезжает по 1936 году только несколько перегонов от абзаца к абзацу, то ему легко быть идеальным читателем. Он хочет видеть в героях литературы себя, но умнее и лучше. Это его основное требование. Спрос же книг в библиотеках и книжных магазинах показывает насколько требовательней реальный читатель, чем идеальный. Он работает токарем и хочет читать о войнах Наполеона, она крановщица и интересуется межпланетными путешествиями, они ученики ФЗУ и им занятно, как будут люди жить через 2000 лет. Нашему читателю все надо. Он переживает еще неутоленную жадность на культуру. И ее внезапно перед ним раскрывшееся многообразие так его захватило, что не редкость услышать такие реплики:

— Про завод? Надоело... Это мы сами знаем... Нам бы про чего-нибудь такое...

Я знаю девушку-инженера, неоднократно откладывавшую в сторону книгу Островского «Как закалялась сталь». Она предполагала, что это о металлургии и ей не хотелось читать.

И глупо здесь философствовать о неподготовленности читателя, о его низком культурном уровне, о непонимании им истинных задач литературы. Это ведь не просто тяга на экзотику. Это упрек не читателю, а писателю. Ведь не читатель виноват, что описания его труда не вызывают в нем и десятой доли того энтузиазма, который вызывает сам труд. Значит в этих отражениях он не находит ничего такого, чего не заметил бы сам, ради чего стоило бы предпринимать труд чтения книги. Речь идет о неподготовленности писателя к созданию верных и выразительных портретов своих читателей.

Изменилась география страны. Ее самые отдаленные пункты стали мировыми центрами промышленности. Поезжайте на Урал. В пяти километрах от Свердловска, на границе Азии расположен Уралмашзавод. От его передовых рабочих вы услышите имена Демага, Круппа, Шлемана. Это названия старейших, всемирно известных машиностроительных фирм Германии. На Уралмашзаводе решается вопрос, перекроем ли мы показатели этих фирм по количеству и качеству выпускаемых машин, по нормам выработки и использованию оборудования. 90 километров в сторону, сквозь строй строевых сосен закутанного в снег уральского леса, — и вы попадаете на асбестовые рудники. Здесь самые большие в мире запасы асбеста. Здесь говорят о Канаде. В Канаде асбеста меньше. Но ежегодная добыча его больше, чем у нас. И заброшенный в лес городишко живет одной мыслью, — обогнать капиталистическую Канаду!

Показать людям всемирное значение их труда, рассказать машиностроителям о том, как в Германии прислушиваются к уда-

рам молотков в сборочном отделении на Урале и как горняки тягнутся с Канадой. Какие это могут быть увлекательные книги, которые показали бы читателю новые, не всегда известные ему стороны его труда.

Директор из статьи Мунблита жалуется, что нет книг о профессии советских директоров. Эту жалобу могут поддержать сотни и тысячи профессий трудящихся нашей родины. И дело не в том, кого успели или кого не успели «отобразить» и кого «отобразили» лучше или хуже. Не это требуется. Дело в том, что еще не освоена как следует нашей литературой тема труда, переделывающего мир.

Эта тема уже почти столетие назад поставила с головы на ноги общественные науки. Энгельс в статье «Карл Маркс» писал:

«Такой очевидный факт, которого до сих пор, однако, совсем не замечали, тот факт, что людям прежде всего нужно есть, пить, иметь жилье, одеваться и что, следовательно, они должны трудиться, раньше чем они могут бороться за господство, заниматься политикой, религией, философией и т. д., — за этим очевидным фактом признаны были, наконец, его права в области истории». (Цитирую по «Избр. произвед.» К. Маркса, том I, стр. 7).

Это элементарно. И это все знают. А все же... Сколько бродит по страницам наших романов героев без определенных занятий, работающих неизвестно где и неизвестно когда выходящих на работу, раз'езжающих, не находясь ни в отпуску, ни в командировке, существующих, очевидно, на наследство каких-то дореволюционных тетушек.

Бальзак тщательно высчитывал обороты отца Евгении Грандэ. Джек Лондон аккуратно взвешивал золотой песок, найденный его золотоискателями. Расширение земельных участков Ван Луна вымеряно Пэрл Бак с явной любовью к теме.

Буржуазия на смену религиозным, династическим и родовым коллизиям принесла с собой в литературу коллизии имущественные. Труд для буржуазных писателей второстепенная тема. Им кажется, что в теме труда нет драматизма, что этим качеством обладает один чистоган. Разверните сборник рассказов Джек Лондона «Бывалый» и вы увидите, что даже у него ярче картины побед героя за рулеточным столом, чем описание труда в заполярье.

В нашей действительности — основа всех коллизий, конфликтов, драматических ситуаций, движущая пружина всех столкновений и их разрешений — труд. У нас люди не только «должны», но и «хотят» трудиться, зарабатывая этим трудом свое счастье, основанное на счастье всех.

В 1930 году на Северном Кавказе в станице Ново Малороссийской колхозники разбивались на бригады, выезжали в поле для проверки готовности к севу. Семена, лошади, инвентарь — все было учтено, все было в порядке. У выезда за околицу станицы их обстреляли спрятавшиеся в засаде кулаки. Был убит колхозник Бугаенко. Его именем назвали главную улицу станицы. В усло-

вия весеннего труда в поле, вошло как составной элемент, который необходимо учитывать, сопротивление классового врага. В следующем году кулачье снова стреляло из засады по уезжающим в поле. Враг знал цену колхозного труда, читая в его организованности свой смертный приговор.

Инструктор районного отдела народного образования на Восточном Памире об'езжал кружки ликбеза по району. Он ехал от одной стоянки кочевников-киргизов до другой. По дороге надо было перевалить мокрый снежный перевал Кой-Тызек. Горный ветер накидал сюда тонны снега. Лошадь делала шаг и проваливалась сквозь ломкий наст, застревая в снегу по самую шею. Инструктор разгребал снег и уминал его. Лошадь опять делала шаг и опять проваливалась. По этому снежному болоту они сделали за сутки 3 километра. Резкий многобальный ветер скатывался с гор. Когда инструктор на третьи сутки добрался до юрты одного из киргизов, он не мог ни есть, ни пить. Ему хотелось только спать. Лишь проспав почти двое суток, он поел плова и поскакал дальше. Потому что работа оставалась работой и ее надо было делать, несмотря на заснеженные перевалы.

На Урале стояла зима. Искалеченным скелетом чернел на заводском коридоре Уралмаша кузнечно-прессовый цех. Он недавно сгорел от искры короткого замыкания, произведенной вредительской рукой. И высоко на погнувшихся колоннах газорезчики-верхолазы разрезали автогеном покособившиеся металлические конструкции. Железо обжигало руки. Ветер разносил искры. Уральский мороз дышал в лицо. Родные верхолазов не знали ждать ли их домой. Вернутся ли? Не свалятся ли с неожиданно выпрямившейся после того, как ее разрезали на стиге, балки... И 3500°С рвались из горелки, врезаясь огнем в металл. Потому что цех должен быть восстановлен быстрее. Иногда люди падали сверху. Хоронили их тихо и незаметно. Вот, что иногда входит в понятие семичасового рабочего дня.

Я перелистываю эти случайные листки из своей записной книжки, потому что мне кажется, что где-то в этих направлениях лежат пути к овладению высокой темой труда. Я сознательно привожу факты, малоизвестные широкому читателю и гораздо менее впечатляющие, чем те, о которых ежедневно рассказывали страницы наших газет.

Я убежден, что спутник Мунблита, выйдя из купе критика, мог бы многое рассказать, и меньше резонерствовать. «Рассказы директора» — неплохое рабочее название для такой книги! Может быть, надо ее начать рассказом о единоличной ответственности за коллективную собственность...

Советский завод! — это на десятки миллионов рублей материальных ценностей, это многотысячный разношерстный коллектив людей. Как велика ответственность советского директора!

— Ты директор! Тебе доверяют завод, выстроенный на трудовую копейку рабочей страны. В этом гигантском карусельном

станке, стоящем 130 000 рублей золотом, в этом первоклассном прессе в 3 000 тонн, воплощены займы 1-й пятилетки. Под твоим началом 25000 человек. Ты единоначальник. Никто не смеет отменить или не выполнить твое распоряжение. Если ты не хочешь слушать советчиков, — решай сам! Тебя поддержат партийцы, комсомольцы, профсоюзники. Кто будет мешать, — уберем! Помни, ты персонально отвечаешь за каждый процент невыполнения плана и каждый день срыва сроков, за перерасход электроэнергии на 2 копейки с лампочки и свалку бракованных деталей, где похоронен миллион рублей. С тебя спросят о клопах в рабочем общежитии и о том, почему не ужился на заводе иностранный инженер... Власть твоя велика, но такова же и ответственность. Тебе уже кажется, что ты что-то сделал и можно отдохнуть, отметив двухлетний юбилей завода. Но уже лежит на столе телеграмма из Москвы: «Празднуют обычно пятилетие. Да и то — тогда, когда выполняют план». И ты знаешь, что голосом наркомата говорит вся страна.

— Если тебе действительно нужна помощь... Твои грузы пойдут с пассажирскими поездами. Запасные части могут доставить на аэропланах. Любой завод выполнит твой заказ в первую очередь.

— Если ты не обманул доверия государства, не козырял подтасованными цифрами вместо продукции, дал больше, лучше, скорее и дешевле остальных, — твое имя с уважением произносит вся страна и Серго на Совете Наркомтяжпрома аплодирует имениннику. И нет большей похвалы... И нет лучшей радости, чем радость победы...

Я увлекся, мечтая о ненаписанной книге, и забыл о литературе. В литературе всего этого нет. Писатели медленно расстаются с птоломеевой системой. Для них труд еще не стал центром мировоззрения.

Как часто трудовая обстановка берется писателем только, как экзотический фон для развертывания банальных коллизий. Бывает и так, что относительная экзотика загораживает писателя действительно драматическую линию темы труда. Бесспорна галантность Бориса Лапина. Но после его «Повести о стране Памир» я не верю этому весьма одаренному писателю. Он хочет сделать описываемые события еще более впечатляющими, чем они есть в действительности и пытается достичь этого нагромождением страхов. Читателя, не знающего Памира, он путает, а знающего смешит. Эта книга доставила нам на Восточном Памире много веселых минут. Мы говорили:

— Интересно бы побывать в местности, описываемой Лапиным...

У него каменный скалистый Гиндукуш сдвигается с известковыми малорослыми горами Восточного Памира. Его проводник-таджик Назар-Шо будто бы отказывается сопровождать его — так как запуган рассказами шугнанцев об условиях жизни на Во-

сточном Памире. Шугнанские таджики годами живут на Восточном Памире в работниках у кочевых киргизов и об этом знает весь Бадахшан и горца не запугаешь рассказами о плоскогорьи, где спокойно работают его соплеменники. По Лапину — дорога через Баругиль и Сархад от века считается непроходимой, а по ней «от века» ездят Синыцзяньские купцы в Индию.

Эти многочисленные, внешне мелкие, искажения истины вытекают из порочной установки книги на экзотику. Работая над темой Памира, надо было показать торговлю в высокогорной стране, нуждающейся в привозных товарах, и затруднительность этой торговли из-за отсутствия дорог. Страна, тоскующая о дороге, — вот поворот темы, который бы помог Лапину избежать искажений и поставить людей и вещи на место.

Тогда представители советской власти на Памире выглядели бы не беспочвенными культурниками, как это вышло у Лапина, а кооператорами и строителями дорог, как это есть на самом деле.

Два писателя приехали на большой завод писать его историю. Один сел за изучение заводской техники, и в его работе о технико-экономическом замысле завода можно встретить немало довольно глубоких обобщений, выведенных из серьезно изученных фактов. Другой решил начать с того, что он называл «художественным обобщением». Он написал рассказ, в котором некий ответственный работник летает на аэроплане над заводским городом и размышляет о том, как это все здорово получается. Автор уверял, что сверху противоречия нашей действительности выглядят выпуклее.

Замечания о Лапине и этих двух писателях даны к тому, что произведения о явлениях, в которых автор не понимает основной движущей причины, неизбежно ложны, а следовательно плохи. Этого понимания движущих сил не заменить даже самыми меткими наблюдениями отдельных кусочков действительности. Справедливо говорил Щедрин:

«Когда кусочков наберется много, то из них образуется не картина и даже не собрание полезных материалов, а простая куча хлама, в которой едва ли можно разобрать, что куда принадлежит».

Не умея выделять из действительности основные линии ее спектра, писатель из-за деревьев не видит леса. В результате кому же охота читать про это, когда в натуре осмысленнее и интереснее.

Маяковский уверял, что Чикаго в путеводителе описан верно и непохоже, у чикагского поэта Самбора и неверно и непохоже, а в поэме «150 миллионов» неверно, но похоже. По-моему только путеводитель и поэма Маяковского могут в таком случае помочь (по-разному, конечно), в понимании того что такое Чикаго. Причем из путеводителя больше узнаешь, а из поэмы Маяковского больше поймешь. Эти функции различны.

Спутник Мунблита выдвигает, как непосредственные темы для

романов, борьбу с уравниловкой, борьбу с обезличкой, «летунство», «как делается металл». Эти общие призывы неудачны тем, что они соблазняют на очень легкий и невпечатляющий дословный перевод с языка политики на язык искусства. В таком случае пишущий видит в действительности только то, что уже закреплено рационалистическим мышлением.

Некогда Эйзенштейн собирался непосредственно инсценировать на экране «Капитал» Маркса. Вряд ли эта рационалистическая задача разрешима средствами искусства. Маркс нужен Эйзенштейну не как автор сценария, а как идейное руководство. И поэтому этот большой художник ставит теперь «Бежин луг», — картину о героическом пионере Павлике Морозове. Вот в работе над такой картиной изучение классиков марксизма Эйзенштейну безусловно поможет.

«Правда» в статье Лежнева «В чем нуждается писатель» справедливо указывала, что художник — «орган образного мышления партии».

Там, где политическое мышление отмечает политические и социальные сдвиги, художник должен видеть (и) психологические. Затем и сказано: «Пишите правду!».

Маяковский советовал писать стихами только тогда, когда никаким другим способом высказать мысль нельзя. Этот совет относится ко всем областям искусства.

Борис Пильняк в первом номере «Нового мира» за прошлый год опубликовал свой рассказ «Рождение человека». Эта предельно неряшливая вещь, очевидно, написана по принципу «все говорят о советской семье, ну вот и я напишу о семье, и неудобно же мне стоять в стороне». Это рассказ-отписка. Самое забавное в нем, это героиня, которая ничего не читала, кроме «Комсомольской правды». Это с ней происходит в годы гражданской войны и первые годы нэпа, т. е. тогда, когда «Комсомольская правда» еще не выходила. Такие вещи делаются тоже просто. Строится рассуждение: «где состоит наша молодежь? В комсомоле. Что там делают? Читают «Комсомольскую правду». Так как запас знаний писателя о комсомоле этим ограничен, то берется перо и бумага и создается образ комсомольца.

Говоря о таком упрощенном подходе к явлениям действительности, невольно вспоминается роман Катаева «Время вперед!». Его ошибки свойственны многим литературным произведениям. И дело не только в том, что это «моментальная фотография», как определяет эту вещь спутник Мунблита. Моментальный снимок может показать явление, так сказать, «на лету» и запечатлеть его переход в следующую стадию развития, показать движение. Но (пользуясь удачным сравнением Эренбурга) Катаев снимал не «лейкой», а упрощенным ящичным аппаратом, подобным тем «пушкам», которыми на скверах столицы вас снимают стоящим около полотна с изображением вздымающегося моря, над которым летают дикие птицы.

Катаев, говоря о трудной и героической эпохе в урамажорном тоне, перехвалил неизбежный опыт и неизбежные издержки строительства и производства в первой пятилетке. Он не сумел увидеть в ней элементов, подготовляющих обязательный переход к методам второго пятилетия и требующих этого перехода.

Как часто мы сейчас расплачиваемся за ошибки строительства (особенно по линии качества) тех лет, когда у нас не было ни опыта, ни знаний, ни кадров!

Люди берут динамическую эпоху статически и думают, что сегодняшний день — предел если не для достижений, то во всяком случае для определения их направленности. А это не верно и все проходит. Не так как Азорские острова, а как семя, дающее ростки, как цветение, дающее плод. И если пишешь об опадении дерева — помни, что это начало новой жизни.

Путь, которым наша страна прошла от штурмовых ударных ночей до дисциплины труда в стахановском движении, крайне поучителен в этом отношении. Надо понять логику его противоречий, закономерность издержек и неизбежность побед.

Боязнь «отображательского» шаблона, тяга к более высокой тематике поворачивают писателя к «вечным темам» — любовь, смерть и т. п. А ведь есть не менее вечная тема, овладев которой, человек стал человеком, — труд! И воплощение этой темы в ее конкретных проявлениях и требуется. А писателю зачастую, в полном соответствии с библией, кажется, что труд это проклятие...

Успех «Людей СТЗ» должен был чему-то научить. Это была книга людей труда о своем труде. И страна, тогда еще только учащаяся трудиться, с жадностью набросилась на нее. Единственная попытка художественно обобщить материал этой книги, к сожалению, не увенчалась должным успехом. Ясной голове Ильина не хватало мастерства художника, и «Большой конвейер» вышел не более значительным, чем «Люди СТЗ».

Разве не характерен успех автобиографических книг («Я люблю», «Были горы Высокой» и т. п.)? Читателя тянет к ним наличие в них фактов, сходного с читательским опытом, и выводы, которые делаются, не навязываясь действительности, а вытекающая из нее. Но автобиографическая книга, если она первая книга автора, обычно опасна для последнего. Здесь пишут о самом знакомом и выкладывают материал, не жалея. На вторую книгу его уже не остается.

На большом уральском заводе, выстроенном в эти годы, сидит человек и пишет роман о взволнованных днях первой пятилетки. Чтобы написать этот роман, он сломал свою биографию и, бросив редакционный стол московского журналиста, ушел учиться резать металл автогенем. Стал мастером и уехал на новостройку. На это у него ушло почти пять лет. Он был ударником. Его бригада на аппарате газорезки «Секатор» перекрыла паспортные данные немецкой фирмы «Мессер». В его руках автоген резал

быстрее и более толстые слои металла, чем это полагалось по паспорту фирмы. И это не было насилием над механизмом. Они регулировали диаметр отверстия, выпускающего газ, и достигали чуждых результатов, экономя при этом горючее. Сейчас он уже снова за письменным столом и работает не над деталями металлических ферм, а над романом.

В романе вы прочтете, как умеют варить и резать металл немецкие мастера, какие чудеса творят в их руках газовые горелки и как вырастают наши чудосварщики из рязанских и уральских Ванек. Вы узнаете, как инструмент сварщика учит недавних кочевников обращаться с мылом. Это будет вещь о том, как с Северного Кавказа на Урал едут раскулаченные, как живут в гостиницах на новостройках и как надо притаскивать победу над уральским морозом, над нашим техническим неумением, над технической мощью капиталистического запада.

Это роман об автогенщиках, написанный автогенщиком. Доскональное знание материала помогло автору найти правильную точку зрения и верный подход к явлениям. И это не «отобразим-с газсварку-с и газорезку-с!» Это попытка художественного сказа о революционном техническом методе и его влиянии на психологию людей. (Рамки этого романа гораздо шире. Я беру лишь то, что нужно для моей темы). Можно спорить о методе изучения материала. Надо ли было становиться надолго сварщиком? Но это уже дело индивидуальности каждого писателя, его личных способностей, его честности по отношению к изучаемому материалу. Рецепт был бы наивен. А важно здесь другое. Не отображательский объективизм «стоящего в стороне», а стремление понять самому и помочь другим понять происходящее и тенденции его развития, научить чему-то читателя, набить морду врагу, поддержать в борьбе товарища.

Здесь встает вопрос о месте писателя. Мунблит, споря со своим спутником, уверяет, что писатель сейчас находится в отдалении от центра классовой действительности. Да, если ходить от дома писателя до Гослитиздата, то, действительно, увидишь немного. Особенности писательской работы таковы, что неизбежны частые отрывы от ежедневной жизни. Но разве Бальзак, Пушкин, Щедрина, Франсу, кому угодно из больших писателей, была так ведома жизнь во всем ее многообразии лишь потому, что они по своему социальному положению стояли в центре событий? Разве не вовлекали они в свою орбиту всю систему современных им общественных отношений? Дело не в том, чтобы быть в математическом центре. Надо быть в одном с жизнью направлении вращения, возвышаясь над его плоскостью настолько, чтобы видеть то, что для отдельных людей иногда загорожено. Надо видеть движение и его направление.

Партия, исключительно чуткая к специфике творчества художника, откинула как негодный метод руководства писателями путем директивных окриков. Большой исторический смысл реше-

ния от 23 апреля в том, что им, как и всеми предыдущими решениями партии, учитываются различные пути к пролетариату различных социальных прослоек и их выразителей. Указания партии в отношении содержания величавы своей простотой — пишите правду! В области формы, к писателю предъявлено требование «быть самим собой», искать свойственных своей творческой индивидуальности новых и лучших способов художественного выражения правды. Этим самым художнику даны большие права, большие задачи и большая свобода для их разрешения.

Но как часто у нас писатель не является «самим собой», а всего лишь, по рецепту троллей из ибсеновского «Пер Гюнта», «самим собой доволен». Это существенная разница. Особенно, когда доволен писатель малым, когда он видит в себе не субъект, а объект исторического процесса. Это вполне понятное выражение мироощущения мелкобуржуазных прослоек нашей страны. Но ведь уже уравниены в избирательных правах трудящиеся города и деревни. Это показывает, что социальные сдвиги происходят быстрее, чем это кажется многим писателям, обязанным быть выразителями этих сдвигов.

За последнее время произошли большие изменения в структуре рабочего класса СССР, он значительно пополнился за счет мелкой буржуазии города и деревни, за счет городского мещанства и т. п. Освоение этих слоев пролетариатом представляет серьезную задачу и ставит большие задачи воспитательного порядка перед литературой. В то же время из этих промежуточных социальных слоев, из их наиболее интеллигентной части, молодежь, определяющая себя профессионально в жизни, идет и в литературу. Здесь недостаточность общей культуры и жизненного опыта создает подражательность формальную и идейную.

И вот бежит такой молодой вприпрыжку, размахивая руками и истошно оря:

— Ах, я тоже с гнильцой и уклончиками, мне тоже надо нервы починить, подождите, я сейчас начну перестраиваться...

И получается из перестройки профессия. А куда ему перестраиваться, когда он еще не выстроен толком!..

И вот появляется в литературе мотив противопоставления «ничемных» людей литературного труда и «здоровых» иконописных строителей социализма. Этот мотив немыслим у такого писателя-борца, как скажем, Маяковский.

Нужны, ох, как нужны нам сегодня писатели-борцы. Успехи страны отнюдь не сводят литературу к воспеванию и восхвалению. Есть еще с чем подраться в нашей действительности.

Есть и воинствующий провинциализм, это рутинерство, бескультурье, отрывка шедринского города Глупова, неподвижность, отсутствие навыков настоящей столичной культуры. Отсюда идут антиобщественные и антигосударственные настроения от индивидуалистических до местнических. «Только бы мне было хорошо, а лучше ли от этого другим — наплевать». «Только бы

отметили наши «успехи», для этого можно и цифры подтасовать!» Все это питается остатками скудных идей умирающих классов.

Еще очень часто мы столкнемся с неумением ценить человека, с непониманием того, что все в нашей стране делается во имя живых людей...

А на что же писатель, этот воспитатель человеческой психики, организатор эмоций? Он-то за передовитость, за столичность, за единство воли страны, за высокую идейность, за гуманизм? Ведь когда Сталин говорит, что люди это самое главное, — это же путевка писателю, инженеру душ, по всей стране, о которой пора говорить не названиями местностей, а именами лучших людей и ездить не из Донбасса на автозавод, а от Стаханова к Бусыгину.

Говорят, есть юристы, изучающие такую проблему: — «а что сделает классовый враг, какие жульничества он придумает, при этом новом повороте нашей политики?».

Правильная партийная ориентировка обязательна не только для советского юриста. Писатель тоже должен уметь ответить на этот вопрос. Но видит ли он путь людей сквозь эпоху, их становление, их перемену? У нас ведь о людях пишут так: «Был темный-темный, — стал светлый-светлый». Но как с ним это просветление случилось и не затемнится ли он завтра опять, — неизвестно.

Есть точка А (начало) и точка В (конец пути), а что по дороге — секрет автора. Очевидно прямая, как кратчайшее расстояние между двумя точками. Но ведь здесь, пожалуй, скорее «сложная кривая ленинской прямой». В непонимании этого причина манеры непомерного восхваления настоящего и охаивания предыдущего этапа и слепоты на завтрашний.

Ведь корни стахановского движения идут откуда-то из первой пятилетки, когда страна, охваченная пафосом строительства, но еще не умеющая трудиться в высшем понимании этого слова, создавала гигантскую базу для второй пятилетки и иногда, набивая себе шишки на лбу, ударялась об еще неосвоенную технику, приобретала необходимейший опыт, без которого было бы невозможно движение вперед.

Спутник Мунблита говорит о преодолении «пастушеских навыков». Я бы предпочел более широкий и в то же время более точный термин «преодоление деревенщины» (политик Каганович на совещании в ЦК ВКП(б) по вопросам строительства дал более художественный образ, чем критик Мунблит). Это преодоление деревенщины еще далеко не закончено. Но уже многое выглядит иначе, чем в первую пятилетку.

Смотрите, как например, изменился тип летуна! Он и раньше не был «человеком без потребностей», как его определяет спутник Мунблита. (Человек, который ничего не хочет, вряд ли склонен к передвижениям). Это были люди с низким уровнем

потребностей, — но это уже другое дело. Это кулаки убегали от догонявших их справок об их социальном прошлом. Это двигалась поверившая кулаку и боявшаяся коллективизации часть середняков. На одной стройке они получали валенки, на другой полушубок и заботливо прятали их в свои сундуки. Они искали меньше труда, больше денег и пайков. А сегодня летун — это, как правило, квалифицированный рабочий, знающий, что со своим умением он найдет работу в любом месте Союза. Такой человек может уйти с завода не потому, что ему не дали квартиры, а потому, что дали плохую, потому что далеко ездить в театр, нет столовой, где бы можно было поесть в соответствии с его немалым заработком. Если вчера текучесть была тяжелым бедствием, с которым иногда приходилось бороться даже административными мерами, то сегодня текучесть и летунство с завода — зачастую обвинение хозяйственникам, не сумевшим создать должных условий для закрепления рабочих. Интересна в этом отношении роль семьи. На Уралмаше был такой случай. Мастер модельщик уже собрался уехать на другой завод, но его семья (жена и трое детей-школьников) запротестовала. Жена не хотела бросать только что обжитую квартиру, а дети заявили, что им надоело переходить из школы в школу и что они хотят учиться в одном месте, в новой, недавно построенной школе. Мастеру пришлось остаться.

Немного иначе стоит вопрос и о взаимоотношении старых и молодых рабочих, чем это рисуется спутнику Мунблита. Этот вопрос в приведенных им примерах решается механистически (в одном случае — почет старикам, в другом — их поголовное увольнение). Все мы помним, как ожесточенно сопротивлялись многие из этих стариков проведению механизации в шахтах Донбасса и на заводах Урала. Привычка к кустарщине характеризовала изрядную часть старых кадров рабочего класса России. Но сейчас кустарщина в значительной степени сбита со своих позиций и встает вопрос об использовании положительной части опыта стариков. Надо учесть, что рабочий класс у нас сейчас очень молод по возрастному составу и если его можно научить по книжке теории резания, то чувство металла, знание его многочисленных капризов из книжки не вычитаешь. Опытный иностранный рабочий, зная нужные размеры, может уже не заглядывать в чертеж. Он понимает назначение обрабатываемой детали. Наш молодой рабочий, не выпуская чертежа из рук, за отсутствием опыта все же часто путается. Он еще не знает ряда случаев, встречающихся в практике и не зафиксированных теорией.

Недаром Сергей Миронович Киров при изучении вопроса о движении рыбы считал нужным советоваться не только с учеными, но и со старыми рыбаками. И когда у бурильщиков на асбестовых рудниках буры тупятся и ломаются за полсмены, — радостно, что приходит старик кузнец Еремин и по долгу стахановца

на страницах рудничной газеты раскрывает другим кузнецам секрет закалки буров, ведомый ему 25 лет и никому раньше не рассказанный из-за боязни, что его тогда уволят за ненужностью. Его буры стоят по 5 смен без заточки.

— Все это может быть правильно, — говорит писатель, — но ведь надо же все это осознать. Литература не может бежать быстрее жизни. Известное отставание закононо.

Я вспоминаю Маяковского. Да. —

«Для делания поэтической вещи необходима перемена места или времени.

Точно так, например, в живописи, зарисовывая какой-нибудь предмет, — вы должны отойти на расстояние, равное тройной величине предмета. Не выполнив этого, вы просто не будете видеть изображаемой вещи.

Чем вещь или событие больше, тем и расстояние, на которое надо отойти, будет больше. Слабосильные топчутся на месте и ждут пока событие пройдет, чтобы его отразить; мощные забегают настолько же вперед, чтобы тащить понятое время».

Это и значит писать правду, чувствуя и понимая ее, находя ей сильное выражение. Это не имеет ничего общего с припадками бюрократического восторга, кое с кем случавшегося во времена былые. Тогда например Либединский в статье «Темы, которые ждут своих авторов» предлагал писателям написать повесть

«в которой драматически преодолевается какой-либо классовой организацией (партией, союзом, советом) какой-либо экономический кризис, характерный для той или иной эпохи революции».

Либединский советовал показать

«разрешение драмы в семье рабочего, как следствие организации общественной столовой».

Такие книги, к счастью, для нашей литературы не написаны. Ошибочность отдельных положений статьи Мунблита (особенно там, где речь идет о новых темах), в том, что, идя по этому пути, можно сбиться на такую же канцелярщину, отпугивающую писателя.

В противовес этой сухости Маяковский требовал предельной страстности:

Книга
та, по моему,
которая
худощава с лица,
но вложены
в страницы-обоймы
строки
пороха и свинца.

Эта страстность поможет осознанию всего происходящего в стране. Время у нас боевое и беспокойное. «Можно не писать о войне, но надо писать войною», — говорил некогда Маяковский. Каждый успех нашего мирного труда делает нас в этой войне крепче. Наши герои — это герои оборонноспособной страны социализма.

Я вспоминаю Куликова, веселого чекиста-пограничника, убитого на высотах Памира наймитами шпионов одной великой державы, имеющей интересы по соседству с нашей границей.

В мое сердце стучит пепел кузнечно-прессового цеха Уралмаша, сожженного бандой изменников родины, продавшихся агенту иностранной фирмы.

Я раскрываю «Тия Уленшпигеля» и с восторгом перечитываю воинственные строки: «Бей в барабаны! Да здравствует гез!»

Я думаю — хорошая книга, но ведь идеи наших героев выше, ведь их героизм больше и книги у нас будут лучше! Где же как не у нас быть литературе высокой темы и большого стиля?

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

А. МАКЕДОНОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

1. „ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК“

МАРКС сравнивал Добролюбова с Лессингом и Дидро, Энгельс отзывался о нем и о Чернышевском как о «двух социалистических Лессингах» и говорил (в другом месте) об «исторической и критической школе в русской литературе, которая стоит бесконечно выше всего того, что создано в Германии и Франции официальной исторической наукой». Ленин рассматривал Добролюбова как ближайшего соратника Чернышевского, одного из великих предшественников марксизма в России, и включал Добролюбова в число величайших русских писателей, в особенности подчеркивал непримиримую революционность Добролюбова, его демократизм как идеолога крестьянской революции. «Мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского», «последовательные демократы Добролюбов и Чернышевский» — таковы выражения Ленина.

Известно огромное влияние Добролюбова на современников. Этот юноша, умерший в возрасте двадцати пяти лет, сыграл поистине огромную роль в истории общественного сознания в России.

Все это делает столетнюю годовщину со дня рождения Добролюбова крупным литературно-политическим событием. Мы еще мало разобрались в его наследстве. Еще не подвергнуты серьезной критике многие неверные высказывания Плеханова о Добролюбове. В особенности мало исследована литературная теория Добролюбова. А ведь Добролюбов был один из крупнейших теоретиков революционно-демократического реализма, который является непосредственным предшественником социалистического реализма.

По своим общим взглядам Добролюбов был великим революционным просветителем, материалистом-фейербахианцем. Это было показано еще Плехановым. Однако просветительство Добролюбова должно быть понято на основе ленинских, а не плехановских оценок сущности просветительства. Плеханов рассматривает Добролюбова абстрактно и догматически, изолируя его от кре-

стьянской революции России и поэтому не может понять отличий Добролюбова от буржуазных просветителей XVIII века. Добролюбов был социалистическим Лессингом. Он был крестьянским революционером в России 50—60 гг. Это определило своеобразие его просветительства.

Великие русские просветители этой эпохи пошли далеко вперед по сравнению с буржуазными просветителями XVIII века, ибо они имели уже за собой опыт трех буржуазных революций и гегелевской диалектики. Они видели уже не только противоречия феодализма, но и противоречия капитализма, они искали революционного разрешения этих противоречий на основе действительных, исторически передовых интересов народных масс, т. е. крестьянства и городской демократии, плебса. Добролюбов и Чернышевский, отражая подъем крестьянского движения в конце 50-х годов, пошли дальше Белинского, увидели революционную роль крестьянства, как движущей силы русской революции, и попытались поднять массы на эту революцию. Поэтому они завершили ту размежевку с либерализмом, которую начал еще Белинский, и дали гениальную критику либеральных иллюзий, трусости и предательства. Они последовательнее чем Белинский пытались пересмотреть и разработать все основные отрасли человеческого знания с позиций цельного философского — хотя в целом еще и не диалектического — материализма. Они теоретически обосновали и начали практически осуществлять задачу создания революционной партии, ведущей народные массы на вооруженную борьбу с крепостничеством и самодержавием. Уже письма Добролюбова бывшим товарищам по педагогическому институту являются в сущности не чем иным, как попыткой сколотить ядро революционной партии (например, письмо Сциборскому, осень 1859 года, письмо Шемановскому, 24 мая 1859 г.). Боевой дух революции, живое ощущение реальных запросов масс выводили их далеко за рамки чистого просветительства и часто подымали их выше их собственных теоретических позиций. Добролюбов и Чернышевский — вершины «историко-критической» школы, ближайшие предшественники марксизма в России.

Добролюбов вплотную подходил к историческому материализму, хотя и не дошел до него благодаря отсталости тогдашней русской жизни.

Так например, в замечательной статье о книге профессора Бабста: «От Москвы до Лейпцига», Добролюбов дает очень глубокую характеристику исторического развития Западной Европы. Он указывает, что в основе этого развития лежала борьба «городов», «мещанства» (то есть буржуазии) с феодалами. Буржуазия, испугавшись, что решительная расправа с феодализмом развяжет руки народным массам, пошла на компромисс с феодализмом, не завершила дело буржуазной революции до конца. Народные массы, «рабочие классы» Европы страдают сейчас и от пережит-

ков феодальной эксплуатации и от новой буржуазной эксплуатации. Добролюбов вскрывает относительность прогресса в буржуазном обществе, говорит, что от исторического прогресса пока выигрывала только одна часть населения за счет другой. В то же время Добролюбов не впадает в сентиментальную критику капитализма, характерную, например, для народников, не разделяет славянофильской теории «гниения Запада». Наоборот, он желает, чтобы «Россия достигла хоть того, что теперь есть хорошего в Западной Европе». Он говорит, что Россия должна пройти путь Западной Европы решительней и быстрее, понимая под этим необходимость проделать революционную чистку феодализма. Дальнейшая же перспектива развития Европы есть прежде всего, — как весьма прозрачно намекает Добролюбов, — перспектива борьбы «рабочих классов» против буржуазии.

Энгельс не случайно употребил термин «социалистический Лессинг». Добролюбов, как показывает, например, его статья о Роберте Оуэне, несомненно сочувственно относился к утопическому социализму, хотя, как и Чернышевский, считал устаревшими и мечтательными существующие его формы. Ленин же называл Чернышевского, как известно, утопическим социалистом. В отличие от социализма народников и Герцена, социализм Чернышевского и Добролюбова не был просто прекрасноречивой фразой, мечтанием. Ленин нигде не говорит о социализме Чернышевского в таком тоне, как о социализме народников или Герцена. В то же время, несомненно, Чернышевский и Добролюбов были крестьянскими, то есть, объективно, буржуазно-демократическими революционерами. Тут налицо — противоречие. Оно объясняется тем, что Чернышевский и Добролюбов благодаря специфическим условиям России и Европы 50—60 гг. выразили те наиболее прогрессивные стороны крестьянской революции, в которых она смыкалась с чаяниями молодого русского пролетариата и предпролетариата, не выступившего еще тогда, как политически самостоятельная революционная сила, но отразившегося в исканиях Чернышевского и Добролюбова. Тут был своеобразный блок городского плебса и революционного крестьянства, выраженный в стремлениях лучшей части революционных разночинцев. И с точки зрения общеоисторической и с точки зрения историко-литературной проблема эта почти не изучена. В этой связи могут быть, например, глубже разработаны взаимоотношения Герцена и Чернышевского — Добролюбова и Чернышевского — Добролюбова и народников.

Герцен говорил, что он считает социализм Чернышевского «чисто западным», выросшим в среде «пролетариата и интеллигенции», а себя, Герцена, собственно «русским» социалистом, идущим от земли и крестьянского быта». Это неверно, конечно, ибо Чернышевский был как раз более, а Герцен менее последовательным крестьянским революционным демократом. Но замечание Герцена тем не менее весьма любопытно. Не объясняется ли исключитель-

ная революционная непримиримость и последовательность Добролюбова и Чернышевского и такое приближение их к марксизму именно связью крестьянской революционности и революционности молодого русского пролетариата? В художественной практике и самого Чернышевского и даже Некрасова, который не был утопическим социалистом и не был таким последовательным революционером, но который был тесно связан с городским «плебсом» — эта связь налицо. Расхождения Чернышевского с Герценом по линии оценки буржуазии, состояния Европы, состояния и значения русской общины, — не исходят ли также отсюда?

Слабость же теоретиков этого блока заключалась в том, что с их точки зрения ведущую роль в нем играло крестьянство, в том, что они не понимали исторической роли пролетариата. Так, для Добролюбова «поселяне» и промышленные рабочие составляют одни и те же «рабочие классы».

В оценке русской действительности Добролюбов вовсе не «отвлекается», — как пишет о нем Плеханов, — от конкретных вопросов общественного развития России. Наоборот, именно Плеханов «отвлекает» Добролюбова и сам отвлекается от основного вопроса: вопроса о крестьянской революции. Крепостничество, вот главный факт русской жизни в представлении Добролюбова. И в публицистических и в критических статьях неустанно бичует Добролюбов крепостной строй, неустанно разоблачает классовые противоречия русской действительности, противоречия между «дармоедами», которыми являются и помещики и капиталисты, и «людьми трудящимися», «простонародьем».

«Произвол», «насилие господствующих классов, во главе с самодержавием, над массами и порожденные этим насилием забитость, рабский дух — другой основной факт русской жизни, с которым Добролюбов ведет непримиримую борьбу. Слабость же Добролюбова здесь опять-таки состоит в неумении выделить роль пролетариата, и само деление на дармоедов и трудящихся поэтому недостаточно определено».

В общей трактовке исторического процесса Добролюбов тоже нащупывал подступы к историческому материализму. Добролюбов более диалектически подходит к пониманию роли «образованности», чем даже Белинский. Добролюбов систематически подчеркивает, что

«самые успехи цивилизации нередко обращаются у нас в средство более искусной эксплуатации народа» и что «с развитием просвещения в эксплуатирующихся классах, меняется только форма эксплуатации и делается более ловкою и утонченною».

Революционное просвещение народа — вот лозунг Добролюбова. И он понимает, что

«без участия особенных, необыкновенных обстоятельств (то-есть, революции А. М.), нечего и ждать безоговорочного распространения образования и здоровых тенденций в массе народа».

Основным средством просвещения является революция и само просвещение должно служить подготовке революции,— вот соль и сила просветительства Добролюбова.

«Где и когда существенное улучшение быта народного делалось просто вследствие убеждения умных людей»

— спрашивает Добролюбов, высмеивая либеральные надежды Бабста. Добролюбов неустанно воюет против либерального просветительства. Нужны не «умные люди», которые критически подходили бы к действительности, не «герои» «разлада с действительностью», которые «возвышали» бы нас над ней, а революционеры, которые бы

«подняли — или нас научили поднять — самую действительность до уровня тех разумных требований, какие мы уже сознали, словом, нужны люди дела, а не отвлеченных, всегда немного эпикурийских рассуждений».

Чрезвычайно интересны рассуждения Добролюбова о роли личности в истории, о роли великих людей.

«Только тогда человек может заставить людей сделать что-нибудь, когда он является как бы воплощением общей мысли, олицетворением той потребности, которая выработалась предыдущими событиями».

Отсюда, как увидим ниже, выросли теория нового героя и теория «народного поэта» у Добролюбова.

Значит Добролюбов уже преодолел слабости фейербахианского материализма и поднялся до марксизма? Конечно, нет. Добролюбов был крестьянским революционером. Его положительный идеал был отчасти иллюзорным, отчасти утопическим, отчасти просто недостаточно определенным. Путь революций был ясен для Добролюбова главным образом с отрицательной стороны, с точки зрения того, что надо разрушить, но не с точки зрения того, что и как надо построить. Поэтому и само это революционное отрицание имело в себе крупные слабости.

Ход событий выдвигает новые потребности, а сознание новых потребностей приводит к фактическому изменению — такова схема истории по Добролюбову. Конкретней — это борьба между «дармоедами» и «людьми трудящимися». Но что же движет ходом событий и выдвигает новые потребности? Как произошло разделение на дармоедов и людей трудящихся и благодаря чему возможно господство дармоедов? Добролюбов отвечает на последний вопрос так:

«Это происходит именно от того, что количество знаний, распространяемых в массах, еще слишком ничтожно, чтобы сообщить им правильное понятие о сравнительном достоинстве предметов и о разных отношениях между ними».

Но тот же Добролюбов подчеркивал, что только после революции широкие массы могут приобрести правильные понятия. Получается противоречие: для того, чтобы поднять массы против дармоедов, надо просветить их, а чтобы просветить их, надо сбросить господство дармоедов.

Выход из этого противоречия Добролюбов искал в теории «естественных стремлений естественного человека». «Природа», «натура» человека, его естественные стремления, — вот что для него является материальной основой исторического хода событий. Если массы и не сознают вполне «несправедливости» и «неестественности» существующего порядка вещей, то их естественные стремления рано или поздно прорываются наружу:

«Человек родился, значит, должен жить, значит имеет право на существование; это естественное право должно иметь и естественные условия для своего поддержания, то-есть средства жизни».

Если общественные условия не дают человеку таких средств, то ясно, что человек должен уничтожить эти условия, эти обстоятельства, противоречащие свободному развитию его естественных стремлений. То, что «справедливо по отношению к отдельной личности, то справедливо и по отношению к народу в целом. Личность для Добролюбова — «атом» общества. Все люди имеют равное право на жизнь, на развитие своей личности. Поэтому

«деспотизм и рабство, противные природе человека, никогда не могли достигнуть нормальности, никогда не могли покорить себе вполне и ум, и совесть человека».

«Отсюда постоянное напряженное, беспокойное, недовольное положение масс, даже безропотно повидающему подчинившихся наложенному на них закону рабства».

Так учение о естественном человеке дает основу вере Добролюбова в народную революцию даже тогда, когда народные массы темны и рабски покорны. В статье «Непостижимая странность» Добролюбов показывает на примере неаполитанской революции, что даже самый забитый и отсталый народ может благодаря силе «естественных стремлений» неожиданно подняться на революцию. Добролюбов сравнивает в другом месте это стремление естественного человека к свободе с пружиной, которая тем сильнее распрямится, чем сильнее вы на нее жмете.

Так Добролюбов разрешил для себя вопрос о том, как необразованные классы могут стать движущей силой исторического прогресса.

Но почему же все-таки, именно трудящиеся люди являются «нормальными», естественными и чем определяется конкретное содержание естественных стремлений?

В статье об Оуэне Добролюбов сочувственно излагает мысли Оуэна о естественном человеке, противопоставляя их и «мрачным теориям средневековых фанатиков» (человек сам по себе зол и необходимо очищение его страданием и религией) и «розовому воззрению Руссо» (человек сам по себе хорош).

«Человек по натуре своей ни зол, ни добр, а делается тем или другим под влиянием обстоятельств».

Отсюда только один шаг к тому, чтобы определить закон развития самих этих обстоятельств и человека, как их носителя. Но крестьянский революционер и фейербахианец не мог сделать этого шага (которого не сделал и Оуэн). Он отступает, по сути дела, к тому же воззрению Руссо и пытается определить сущность человека вообще, независимо от обстоятельств. Однако, в отличие от Руссо он подчеркивает роль разума, как начала, развивающего естественного человека. Добролюбов чужд всяких стремлений к патриархальности.

«Сущность природы собственно человека определить вкратце довольно мудрено, но что во всяком случае не подлежит сомнению, так это ее способность к развитию. Для того, чтобы иметь возможность развиваться, она требует избежания всяких столкновений и помех».

Отсюда можно логически вывести «с одной стороны, естественное требование человека, чтобы его никто не стеснял», с другой «столь же естественное сознание, что ему не нужно посягать на права других». Теория разумного эгоизма примиряет оба эти требования, объединяет их как одно главное естественное стремление — «чтобы всем было хорошо», стремление столь же естественное, как стремление пить, есть, любить женщину и т. д. Вся история состоит в поисках человечеством удовлетворения этого естественного стремления.

Добролюбов пытается материалистически объяснить историю, но не может сделать это, ибо не может понять самого «естественного человека», как совокупность общественных отношений, как общественное производство. Подменяя конкретно-исторического человека абстракцией биологической сущности человека, Добролюбов изменяет точку зрения развития. Развивается не сам естественный человек, а только исторические обстоятельства. Развитие вне его. Развитие самого естественного человека есть только осознание им его собственной сущности.

Столкновение этой сущности и этого сознания с историческим обстоятельством является практической, предметной, материальной борьбой. Со стороны разрушения, отрицания Добролюбов понимает исторический процесс более материалистически и конкретно. Но когда он говорит о положительном ходе истории, прогрессивном ходе развития, он говорит только о развитии сознания:

«Весь ход истории представляет постепенное уяснение прав личности и освобождения людей от ложных авторитетов, создаваемых суеверием и невежеством».

Это типично просветительская формулировка. Материализм Добролюбова превращается здесь в исторический идеализм. Развитие же есть лишь «очищение» готовой, от века данной физиологической сущности человека вообще и таким образом, новое вносится собственно лишь этим процессом критики, от-

рицания, которое совершается внутренним развитием разума. Таким образом, материализм Добролюбова содержит в себе элементы диалектики, но в целом диалектическим еще не является. Это противоречие, отделяющее Добролюбова от материалистической диалектики, определяет собой и все противоречия его эстетики. Это противоречие отражает собой противоречие самой крестьянской революции. Борясь субъективно за новое социалистическое подлинно-человеческое общество, объективно Добролюбов отражал прежде всего волю крестьянских масс и городского плебса к американскому пути буржуазного развития. Субъективный положительный идеал Добролюбова остается утопической мечтой, несмотря на все гениальные попытки найти его объективную материальную основу. И поэтому-то «естественный человек» сбивается немножко на абстрактного человека буржуазной демократии и «натурального» человека царства крестьянской ограниченности. Как «собственно человек» создает новые, положительно определенные, достойные его обстоятельства, как возникают античеловеческие обстоятельства и как из самих этих античеловеческих обстоятельств диалектически возникают обстоятельства «человеческие», все эти вопросы теория крестьянской революции разрешить не могла.

2. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ РЕАЛИЗМ

Литературной программой крестьянской революции в России был революционно-демократический реализм. Основоположником теории революционно-демократического реализма был Белинский, а Добролюбов его гениальным продолжателем.

В основе эстетики Добролюбова и Чернышевского лежит фейербахианская теория естественного человека. Если основная черта современного общества есть противоречие между «естественными стремлениями» человека и античеловеческими «обстоятельствами», «ненормальными» общественными условиями, то отсюда вытекают следующие основные задачи литературы. Во-первых, беспощадная критика, правдивый показ существующих обстоятельств в их античеловечности. Во-вторых, вскрытие подлинной красоты естественного человека, его возможностей и непримиримого противоречия их с существующим общественным строем. И в-третьих, помощь художественного слова уничтожению этих обстоятельств, освобождению естественного человека, осознанию им самого себя. Очевидно, что такая литература должна быть реалистической, ибо естественный человек и общественные обстоятельства для Добролюбова — материальные объективно-существующие факты. Очевидно, далее, что это реализм последовательно-критический, реализм революционного отрицания, ибо он по-

казывает античеловечность не отдельных обстоятельств, а общественных условий в целом. Очевидно, далее, что этот реализм не только должен показывать существующее, но и стремиться к изменению его. Само правдивое отражение действительности, как она есть, должно быть революционно-действенным, активным. Должно иметь революционную тенденцию как объективно-обоснованную мечту о будущем человеческом обществе. Но очевидно также наконец, что эта проблема активности реализма может быть только поставлена, но не разрешена до конца с позиций Добролюбова. Ибо эта революционная тенденция опирается не столько на объективную закономерность развития самих обстоятельств в их единстве с «человеком», сколько на абстракцию «естественных стремлений», на неподвижную сущность человека вообще, которая уже дана и которую нужно только осознать и «очистить». Если же переход к будущему состоит прежде всего в процессе осознания, то и революционная тенденция является только логически-конкретной и только с критической стороны материально-конкретной тенденцией, а потому и не может быть вполне выражена в художественных образах. И тут трагедия революционно-демократического реализма.

Теорию нового реализма Добролюбов разрабатывает не абстрактно, а в процессе конкретной литературной борьбы. Он дальше Белинского идет в критике литературы господствующих классов. Он углубляет учение Белинского о народности литературы. Добролюбов отвергает дворянскую литературу, как антинародную. Величайшей заслугой Пушкина Добролюбов считает то, что Пушкин выработал «форму народности» в литературе. Такой формой является реализм. Но содержание народности недоступно Пушкину и всему буржуазно-дворянскому реализму. Только в фольклоре Добролюбов видит начало подлинной народности. Но фольклору не хватает революционного сознания развитой личности. Зародыши народности имеются в творчестве Гоголя, Лермонтова, Кольцова. Но и они выразили только отдельные стороны народности. В целом же русская литература еще далека от народа, «ограничивается чрезвычайно узким кругом тонких чувств, возвышенных стремлений и эфирных страданий». Для того, чтобы стать подлинно-народной, литературе не хватает последовательности реалистического изображения действительности, а эта последовательность может быть дана только выходом литературы из узкого круга «искусственных тенденций» господствующих классов, которые мешали художникам этих классов отразить всю правду жизни. Добролюбов выдвигает идею народного поэта, выражающего «народное самосознание». Такими поэтами были для Добролюбова и Чернышевского Беранже, Гейне, а в России — Шевченко и Некрасов. Народный поэт должен соединить лучшие черты фольклора с лучшими чертами творчества Гоголя, Лермонтова,

Кольцова и фольклора. Народный поэт — это реалист нового типа, революционный реалист.

Дворянский реализм, по мнению Добролюбова, ограничивается изображением «прекрасных сторон» действительности.

«Пушкин был слишком мало серьезен или, говоря словами эстетиков, слишком гармоничен в своей натуре для того, чтобы заниматься какими-нибудь аномалиями жизни».

Величайшая заслуга Гоголя в том, что он смело стал вскрывать эти «аномалии».

«Но все еще мы далеко не дошли до того, чтобы в поэзии допустить всякий предмет, всякое жизненное чувство».

И для большинства «неидеализированных проявлений натуры» литература отводит только область сатиры. Между тем, нужно показать без идеализации, без «облимонивания» поэзию самой народной жизни, ибо именно в ней — правда естественных стремлений человека. Нужно показать и всю античеловечность жизни господствующих классов и того общественного порядка, который ими порожден. Народность литературы требует расширения области реализма и в сторону отрицания и с положительной стороны, требует включения в литературу всей действительности.

«Допустить всякий предмет в поэзию», отнюдь не означает оправдать натурализм в поэзии. Добролюбов подчеркивает, что литература это не фотография. Художник перерабатывает впечатление действительности, вскрывает их внутренний смысл, вскрывает сущность явлений, как противоречия между «естественным человеком» и «обстоятельствами». Художник вскрывает внутреннюю красоту действительности, вскрывая само это противоречие.

Красота искусства — только отражение красоты действительности. Красота действительности превосходит красоту искусства, — говорил Чернышевский в противовес идеалистам, которые ставили красоту искусства выше действительности и этим, с точки зрения Добролюбова и Чернышевского, уводили людей от действительности в мир оторванных от жизни «возвышенных стремлений». Что же такое красота действительности? Это «нормальная жизнь», то есть свободное развитие естественных стремлений естественного человека. Художественность литературы и определяется прежде всего тем, насколько она полно и глубоко отражает естественные стремления человека. Но если прекрасное есть нормальная жизнь, то ведь не всякая жизнь «нормальна». Как же художник может изображать аномалии, уродства искусственной ненормальной общественной жизни? Добролюбов вслед за Белинским дает глубокое разрешение этого вопроса.

«Весь строй нашей жизни сложился так, что даже человек, который рад бы душою взяться за простые мотивы нормальной жизни, не осмеливается

решиться на это, из боязни профанировать искусство. На первый раз у всякого из представления обыденных образов выходит памфлет, или просто ругательство; нужно выработать в душе твердое убеждение в необходимости и возможности полного исхода из настоящего порядка этой жизни для того, чтобы получить силу изображать ее поэтическим образом, хотя бы и тоном сатиры. Тогда только обычно неприятные картины грязной нищеты и соединенных с нею обманов, пошлостей, неужества и даже преступлений — предстанут нам в своем настоящем свете, когда мы добьемся мыслию или инстинктом до истинных причин их, не в одной натуре того или другого лица, а в целом строе, окружающей его жизни. Тогда только сумеем мы отделить нормальное, человеческое, законное в этих явлениях — от всего насильного, искусственного, случайно им навязанного, и только тогда с светлой мыслью и с горячим чувством можем мы приступить к поэтическому воспроизведению этих явлений».

Красота, таким образом, дается путем революционного отрицания «ненормальности», «аномалий», искажающих ее, дается как бы негативным путем. Значит, чем полнее и глубже художник покажет уродство общественной жизни, тем вернее он покажет и естественную красоту человека. Эта точка зрения прямо противостоит точке зрения идеалистической эстетики. В рецензии на сборник «Утро» Добролюбов издевается над теорией Алмазова, что художник должен показывать только «обще-человеческое», только то, что «постоянно», «неизменно», отвлекаясь от преходящих исторических явлений, которые по самой сути своей противостоят вечному идеалу красоты. Неизменное, говорит Добролюбов, это неподвижное и, следовательно, мертвое. Тема же литературы — это живое движение, борьба, конкретное общественное развитие. В конечном счете, идеал красоты тоже гармония, но это не гармония ухода от конкретных общественных противоречий в «общечеловеческое», а та подлинная реальная гармония, которая будет достигнута людьми, когда они уничтожат дармоедов и осуществят свои естественные стремления. И Добролюбов выступает против внеисторического идеала красоты, за историческую конкретность самого идеала красоты.

Но с другой стороны, необходимо показать, что безобразие действительности не является чем-то неустранимым, что прекрасная действительность возможна.

Однако, эту возможность прекрасной действительности Добролюбов видит не столько в конкретном историческом развитии, сколько в той же внеисторической сущности человека и тем самым изменяет своей же исторической точке зрения на красоту.

Как разворачивается это противоречие?

Добролюбов требует от художника своеобразного гуманизма. Так, он критикует изображение Достоевским характера князя Валковского (в «Униженных и оскорбленных») за то, что

«всматриваясь в изображение этого характера, вы найдете с любовью, обрисованное сплошное безобразие, собрание, злодейских и цинических черт, но вы не найдете тут человеческого лица... Того примиряющего, разрешающего начала, которое так могуче действует в искусстве, ставя

перед вами полного человека и заставляя проглядывать его человеческую природу сквозь все напыленные мерзости, — этого начала нет никаких следов в изображении личности князя. От того-то вы не можете ни почувствовать сожаления к этой личности, ни возненавидеть ее той высшей ненавистью, которая направляется уже не против личности собственно, но против типа, против известного разряда явлений».

Высшая ненависть дает в то же время и примирение, ибо не останавливается на гнусности существующего, а дает перспективу подлинно прекрасной действительности, к «полному исходу» из существующего строя. Таким образом революционная тенденция художника в смысле революционного гуманизма составляет эстетическую силу художника. Это дает чрезвычайно глубокую основу революционного реализма.

Всякий реализм есть показ правды жизни. Правда, говорит Добролюбов, есть необходимое условие всякого искусства. Но это еще не все.

Подлинное достоинство искусства состоит в правдивом отражении естественных стремлений, ведущих человека к будущему, к правде будущего.

«Дело поэзии жизнь, живая деятельность, вечная борьба ее и вечное стремление к достижению гармонии между собой и с природой».

Отсюда — тенденциозность искусства. Литература — сила «служебная, которой значение состоит в пропаганде, а достоинство определяется тем, что и как она пропагандирует».

Но эта замечательная эстетическая мотивировка революционной тенденции, как отражения «исхода» в самой действительности в будущую прекрасную действительность имеет в себе и обратную, противоречащую ей самую сторону, которая вытекает из слабости учения Добролюбова о естественном человеке.

Ибо если естественный человек, как прекрасный человек, уже дан, если натура человека вообще сама по себе прекрасна, то революционный гуманизм может как раз заключаться лишь в простом противопоставлении античеловечности общественных условий тому самому абстрактному общечеловеческому идеалу красоты, который высмеивает сам Добролюбов. Художнику в таком случае нет необходимости сознательно защищать, проводить революционную тенденцию, как стражение практической, исторической тенденции действительности. Художнику нужно только отдаться собственным естественным влечениям, собственной натуре, освободившись по возможности от «искусственных» тенденций, мешающих этим влечениям. Этому благоприятствует сама природа искусства, которая позволяет обойтись и без революционной тенденции. В отвлеченном мышлении человек может легко ошибиться, ибо здесь он отвлекается от конкретной чувственной действительности, от

собственных естественных стремлений. Но художник «мыслит конкретными образами, никогда не теряя из виду частных явлений и образов». Художественный образ сам по себе не может врать, а отвлеченное мышление может оторваться в своих формулах от действительности. Художник тоже может насиловать свой талант, может в угоду своим ложным тенденциям исказить действительность. Но это сейчас же проявится в нехудожественности его образов.

Добролюбов не противопоставляет художественное восприятие научному. Он понимает, что искусство есть форма мышления. Но Добролюбов различает «миросозерцание» и «убеждение» художника. Миросозерцание — это объективная логика самих художественных образов, логика самого реализма. Убеждение же это то, что субъективно думает сам художник и что не обязательно совпадает с образом, как отражением объективной действительности.

Правильные убеждения чрезвычайно важны и нужны для художника. Как революционный просветитель Добролюбов всячески подчеркивает это. Ибо ведь «естественные стремления» должны быть осознаны разумом, развиты разумом. Но в то же время каковы бы ни были отвлеченные убеждения художника, если он верно следует своему непосредственному инстинкту, он не может не воспроизвести красоты естественно-го человека. Ложные убеждения вредны в том смысле, что они мешают художнику целиком отдаться своему естественному инстинкту. Так, ложные убеждения феодальных писателей, что страсти, свободное развитие личности человека греховны и губительны, мешали им показать достоинство человеческой личности. Поскольку же полное отсутствие убеждений невозможно, и художник неизбежно имеет либо правильные, либо ложные убеждения, — постольку правильные убеждения дают возможность создания нового, более высокого типа искусства.

Полное слияние науки и искусства, говорит Добролюбов, является идеалом, не достигнутым еще современным искусством. Но

«художник, руководимый правильными началами своих общих понятий, имеет все-таки ту выгоду перед неразвитым или ложно развитым писателем, что может свободнее предаваться внушениям своей художественной природы. Его непосредственное чувство всегда верно указывает ему на предмет».

Так получается парадокс, — просветитель, преувеличивающий роль разума¹, в то же время ограничивает его в области искусства, различая разум как созерцание, и разум как деятельность, как тенденцию. Деятельный разум, революционная тенденция обеспечивает именно свободу художественного творчества — и это очень глубокая и верная мысль — но не пу-

¹ Но не рассудка, ибо просветительство Добролюбова впитало в себя опыт гегелевской диалектики.

тем внутреннего проникновения собой художественного образа, а тем только, что так сказать, дополняет, охраняет и очищает его, и это уже неполная и неверная мысль.

Добролюбов находил возможность при анализе художественного творчества отвлекаться от мировоззрения писателя и оставаться только на его «миросозерцании», как оно дано в художественных образах, даже иной раз вопреки мировоззрению писателя. Так и поступил Добролюбов с Гончаровым, Островским и Тургеневым. Он, например, нашел в образах Катерины (в «Грозе»), Ольги (в «Обломове»), такие тенденции, которые и не снились Островскому и Гончарову. Это тоже тенденции, но тенденции, данные бессознательно, как результат самой действительности. Художественный образ рассматривается как сконцентрированное выражение самой действительности. И только. А как толковал эти образы сам писатель, — дело уже второстепенное. Добролюбов сам вскрывал субъективность всякого художественного творчества, единство в нем объективного и субъективного, но эту субъективность он толкует ограничительно, как нечто внешнее художественному образу. Ибо различает непосредственную субъективность самого естественного человека, натуры художника, которая всегда истинна, и сознательную субъективность, которая может быть и истинной, и ложной. И в то же время сам Добролюбов считал устаревшим тип искусства, в котором художник не имеет правильных, сознательных убеждений, сознательной революционной тенденции. Поэтому в статье «Когда же придет настоящий день» Добролюбов, так сказать, атаковал Тургенева сразу с двух флангов: он раскрыл слабость убеждений Тургенева, как певца либерализма, «лишних людей», показал, что эти ложные убеждения ограничивают художественные возможности Тургенева, и в то же время раскрыл в образах Тургенева отражение таких объективно-революционных тенденций действительности, от которых Тургенев мог притти только в ужас. Роль «реальной критики» и состояла, таким образом, в том, чтобы дополнить художественные образы революционной тенденцией, сознательно истолковать то, что не мог истолковать сам писатель.

И в этих рассуждениях Добролюбова имеется элемент очень глубокой истины. Возможность противоречия между реализмом и мировоззрением художника есть исторический факт, который был отмечен Энгельсом. Из-за этого разрыва великие художники прошлого иногда давали более правдивую картину действительности, чем экономисты и политические деятели их класса. Но слабость Добролюбова состоит в том, что он не сумел в полной мере понять конкретно исторических корней этого разрыва, не мог раскрыть диалектику чувственного и логического, ибо стоял еще на позиции созерцательного материализма Фейербаха, хотя и стремился сделать этот материализм действенным.

Художественный образ это всегда, как бы остановка (тер-

мин Добролюбова) известного «момента жизни» и лишь «потом» осмысление его связи с другими «моментами». Но внутреннее движение самого «момента» образ передать не может. В искусстве созерцательный характер мышления особенно ярко выражен, ибо искусство не отходит от чувственности, как основы нашего мышления, делающей его истинным, а не фантастическим. Поэтому реализм для Добролюбова тождествен художественности. Романтическое искусство противоречит художественности. Если художник никогда не теряет из виду чувственных явлений, то как же он может облечь в форму этих явлений то, что только будет, чего еще нету как явления, что в лучшем случае дано еще только как тенденция, хотя бы и вполне реальная тенденция самой реальной действительности?

В чем же тогда активная роль литературы? Художник может дать будущего человека, но лишь как естественное, т. е. существующее уже, но еще незаметное для большинства стремление. Естественный же человек будущего может быть дан лишь путем логического развития, осознания чувственно данной натуры человека. Художник может показать «обще-человеческие» «стремления», рождающие Инсаровых, и может показать общественные условия, противоречащие этим стремлениям, но не может показать, как сама «искусственная» социальная обстановка, сами «ложные» общественные условия порождают и закаляют Инсаровых, не может показать практического рождения русского Инсарова, которого еще нет, точнее может показать это рождение с отрицательной стороны, то есть со стороны того, что мешает Инсарову развиваться.

Социалистический реализм преодолевает это затруднение тем, что в него включается момент реальной мечты, социалистической романтики. Изображая то, что есть социалистический реализм в этом же изображении предвосхищает то, что будет. Добролюбов вплотную подходит к такой постановке вопроса но реалистическая тенденция (она же и — романтическая мечта) у него еще только «поводырь» художника, не дающий сбиться ему с дороги. Здесь сказалось неумение Добролюбова подняться до диалектики, до закона единства противоположностей. Материализм Добролюбова был богат насыщен элементами диалектики, но в целом еще диалектическим не был.

Кто же является подлинным и последовательным выразителем революционной тенденции? Ученый, мыслящий революционер. Наука, по Добролюбову, в этом отношении выше искусства. Ученый выходит за пределы чистого созерцания, мысль ученого может быть деятельной мыслью (хотя и эта деятельность ограничивается развитием сознания вне-исторической «сущности человека»). Поэтому искусство свои выводы в отношении будущего человека должно заимствовать у науки. Искусство становится служанкой науки. Задача искусства и его оправдание, как особой

формы мышления, заключается в популяризации достижения научной мысли среди масс, которые еще не могут усвоить эту мысль в ее чистом, абстрактном виде и которым может помочь это сделать искусство чувственной наглядностью своих образов. В этом месте Добролюбов дает повод к теории отмирания искусства — если не сейчас, то в будущем обществе, когда народные массы вполне проникнутся правильными научными понятиями. Так, возвысив искусство над наукой, Добролюбов в то же время принизил искусство, как несовершенное познание.

Марксизм тоже подчеркивает ведущую роль мировоззрения, научного мышления. Но он выдвигает критерий революции — науки и искусства, создавая основу для объединения, слияния и науки и искусства и в то же время преодолевая теорию отмирания искусства.

Как великий революционер-демократ, предвосхищавший подлинны контуры будущего человечества, Добролюбов рвется за пределы собственной ограниченности. Он рвется к подлинной диалектике тенденции и образа. Отсюда его замечательная идея о полном слиянии искусства и науки, как идеале будущего искусства. Даже в существующем уже искусстве он отмечает по крайней мере одно исключение, которое силою своего гения преодолело «потолок» искусства. Это — Шекспир. Но само это исключение только свидетельство все той же силы естественного инстинкта. В целом же практически-историческую, деятельную роль самого художественного образа Добролюбов мог понять, но только главным образом со стороны отрицания, со стороны разрушения «ложных» общественных форм. Эта теоретическая черта революционно-демократического реализма соответствовала и его художественной практике. Маркс указал на примере Салтыкова-Щедрина, что революционно-демократический реализм был сильнее со стороны отрицания, чем со стороны утверждения.

Это противоречие в особенности ярко выразилось в теории положительного героя, созданной революционно-демократическим реализмом. В то же время тесная связь с практическими интересами народных масс позволила Добролюбову именно в этой теории больше всего приблизиться к социалистическому реализму. Добролюбов создал замечательную утопию нового положительного героя. Утопию, которая имела, однако, большое практическое, конкретно историческое революционное содержание, ибо в образе идеального революционера отразились конкретные черты великих русских крестьянских революционеров (Рахметов Чернышевского), предвосхищавшие некоторые конкретные черты будущего социалистического человека.

3. НОВЫЙ ГЕРОЙ

В основе теории героя у Добролюбова лежит учение о «характере» и «среде», которое является конкретизацией — примени-

тельно к эстетике — уже знакомого нам учения о «естественном человеке» и «обстоятельствах».

Русская реалистическая литература, пишет Добролюбов, уже научилась изображать человека в связи со средой.

«Что человек вполне зависит от общества, в котором живет, и что поступки его обуславливаются тем положением, в каком он находится, — это уже сделалось теперь неизбежной точкой отправления для всякого мало-мальски здравомыслящего повествователя. Далее, — что устройство нашей общественной среды не совсем удовлетворительно и что житейские отношения наши совсем не благоприятствуют нормальному развитию и свободной, здоровой деятельности человека, — об этом тоже написано у нас весьма много рассказов, даже самыми посредственными беллетристами. Разлад человека, хотя сколько-нибудь порядочного, с окружающей действительностью, сделался общей темой современной литературы».

Отсюда господствующий мотив либеральной беллетристики «тургеневской школы» — «среда заедает человека». Но Добролюбов не доволен разработкой этого мотива ни со стороны изображения самого «заеденного» человека, ни, в особенности, со стороны изображения «среды».

Характер должен быть социальным типом. Нужно вскрыть историческую конкретность и типичность породивших его обстоятельств. Это плохо делала тургеневская школа.

«Вы видели человека заеденного, но вами не было ярко и полно представлено, какая сила его ест, почему именно его едят и зачем он позволяет себя есть».

Не было «полного соответствия» между «двумя элементами» (то есть характером и средой), «из борьбы которых слагалось содержание повести». Добролюбов здесь требует показа типичных характеров и типичных обстоятельств в их единстве. Добролюбов хвалил тех писателей, которые умеют показывать, как типические черты характера созданы типическими обстоятельствами. Он хвалит Гончарова за то, что тот показывает, как крепостные отношения создали социальный тип Обломова. Добролюбов делает даже упор на вскрытие типичности обстоятельств и зависимости характеров в их исторической конкретности от этих исторических обстоятельств. Так, в разборе пьес Островского Добролюбов отходит от требования цельности и определенности развития характеров и развития интриги, оправдывает случайность и немотивированность искусственных развязок некоторых пьес Островского тем, что, мол, случайность является законом, является типичной для тех обстоятельств, для той среды, которая порождает характеры героев Островского.

Но, с другой стороны, Добролюбов говорит о борьбе характера с обстоятельствами, и этот принцип борьбы также вытекает из общих установок революционного реализма. Как же можно показать борьбу характера с обстоятельствами, если характер должен быть показан как продукт и выражение этих самых обстоятельств? Тургеневская школа показывает протест ха-

рактера против этих обстоятельств совершенно беспочвенным и потому беспомощным. Черты характера, противоречащие обстоятельствам, были только мечтой, бессильной жалобой. Революционер и материалист Добролюбов этим не удовлетворяется. Характер, будучи продуктом обстоятельств, должен сам активно воздействовать на них, опираясь на некую материальную, объективную почву и добиваясь объективных, материальных результатов. Для нас недостаточны «прекрасные стремления» души: «Мы ценим только факты и только по действиям признаем достоинства людей». Но где же эта объективная почва деятельного сильного характера, опирающегося на действительность, порожденного ей и в то же время изменяющего ее?

Самый вопрос уже ставит Добролюбова на чрезвычайно высокие позиции и подводит его к нашей теории характера. Но Добролюбов не может вполне найти в развитии самих «обстоятельств» те исторические элементы, которые через посредство исторических характеров изменяют обстоятельства. Почвой революционного характера у Добролюбова остаются (несмотря на некоторые его важные историко-материалистические догадки) те же «естественные стремления», и осознание их разумом.

Так «естественные стремления» определяют характер Катерины. Катерина — сильный непримиримый характер. Катерина возмущается и борется с темным царством. Но где же подлинная, конкретно-историческая основа ее силы? Добролюбов не ставил этой проблемы и отсюда несомненная натяжка, которую он допустил в анализе образа Катерины.

Однако, Добролюбов пытается, подходя к историческому материализму, найти и конкретную социальную почву для создания нового характера. Он «перебирает» различные социальные слои и прекрасно показывает, что господствующие классы не могут дать нового героя, революционного характера. Даже и Катерина явилась исключением потому, что женщина была в темном царстве как бы угнетенным элементом среди самих угнетателей.

Добролюбов беспощадно развенчивает положительного героя дворянской помещичьей литературы. В рецензии на роман графини Ростопчиной «У пристани» Добролюбов беспощадно высмеивает «идеальный» образ светской женщины, созданной Ростопчиной. В статье о С. Аксакове, Добролюбов вскрывает эксплуататорскую, хищническую сущность не только отрицательных, но и положительных помещичьих персонажей Аксакова. В общем, Добролюбов даже дает как бы свод типических качеств человека-крепостника.

Это паразитизм, праздность, никчемность, бесцельность существования в сочетании с хищничеством, звериной жестокостью, принижением человеческой личности, рабским духом. Обломовы и Куролесовы составляют две стороны одной и той же медали.

Добролюбов показывает, что крепостнический строй приводит к принижению самой человеческой личности, к стиранию ее и уродованию ее не только среди угнетенных, но и среди самих угнетателей. Поэтому дворянский герой неполноценен. Демократическая литература должна обличать его, срывать с него маску в противовес идеализации его дворянской литературой.

Также беспощадно разоблачает Добролюбов и буржуазного героя. Здесь он дает два основных варианта. Один — это азиатский, патриархальный буржуазный человек, тесно связанный с крепостным строем. Таковы герои большей части пьес Островского, самодуры Тит Титычи. Это тоже паразиты и хищники. Самый разгул их «индивидуальности» является обратной стороной того же принижения и уродования личности. Их личная жизнь, как и у героев-дворян, внутренне бесцельна, не имеет внутреннего оправдания. Другой вариант буржуазного героя — Штольц и ему подобные. Добролюбов, в отличие от народнической критики, указывает на относительную прогрессивность этого героя, по отношению к Обломову. Но и этот герой не является настоящим положительным героем. Добролюбов разоблачает эгоизм и делячество Штольцев. Индивидуальность буржуазного индивидуалиста тоже лишена внутренней цели и смысла, тоже является искажением «естественного человека». Таким образом, ни дворянство, ни буржуазия не могут дать с точки зрения Добролюбова почвы для положительного героя.

Не может дать такой почвы и буржуазно-дворянский либерализм. Несмотря на то, что либеральный герой не является уже простым «продуктом» обстоятельств, в том смысле, как Обломовы и Тит Титычи, по существу, он тоже плоть от плоти господствующих классов. В беспощадной критике так называемых «лишних людей», то есть героев буржуазно-дворянского либерализма, критике, в которой Добролюбов подымается даже до определения конкретных исторических классовых корней этого героя, особенно ярко сказались гениальность Добролюбова, его революционные зоркость и темперамент. Добролюбов показывает капитулянтство русского либерала перед крепостнической Россией, неспособность его к подлинной революционной борьбе, его родство с теми хищниками и паразитами, против которых этот либерал якобы выступал. Самое большое, на что он способен — это на теоретическую критику действительности, на «разлад с действительностью». Добролюбов признает, что и это имело в свое время прогрессивное значение. Но сейчас наступила пора размежеваться с либералами и выдвинуть подлинного героя, героя-революционера. Критика либерализма и либерального героя является одновременно и формулировкой сущности нового героя. Благодаря этому со стороны отрицания, этот новый герой приобретает большое конкретно-историческое содержание, и это составляет колоссальную силу теории нового героя у Добролюбова.

бова. Она во многом выходит за пределы созерцательного материализма.

Подлинная почва нового героя — это народ и революционный разночинец, связанный с народом и выступивший на защиту народных интересов, это — народная революция. В народе имеется та «практичность», та непосредственная связь слова и дела, та способность пойти до конца в революционной борьбе, которой нехватает героям-либералам. Народная революция есть тот «настоящий день», когда в русской действительности появятся подлинные герои, и воплотят в себе всю красоту свободного естественного человека.

Совершенно замечательна параллель между Берсеневым, лучшим представителем «лишних людей», и Инсаровым, зачаточным представителем новых людей, дана в знаменитой статье «Когда же придет настоящий день». Берснев это предельная высота, до которой может подняться «лишний человек». У него имеются определенные теоретические убеждения, противостоящие окружающей действительности. Он даже способен, в отличие от Шубиных, пожертвовать собой ради этих убеждений, он выше в этом отношении эгоизма и никчемности других «лишних людей». И несмотря на это, все же и он не способен к подлинной революционной борьбе. Значит, его личность тоже неполноценна.

Добролюбов прекрасно показывает, что слабость «лишних людей» объясняется их связью с господствующими классами. Даже Берснев — лишь «весьма хороший русский дворянин, воспитанный в началах долга и пустившийся потом в ученость и философию». Отсюда основная слабость их характера. Она выражается как бы в самой «форме» характера, в самом соотношении личности и общества внутри личности. Отсюда, разрыв «принципа» и «страсти». Нет слияния теоретических убеждений и личной жизни и практического дела. Нет цельности и определенности характера, нет того, что Белинский называл пафосом, то есть превращения великой исторической общественной идеи в личную страсть. В народном герое, которым может стать и революционный разночинец, этот пафос осуществляется, ибо его принцип есть не что иное, как осознание его собственных естественных стремлений, то есть в данном случае социальных стремлений народных масс. Его личная, частная жизнь расцветает на этой основе. Добролюбов гениально мечтал о том, что именно связь личности с миллионами, проникновение ее великой исторической целью, «всеобщей», как сказал бы Белинский, впервые выдвинувший теорию патетического героя, тенденцией, дает основу подлинного расцвета индивидуальности, расцвета ее красоты.

Инсаров — «обыкновенный» человек. В нем нет ничего от ходячих, нереальных героев дворянской литературы. В нем «нет ничего чрезвычайного», и это даже известный его недостаток. И

тем не менее в нем чувствуется великая идея, которой он целиком предан, предан «весь, открыто, уверенно».

«В ней заключается конечная цель его жизни. Он не думает ставить свое личное благо в противоположность со своей жизненной целью: подобная мысль, столь естественная в русском ученом дворянине Берсеневе, не может даже в голову притти простому болгару. Напротив, он потому-то и хлопочет о свободе родины, что в этом видит свое личное спокойствие, счастье всей своей жизни».

Слияние личного и общего интереса не ущемляет его личность, а определяет силу его характера. Это сильная, резко выраженная индивидуальность с большими страстями. Внутренние черты ее — «ясность и определенность стремлений, спокойствие и твердость души, могучесть самого замысла».

Очень интересно сравнить это со словами товарища Сталина об основных чертах характера нового социалистического человека, о «ясности цели, настойчивости в деле достижения цели», как свойстве советского героя¹. Еще Маркс сказал, что основной чертой своего характера считает «единство цели» и что качеством, которое он особенно ценит в людях, является «простота». Осмыслите все эти слова в их связи — и вот основы теории социалистического характера! Тем изумительнее гениальность юноши-революционера, сумевшего в условиях паскудной обломовской России, с ее «дрянь-людишками», «людишками-травой», гениально предвосхитить существенные черты характера социалистического человека, объединяющего в себе личное и коллективное, человека — творца всемирной истории.

Добролюбов не только рассказывает о содержании нового характера. Об этом содержании он говорит, пожалуй, даже слишком мало.

Но он гениально предвосхищает и как бы самую форму нового характера и указывает, таким образом, не только, что должен изображать в новом человеке художник, но и как он должен его изображать.

Добролюбов критикует изображение Инсарова Тургеневым. Инсаров у Тургенева обрисован, главным образом, «отрицательными качествами», то есть теми чертами, которые свойственны всем «порядочным людям», Тургенев не умеет реалистически показать «чрезвычайные» качества, которые свойственны новому человеку. Это получается потому, что Тургенев не изображает революционной практики Инсарова. Он не дает Инсарова,

¹ Напомню эти слова полностью:

«Только ясность цели, настойчивость в деле достижения цели и твердость характера, ломающая все и всякие препятствия, — могли обеспечить такую славную победу. Партия коммунистов может поздравить себя, так как именно эти качества культивирует она среди трудящихся всех национальностей нашей необъятной родины». (Телеграмма товарища Сталина командору конного пробега Ашхабад — Москва, товарищу Соколову), «Правда» 25/VIII—1935 г. № 234.

как «гражданского героя», в его отношениях «с партиями, с народом», Тургенев изображает Инсарова только в его узкой личной, «частной жизни».

«Автор наш вовсе не хотел, да, сколько мы можем судить по всем его прежним произведениям, и не в состоянии был бы написать героическую эпопею. Его дело совсем другое: из всей Илиады и Одиссеи он присваивает себе только рассказ о пребывании Улисса на острове Калипсо, и далее этого не простирается. Давши нам понять и почувствовать, что такое Инсаров, и в какую среду попал он, — г. Тургенев весь отдается изображению того, как Инсарова любят, и что из этого происходит. Там, где любовь должна, наконец, уступить место живой гражданской деятельности, он прекращает жизнь своего героя и оканчивает повесть».

Буржуазно-дворянский реализм был силен, главным образом, в изображении так называемой, «частной жизни», которую он всегда в той или иной степени отрывал от общественной Реалистические и в то же время героические характеры были, как правило, не по плечу этому реализму. Добролюбов выдвигает (косвенно) задачу героического реализма, изображающего частную жизнь в полном единстве и на основе общественной, исторической жизни. И Добролюбов показывает, что именно в связи с этим и сама личная жизнь Инсарова односторонне и мелко показана Тургеневым. Тургенев «недостаточно приблизил к нам этого героя, даже просто как человека». Этим снижается и действенность образа Инсарова и он поэтому не вызовет подражателей. «Как живой образ» он «далек от нас» и «близок и дорог только как представитель идеи».

Таким образом, Добролюбов поднимается до постановки вопроса о новом типе характера и новом характере самой типизации, о революционно-тенденциозном характере: В Инсарове «естественные стремления» совпадают с «убеждениями», и эта основа характера Инсарова полностью развернется, когда придет «настоящий день», то есть на основе крестьянской революции. Это — огромное достижение Добролюбова.

И все же мы видим, что конкретное содержание и конкретную почву этого образа нового человека Добролюбов не может указать. Он ищет эту почву в произведениях демократических писателей — Марко Вовчок, Славутинского и других, — которые изображали ростки героизма самих масс. Но в целом, вопрос о героизме массового человека, героизме коллектива, Добролюбов даже и не ставит. Добролюбов даже и не ставит вопрос о том, как из существующей и исторической почвы растут Инсаровы и наполняется конкретным содержанием та новая форма революционного характера, которую тот предвосхищает.

Отсюда любопытное противоречие революционно-демократической литературы. Ведь естественное стремление, даже снабженное теорией Фейербаха, еще не дает достаточно богатой чувственной, практически чувственной основы для индивидуализированного характера. Конкретность же характера есть конкрет-

ность исторических обстоятельств. Поэтому отрицательный характер, который является непосредственным продуктом этих обстоятельств, является наиболее конкретным, является социальным типом и в то же время живой, многосторонней индивидуальностью. Но поскольку такие характеры играют в истории, главным образом, тормозящую роль, а не активную, постольку неизбежно некоторое преобладание изображения «среды» и недостаточное умение, по сравнению с наиболее великими мастерами буржуазно-дворянской литературы, дать многообразие индивидуальности, в особенности индивидуальной психологии.

До толстовской глубины психологического анализа революционно-демократический реализм подняться не смог. За то, в числе своих отрицательных героев он сумел дать таких, как образ Иудушки Головлева, в котором налицо глубочайшее единство социально-типических характеров и типических обстоятельств и намечены основы такого глубокого нового метода индивидуализации, до которого не могли подняться ни Толстой, ни Бальзак, и до которой не могли подняться сами революционно-демократические реалисты в изображении положительных героев. Их положительный герой, в общем, все же внеисторический герой, и в то же время весь смысл и сила его в том, что здесь частная личность, частная жизнь дается как историческая личность, историческая жизнь, как патетический характер. И в противопоставлении исторической обстановке и отрицательным героям, этот положительный герой имеет большое конкретное, историческое содержание. Но может ли быть такой герой действительно народным, массовым героем? Вопреки своему демократизму и Добролюбов и Чернышевский на деле все же вынуждены были ставить своих положительных героев над «толпой».

У народников это выродилось в пресловутую теорию героев и толпы. Опять противоречие: всеобщий, народный герой, сила индивидуальности которого состоит в том, что он выражает исторические интересы народных масс, в то же время, как носитель абстрактного разума, абстрактного естественного человека, отделен от этих масс, не виден в своих живых связях с ними, и не виден живой героизм самих масс.

Только социалистическая действительность и социалистическая литература практически и теоретически разрешили это противоречие.

Добролюбов вплотную подошел и остановился на пороге многих положений марксистской эстетики. Пусть же столетняя годовщина со дня его рождения будет датой начала развернутого и всестороннего освоения его великого наследства.

Содержание

	Стр.
Вл. МАЯКОВСКИЙ — Авио-стихи	3
Лев РУБИНШТЕЙН — Крушение Юга, роман	11
Николай ТИХОНОВ — Сорок семь, стихотворение	164
Ал. ИСБАХ — Победа, рассказ	167
ХЭМФРИ КОББ — Пути славы, повесть. Перевод с английского Н. Котова	178

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Илья ЭРЕНБУРГ — Ответ читателям	237
Евг. КРЕКШИН — О высокой теме и большом стиле	246

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

А. МАКЕДОНОВ — Литературные взгляды Н. А. Добролюбова	263
---	-----

Государственное издательство
„Художественная литература“

Отв. редактор М. Ланда
Зам. отв. редактора С. Рейзин
Отв. секретарь редакции С. Вашенцев

Техредактор К. Санникова.

Сдано в производство 8/I-1936 г.

Подписано к печати 7—14. Уч. листов 18. Уч. азт. лист 20 Тираж 20 000 экз.
Бумага 62×94 Уполн. Главлита Б—17684 Заказ № 18

13-я типография Мособлполиграфа, Петровка, 17.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

На складе Главной конторы подписных и периодических изданий КОГИЗ'а (Москва, Маросейка, 7) для комплектования библиотек имеются в ограниченном количестве остатки журнала „ЗНАМЯ“ №№ 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12 за 1935 г.

Эти номера высылаются по письменному требованию наложенным платежом.

Шлите свои заявки по адресу:

Москва, Маросейка, 7 Главной Подписной Конторе КОГИЗ'а.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1936 год на журналы Государственного Издательства „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

НАИМЕНОВАНИЕ ЖУРНАЛОВ	Пере- одичн.	Подписная цена в руб.			Цена отдель- ного номера в руб.
		12 м.	6 м.	3 м.	

В МОСКВЕ

Красная новь	12	24	12	6	2
Октябрь	12	24	12	6	2
Знамя	12	24	12	6	2
Литературный критик	12	24	12	6	2
Литературное обозрение	24	19—20	9—60	4—80	80
Наши достижения	12	15	7—50	4—75	1—25
30 дней	12	12	6	3	1
Интернациональная литература	12	18	9	4—50	1—50
Роман-газета	12	6	3	—	50

В ЛЕНИНГРАДЕ

Звезда	12	24	12	6	2
Литературный Современник	12	24	12	6	2
Рабочий и театр	24	14—40	7—20	3—60	60

С января 1936 г. при ж-ле „Литературный критик“ выходит

„ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ“

КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ДВУХНЕДЕЛЬНИК,
под редакцией М. РОЗЕНТАЛЯ

„Литературное обозрение“ —

ставит своей задачей ознакомление широких кругов советских читателей со всеми выходящими у нас поминками советской и зарубежной художественной литературы, изданиями русских и иностранных классиков, книгами по истории и теории литературы и критическими работами.

„Литературное обозрение“ —

рассчитано на самый широкий состав читателей и должно быть популярным библиографическим двухнедельником, связывающим массового читателя с художественной литературой. При простоте и ясности изложения в рецензиях „Л. О.“ будет даваться углубленная и всесторонняя оценка выходящих книг. К участию в „Л. О.“ привлечены лучшие критические силы.

„Литературное обозрение“ —

будет иметь следующие отделы:

1. СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
2. КЛАССИКИ (русские и иностранные).
3. СОВРЕМЕННАЯ ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.
4. ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И КРИТИКА.
5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ И СПРАВОЧНИКИ.

Кроме того, в „Л. О.“ будут даваться систематические обзоры очередных номеров основных литературно-художественных журналов.

„Литературное обозрение“ —

будет помогать работникам массовых, заводских и колхозных библиотек и преподавателям в выборе и рекомендации книг читателям и учащимся, будет давать полную информацию о всей выходящей литературно-художественной продукции и явится справочным изданием для всех интересующихся литературой.

Двухнедельник будет иллюстрироваться. Подписная цена на год — 19 р. 20 к., 6 мес. — 9 р. 60 к., 3 мес. — 4 р. 80 к. Цена отд. номера — 80 коп. Подписка принимается всеми отделениями, почт. агентствами, киосками и уполномоченными КОГИЗ'а, а также повсеместно на почте. Заблаговременная подписка гарантирует аккуратное получение журнала.

Подписка принимается с января месяца.

Гос. изд-во „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1936 год

6-й год издания

На ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

ЗНАМЯ

(Орган Союза советских писателей)

Журнал ЗНАМЯ выходит при участии лучших советских писателей, поэтов, критиков и публицистов. Журнал ЗНАМЯ дает своим читателям романы, повести, рассказы, очерки, стихи, статьи на темы: социалистическое строительство и оборона страны, Красная армия, империалистическая война, гражданская война, подготовка империалистами новых войн против СССР, капиталистические армии, классовая борьба за рубежом и т. д.

В 1936 ГОДУ БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:

И. ЭРЕНБУРГ — Книга для взрослых, роман. И. БАБЕЛЬ — Рассказы. М. СЛОНИМСКИЙ — 1. Повесть о Луцком процессе, 2. Рассказы о пограничниках. К. ФЕДИН — Дневник Подчасова, выпущенный Константином Фединым. АНДРЕ ЖИД — Новая пища, перевод с французского. Вс. ВИШНЕВСКИЙ — Война. Н. ТИХОНОВ — Стихи о Европе. Ю. ЯНОВСКИЙ — Капитаны, роман, перевод с украинского. СИНКЛЕР ЛЬЮИС — Здесь это не может случиться, роман, перевод с англ. В. Стенича. Л. СОБОЛЕВ — Капитальный ремонт, книга II. Вл. ЛУГОВСКОЙ — Рытвa, поэма, Эфемера, поэма. С. ВАШЕНЦЕВ — Романтические ночи, пьеса. Л. РУБИНШТЕЙН — Крушение юга, роман. Б. ЛАПИН и З. ХАЦРЕВИН — Роман-путешествие. РОЖЕ ВЕРСЕЛЬ — Капитан Конан, роман, перевод с французского. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ — Массы, машины, стихи, роман. Л. РАХМАНОВ — История одного увлечения, повесть. Б. ЛАВРЕНЕВ — Круговой рейс, повесть. Хемфри КОББ — Пути славы, повесть, перевод с англ. Л. СЛАВИН — Осада Урги, повесть. С. АБРАМОВИЧ-БЛЭК — Московский ветер, роман. Геннадий ФИШ — Мурманский легион, роман. Н. МАМИН — Погон российский. В. ТОЛСТОЙ — Тяжелые корабли, повесть. С. КИРСАНОВ — Герань, миндаль, фиалка, поэма. Б. ЛЕВИН — Вот какая была лошадь, повесть. Б. РОМАШОВ — Пархоменко, пьеса. К. ЛЕВИН — Русские солдаты, кн. III. А. БЕК — Юго-сталь, роман и др.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

На год — 24 р., на 6 мес. — 12 р., на 3 мес. — 6 р.

Цена отдельного номера — 2 р.

В номере 256 страниц.

Журнал „ЗНАМЯ“ рекомендован ПУРКНА для библиотек Красной армии и флота.

Подписка на журнал принимается во всех отделениях, магазинах, киосках, уполномоченными ЛОГИЗа, а также повсеместно на почте.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.
1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.
1911

в 1936 году
БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗНАМЯ

**РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, ПОЭМЫ,
ПЬЕСЫ:**

И. Эренбург — Книга для взрослых, роман. И. Бабель — рассказы. М. Слонимский — 1) Повесть о Лудском процессе, 2) Рассказы о пограничниках. К. Федин — Дневник Подчасова, выпущенный в свет Константином Фединым. Андре Жид — Новая пища, перевод с франц. Вс. Вишневский — Война. Н. Тихонов — Стихи о Европе. Ю. Яновский — Капитаны, роман, перевод с украинского. Синклер Льюис — Здесь это не может случиться, роман, перевод с английского В. Стенча. Л. Соболев — Капитальный ремонт, кн. II. Вл. Луговской — Рытв, поэма; Эфемера, поэма. С. Вашенцев — Романтические ночи, пьеса. Л. Рубинштейн — Крушение юга, роман. В. Лапин и З. Хапревин — Роман — путешествие. Роже Версель — Капитан Конан, роман, перевод с французского. С. Сергеев-Ценский — Массы, машины, стихи, роман. Л. Рахманов — История одного увлечения, повесть. Б. Лавренев — Круговой рейс, повесть. Хемфри Кобб — Пути славы, повесть, перев. с англ. Л. Славин — Осада Урги, повесть. С. Абрамович-Блак — Московский ветер, роман. Геннадий Фин — Мурманский легион, роман. Н. Мамин — Погон российский, роман. В. Толстой — Тяжелые корабли, повесть. В. Ромашов — Пархоменко, пьеса. К. Левин — Русские солдаты. Кн. III. С. Кирсанов — Герань, миндаль, фиалка, поэма. Б. Левин — Вот какая была лошадь, повесть. А. Бек — Юго-сталь, роман.

РАССКАЗЫ:

Артема Веселого, Вс. Вишневского, С. Вашенцева, А. Габора, В. Гроссмана, А. Исаха, Р. Кима, Э. Колдузла, С. Мстиславского, А. Малышкина, Л. Никулина, А. Новикова-Прибоя, Л. Соболева, М. Слонимского, Ш. Сослана, Ю. Тынянова, В. Тоболякова, М. Тевелева, Л. Фейхтвангера, Д. Хемингуэя, В. Шеловского и др.

СТИХИ:

П. Автокольского, Н. Асеева, А. Адалис, М. Атигер, Н. Брауна, В. Гусева, М. Голодного, В. Державина, Е. Долматовского, В. Луговского, В. Пастернака, Д. Петровского, А. Прокофьева, Н. Сельвинского, А. Суркова, В. Саянова, М. Светлова, Н. Тихонова, И. Уткина и др.

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ:

И. Альтмана, В. Асмуса, И. Беспалова, О. Брика, А. Горелова, Н. Замощкина, Е. Книпович, И. Лежнева, А. Лейтеса, М. Левинова, Р. Миллер-Будницкой, Г. Мундлита, Д. Мирского, Т. Мотылевой, В. Перцова, А. Селивановского, Н. Свирина, А. Тарасенкова, В. Шкловского и др.

В 1936 году журнал „ЗНАМЯ“ по примеру прошлых лет будет печатать лучшие новинки иностранной литературы.

Цена 2 руб.

АДРЕС ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗД-ВА „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

Москва, ул. 25 Октября, д. 10/2.

Адрес редакции „ЗНАМЯ“: Москва, Тверской бульвар, 25, телефон 3-57-76